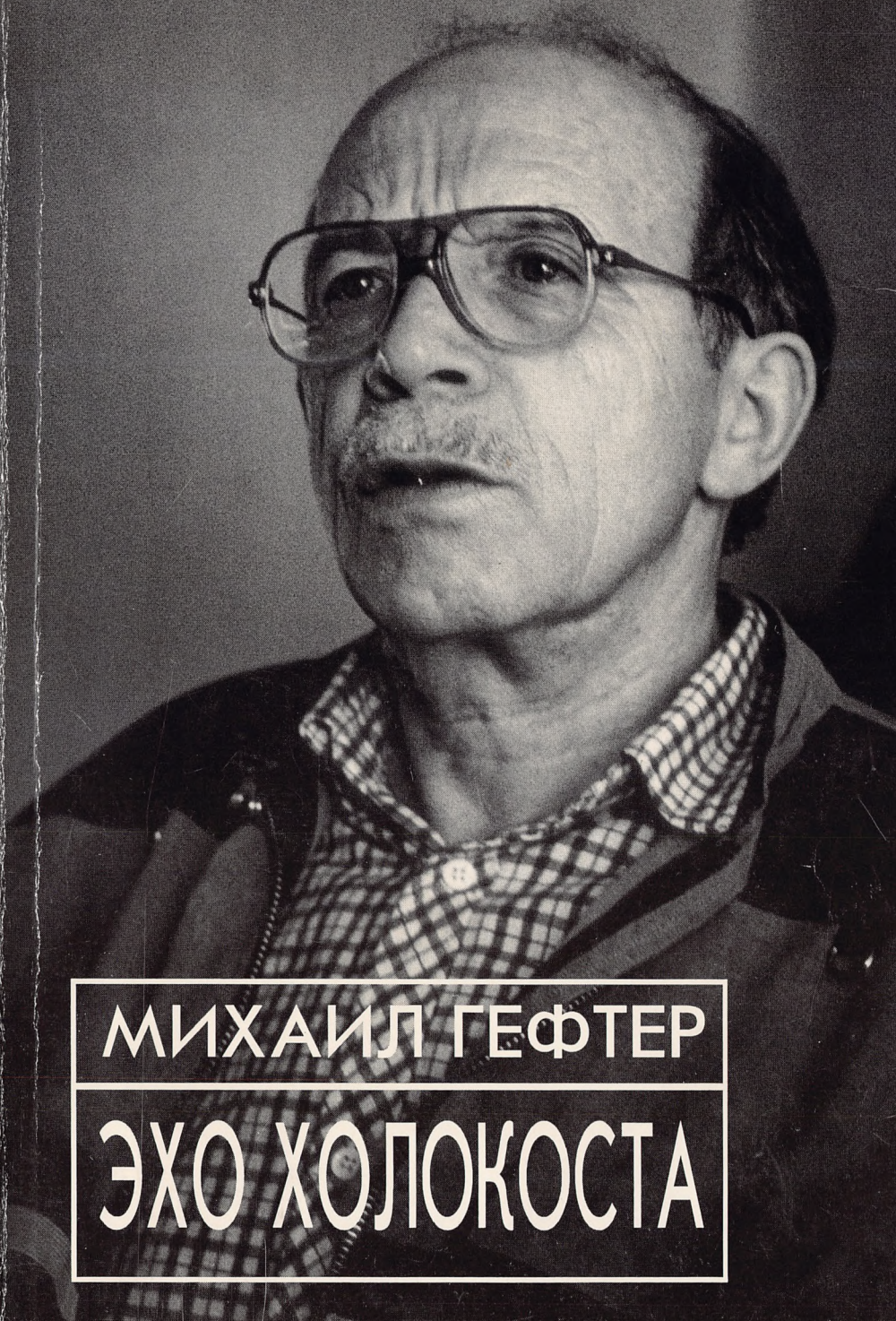


ЭХО
ХОЛОКОСТА

МИХАИЛ ГЕФТЕР



МИХАИЛ ГЕФТЕР
ЭХО ХОЛОКОСТА

РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА ХОЛОКОСТА

МИХАИЛ ГЕФТЕР

ЭХО ХОЛОКОСТА
и русский еврейский вопрос



МОСКВА
1995

Редколлегия серии «РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА ХОЛОКОСТА»

М.Я. Гефтер, И.А. Альтман (отв. составитель), Е.И. Высочина, А.Е. Гербер (отв. редактор), Е.Х. Зарецкий, С.С. Неретина, Е.Л. Якович

Составитель и редактор Елена Высочина

Какие бездны в человеческом естестве открыл Холокост, придвинувший людей к катастрофе самоуничтожения? Гитлер и Сталин — соавторы? Или со-плагиаторы? Отчего исследование истоков самого масштабного в XX веке убийства не исчерпывает темы, суть которой в осмыслении ГИБЕЛИ, СОПРОТИВЛЕНИЯ и СПАСЕНИЯ в их триединстве? Как проявились они в событиях нынешнего столетия в России и за ее пределами, каким эхом отзываются в нынешних «горячих точках»?

Феномен юдофобии и разноликость фашизма. Есть ли надежда у человека и в чем она? Каковы альтернативы нынешнему сулящему гибель жизнеустройству — в российском доме и в Мире?

Об этом размышляет историк и философ, Президент первого и единственного в России Научно-просветительного центра «Холокост».

© Научно-просветительный центр «Холокост», 1995

© Е.Высочина, составление, подготовка текстов, предисловие, 1995

© Ю. Савченко, оформление, макет, 1995

О Г Л А В Л Е Н И Е

Елена Высочина. Голос из вынужденного одиночества5

1. КАТАСТРОФА

Трагедия и опыт	18
Мир Холокоста XX века	24
Конец Человеку или конец в Человеке?	38
Endlösung: домашний проект	47
Черная книга — спустя полвека	56

2. ЧЕЛОВЕК ЗА ЧЕЛОВЕКА, ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА

Встреча 1991-го с 1994-м	66
Освенцим — первообраз единой Европы	97
Жизнь памятью	104

3. РУССКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС

Вопрос не-свой, кровный	109
Классика и мы	132
Der Alter Jude	175
Антисемитизм — предрассудок? или замкнутость в духовном подземелье?.....	186
Россия конца XX века — какой ее вижу?	198

4. ГРОЗИТ ЛИ НАМ И МИРУ РУССКИЙ ФАШИЗМ?

Парадокс Жириновского	204
Вчера, которое Завтра?	218
Россия завтрашняя: прообраз мира, который может в равной мере — БЫТЬ и НЕ-БЫТЬ	227

5. ОТГОЛОСКИ ЭХА

Я признаю себя виновным	238
Прощальное. Кодекс Гражданского сопротивления ...	252

М.Я. Гефтер в Центре «Холокост»261

Contents	285
Summary	286

Эта книга

— первая в издательской программе «ВЕСЬ ГЕФТЕР» —
издана при финансовой поддержке
Harold Grinspoon и Diane Troderman, Mary Ann Stein (США),
Вячеслава Игрунова,
семьи Макарон и Зинаиды Снитковской,
Глеба Павловского,
Международного фонда социально-экономических
и политологических исследований (Горбачев-Фонд).

ГОЛОС ИЗ ВЫНУЖДЕННОГО ОДИНОЧЕСТВА

Так назвал Михаил Яковлевич Гефтер последний при нем опубликованный текст для «Независимой газеты».

Вынужденное одиночество — ныне его удел.

И наш — также. Мы остались одни.

В известном смысле книга эта — его первая весть из одиночества. Обращение, которым хотел вызвать отклик-ответ мысли и чувства на то, что воспринимал как эхо Холокоста.

Эхо — отзыв.

Отзыв — Гефтер, резонирующий чутко на все, в чем хоть малый намек на недоясненность. В своем же редком даре чутья проблему он намного обогнал всех.

Понять, истолковать, домыслить (с вариантами «к этому еще надо дотянуться», «попробуем проблемно пропальпировать...» и др.) — естественные гефтеровские состояния. Но исходное — вопрос, точнее — множественность их, пучки — вспух собеседнику, на бумаге — в записных книжках, в текстах, черновиках.

Вопрошание — прежде к себе. И всегда — с бескомпромиссным тестом на подтверждаемость искомого ответа собственным поступком.

Этим Гефтер разительно отличается от многих, для кого не то что терпимо, но само собой розно-бытие мысли и повседневных действий.

Отличает. И вместе с тем приоткрывает истоки нынешнего не вполне обычного труда.

Книга составлялась после ухода из жизни ее автора. Явилась на свет сиротой, однако не беспризорной.

Замысел давний, ему уж по меньшей мере третий год. Не раз и не два самому себе и собеседникам разъяснялась его суть:

«Вот уже без малого полстолетия прошло, как остановились на ходу нацистские «газовки», а ворота лагерей смерти выпустили на волю горстку выживших людей, но всеожжение не поддается тому, чтобы оказаться сданным в

исторический архив. Видимо, есть в нем нечто, превышающее укор, адресуемый теми мертвыми живущим. Это нечто можно называть комплексом причастности, не имеющим календарных ограничений, ибо он передается веками из поколения в поколение.

Причастности к чему? К событию внутри маленького древнего народа, которое, перешагнув пределы, устанавливаемые этносом и верой, с пронзительной силой возбудило в человеке осознание родства не по рождению, родства, лишённого подданства и границ? Или причастности ко всем дальнейшим превращениям этой идеи, притягательность которой не уменьшилась, а напротив – странным, едва ли не безумным образом, – набирала новую силу от опытов, предупреждавших о ее неосуществимости? А если и к ним причастности, ко всей череде этих опытов и ко всем следствиям их, среди которых разве не самые «парные» – иллюзия и кровь, то каков же ее, причастности этой, конечный образ, финал, баланс?

Но вправе ли мы говорить о Конце, не справедливее ли считать, что Начало всегда впереди, поскольку оно по сути своей – путь. Не профилированный тракт, а множество проселков, время от времени встречающихся на общих развилках сызнова ВРОЗЬ, кжданному, близко-далекому вселенскому ВМЕСТЕ?

Нет ответа. Есть дпящийся вопрос. И причастность, о которой я стал писать, поскольку она преследует меня, к какому частному сюжету ни прикасалась мысль, – она также ВОПРОС.

Спрашивая себя – предвещала ли Голгофа Аушвиц, я обязуюсь выслушать всякого, кому не чужд вопрос.

Я знаю также, что он – не одиночный, вместо Аушвица можно назвать сегодня и Сумгаит, и Сараево, и что кочующее по планете убийство – не просто выплеск из замкнутой в человеке преисподней, это еще и сублимированная в насилие трудность, которая не оставит людей.

Исчерпавшие пространство собственным все-заселением, не покончат ли они с собой от сводящего с ума ощущения земной тесноты? Кто ведает, как велики сроки, чтобы угадать предстоящее: ждет ли нас новое переселение народов, и не аукнется ли новая мировая диаспора с новым гетто и с новыми маньяками «окончательного решения»?

Легко догадаться, почему в Москве 1993-го года вопросы эти, как горящий уголь, приставленный к оголенному телу. Стоит ли добавлять к этому личные мотивы?»

Вместе с записями, пояснявшими замысел, множились и планы труда — вширь и вглубь. В противовес последнему выше цитированному вопросу все планы — с пункта «личное», с откровенных признаний:

«...Вопреки всему, странным, кощунственным образом, трудно объяснимым, сложно рефлекслируемым (если вообще такое поддается рефлексии) — до последнего времени я как-то отстранял, вернее, не принимал еврейскую проблему в самую сердцевину своих страданий, переживаний, размышлений и поступков.

Я в этом смысле действительно был выкорыщем сначала пост-октябрьского, а затем все больше, все сильнее, глубже — русского XIX-го с его входом в XX-й.

Видимо, мои духовные емкости были достаточно наполнены, дабы впустить еще ЧТО-ТО как существенное, отодвигающее иное, вместить в качестве определяющего и необходимого, чтобы начинать день, принимать решения в отношении себя, совершать поступки, сближаться с одними людьми, оставаться не-близким с другими...

Теперь ЭТО вошло в меня. Почему? Объяснимо ли?..

Пришло и зацепило...» (Из аудиозаписи последних конца 94-го обсуждений, как строить тогда проектируемую, теперь же эту самую книгу).

Разговор из диа- почти тотчас обратился в монолог. А как надо было остановить, прервать, спросить. Вот и застряло комом без-ответным необходимом прояснение: быть может, истоки того, что прорвалось потоком размышлений о еврейской проблеме, все же не в конце 80-х, а ранее... Кто из близких и просто знакомых не слышивал запавший в память и душу пятилетнего симферопольского мальчика рассказ его бабушки о еврейских погромах в Одессе 905-го года. Биль-сказ много раз просил повторять и слушал всегда с замиранием сердца: вот погромщики приближаются к дому — пьяные лица, страшные сцены, вопли, визги — и в последний миг с двух сторон выходят знаменитые одесские защитники. Звали их айды — самооборонщики. В упор стреляют и разгоняют погромную толпу. В заключении признание: «С этим бабушкиным рассказом в мою жизнь пришла и с т о р я».

Незаданный тогда вопрос мог продолжиться напоминанием о других заметках в блокнотах — свидетельствах проклевывавшегося, если не увлечения ТЕМОЙ, то чувства, без которого к ней не подобраться.

«Годы 50-е. Во мне оскорблен и пробужден космополит... Я — осознанно русский (осознанность боли против расхожего бреда гонимой избранности)». И рядом прорыв в неуют сомнений: «Как вернуться в свой мир, как отыскать

его?.. Вернуться — не значит ли понять: осознаю ли себя русским? Не для того, чтоб доказать — я тоже здесь свой, но чтобы осознавать себя ТАК именно.

Непознанное и непонятое, именуемое «русским», стало подстегивать размышления о том, что условно можно было бы назвать «еврейством». И сошлись — Иисус и Павел, идея человечества...»

Сошлось. И не отпускало.

Но разговоры, отдельные записи обрывками и воспоминаниями — могли таковыми и остаться, не сопрягнувшись с десятилетней давности текстом «Классика и мы» (по признаниям автора, и для него «странным»...). И тут — случай. Он же — рубеж.

В 1991 году Гефтера просят принять участие в работе центра «Холокост». Научно-просветительного и первого подобного в России. Все было вновь — разработка программы, концепции и поиск «лица необщего», и преодоление массы трудностей постановки-запуска нового дела.

Почти синхронно вместе с писанием документов, заявлений о целях и намерениях Центра — целый каскад текстов. Разных по степени завершенности и дальнейшей публикационной судьбе. Одни выросли из выступлений («Окончательные решения»: трагедия и опыт», «Мир Холокоста в XX веке», «Освенцим — прообраз единой Европы»), иные не могли не появиться — слишком силен был импульс себя-прояснения в новом проблемном поле.

В «логическом романе» Михаила Яковлевича начала писаться новая глава. Роман — коли таковой и ежели «логический», совсем по Герценовски — «разрастается с первой мыслью сомнения и, захватывая все более, дотрагивается до святейших состояний души». Так выстрадан «Вопрос не-свой, кровный». Первоначально — «Русский еврейский вопрос». Текст, в который стремился вместить безмерное: откуда сам вопрос и почему вопросом, и каково ему, русскому еврею, — «маргиналу в Маргиналии», но также и русскому, бьющемуся в самоопределении, что означает быть русским, и множество других сюжетов. Пять редакций со значительными перекомпоновками проблемных и структурных узлов. Параллельно — разговоры на тему и около, записываемые на пленку. Тотчас расшифровка на бумаге. Поверьте, дивные монологи так подхватывали ток раскрываемых статьей мыслей. Но раз высказанное не позволяло быть перенесенным в статью напрямую — изустное не переводилось в мелодику внутренним ритмом, особым интонационным строем темперированного письма.

По мере того, как «текст» переходил от стадии заявки проблем ко все большему уровню рефлексии по поводу предыдущей — рефлексивной же — версии, понимала: надо вместе с этим основным текстом-выдохом, выплеском давать и то, что оказалось

изъятым, срезанным в ходе возведения мыслительных лесов. Ведь наговоренное на магнитофон, когда глаза в глаза с собеседником, то полемически заостряло идею, что развивало ее в неожиданном ключе, ассоциациями, откатами от основного сюжета сплетая смысло-полотно неведомого прежде свойства... Предложение включить «стенограммы» мыслительного хода в состав книги пришлось по душе автору. В этой книге они — эпиграфами к главам и "соединительной" тканью межтекстовых прокладок.

Рядом с каждым текстом — текста же особая судьба. Тут не оговорка — не у статьи она (у гефтеровских писаний собственная жизнь-развитие), но рядом, параллельно, порой не пересекаясь, но часто в неоспоримых взаимодействиях со смыслом-идеей. Вернее, с зарядом непредвиденного открытия, ставящего под сомнение комфортную защищенность возможного издателя. И правым и левым, и центристам бывал неудобен числивший себя аутсайдером Гефтер. Тот же «Русский еврейский вопрос» — примером. Дважды версталась и ставилась статья в номера «Известий» (в августе и в ноябре 1991). Но уж впрямь каверзный вопрос пугал или ошпаривал — обнаженность ли, прямотой? Оба раза статья из номера выбрасывалась редколлегией в самый последний момент (обе верстки сохранились и тому свидетели). Впервые «Вопрос» увидел свет в малотиражной «Международной еврейской газете» (март 1992) в укороченном виде, расширенный вариант — в «Веке XX и мир» (лишь в 1994, #3-4). Но работа продолжалась — и в этой книге впервые полная версия в последней авторской редакции. Нечто подобное приключалось и с другими текстами. «Встреча 91-го с 41-м» (первоначальное название «Человек за человека, человек против человека») был на треть сокращен и «облегчен» для массового читателя газеты «Известия». А интервью Ю.Зайнашеву из «Московского комсомольца» вовсе не появилось по редакторскому приговору и нежеланию автора идти на уступки, корежащие текст. К слову сказать, Гефтер дал себе волю: после интервью, получив текст, переписал его почти наполовину, придумывая новые вопросы журналисту, отвечая заново уже на них. И назвать тогда же хотел «Der alter Jude» (что было наприличным даже для такой вне-канонической газеты)... Текст здесь — тоже впервые, каким вышел из рук автора. Впрочем, не видело свет в предлагаемых здесь версиях все (или почти все), что в разделах первом, четвертом и пятом, по половине из второго и третьего.

Следует признать, не одни лишь внешние на то причины.

У Михаила Яковлевича свойство: дописанное до последней «точки» (что, впрочем, тоже редкость, ибо под сомнением все три слова «дописанное», «до последней» и «точки») тотчас же перестает удовлетворять. Чудилось — в завершенном идея скукоживалась сравнительно с замыслом, вернее — с его развитием, какое не прекращалось, раздвигаясь по всем параметрам сразу.

По-моему, к тексту он относится, как к СОБЫТИЮ (в просторечии «историческому»). Оно же (по гефтеровскому определению) всегда больше ПРЕДПОСЫЛОК и меньше РЕЗУЛЬТАТА. И отпочковывались новые сюжеты, свежедодуманное взрывало композицию, уже освоенное мыслью-вопросом «опускалось», а текст-событие обретал собственно авторское свойство: становился более, чем высказыванием, значительнее, чем мнение — симптомом альтернативы, какая наперекор и оскоминым, и свежеиспеченным историко-гуманитарным студиям...

Три сродственных термина КАТАСТРОФА — ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ — ХОЛОКОСТ отозвались в М.Я. полифонией многоголосья.

Катастрофа-Шоа в истории евреев: «не первая в ряду гибелей, подстерегавших их с библейских времен, — последняя ли?» Шоа — и роль евреев в истории Мира, в продуцировании идеи человечества. Их взнос и их же особенность, судьба диаспоры, бремя и достоинства маргинальности — вплоть до встречи маргиналов с Маргиналией, Россией, которой чем стать — очередной диаспорой или Отечеством?

Окончательное решение — корни человекоубийства. Глубинные приметы «червоточины» в Гомо, «союз» (соавторство Гитлера и Сталина — и путь каждого к своему «Endlösung»). Природа неискоренимого недуга изничтожения несхожих, «чужих». Какова питательная почва для идеи и осуществления «окончательных решений» — как, кем продуцируются, почему плодоносят?

Холокост — крематорий для живых, названием породненный с древним эллинским обычаем жертвоприношения всеожжением. Неподготовленность человека к чудовищному, неверие в мнившееся невозможным. Сопротивление — формы его и то, что было изобретено на тонкой границе между жизнью и смертью...

Темы возникают, взаимодействуют, продуцируют собственное продолжение, сопрягаются с философскими наработками автора о природе исторического, истоках самой истории, о критических моментах в жизни Гомо.

Гефтер своим сомнением и собственными догадками (не без обоснований и верификаций) соединил древнее, исконно-первобытное в человеке с тем сегодняшним, что влечет к признанию: «Третьего тысячелетия не будет. Не будет в метафорическом и тем самым в доскональном смысле».

От появление человека, слабого, преодолевающего неминуемую гибель, — к опознанию им смертной своей участи. А после двухтысячелетней — After Crist — одиссеи новая тяжба. На сей раз противоборствуют Смерть — Гибель — Убийство. Губя Жизнь и переосвещающая ее, ж и з н и же, смыслы и уделы.

Раздвижка контекстов, что смысловые отражения ширят и в глубины тянут — принцип проблемной архитектоники книги. Холокост, по Гефтеру, не сводится только к работе памяти по усвоению самого страшного знания человека о себе. Это и не обособление трагедии концентрацией внимания вокруг «технологий» изничтожения и нравственных тупиков создателей крематориев для живых. Холокост суть ТРИЕДИНСТВО — ГИБЕЛИ, СОПРОТИВЛЕНИЯ И СПАСЕНИЯ. «В целостности этой — урок, простирающийся по сей день и подтверждаемый многим из того, что случилось позже и присходит ныне, вызывая ужас и отвращение, и вместе с тем пробуждая силу зрелого отпора».

ЭХО ХОЛОКОСТА — и в том, что помнят, и в том, как осмысливается трагедия ныне, чем способствует расширению резервов самопознания, вводя в предмет мысли опыт Холокоста.

Гефтер собой и в себе улавливал разноотклики на Катастрофу не одного народа, но всех гонимых и притесненных — в равной мере отвергая и позицию избранничества в страдании, и неразличение хотя бы одного из отдаленных и малоприметных следствий-деформаций в человеке и в Мире Катастрофы. Настаивал: в таком Мире нельзя бытийствовать, как жили ДО. И думать бессмысленно в словах и логиках ДО-МИРА-ХОЛОКОСТА.

Важнейшее кредо автора: нет геноцида против «кого-то», ГЕНОЦИД ВСЕГДА ПРОТИВ ВСЕХ. Оттого его личный отклик на подобного рода преступления — был и испытанием мысли, и нравственным, физическим мучением.

Вспомним горькие строки о войне в Чечне из упомянутой «Независимой». Частью написаны, частью продиктованы в больнице.

«... Если б довелось мне успеть сказать последнее слово, то (да простят мне близкие, мною любимые) этим словом было бы сейчас — омерзение.

Омерзение от того, что творится на наших глазах. И от генерала в тельняшке, который так же лжет, как и воюет. И от другого полководца штатского времени с нестираемым «чего угодно-с» в лицевой мускулатуре.

Омерзение от нашего покорства российской нашей судьбе. И от понятного по-человечески, но человеку же непростительного равнодушия. И от медоречивых изъявлений преданности, и от призывов к единству вопреки всему. И от нашей беспомощности, которая едва ли не хуже всего остального.

Речь, разумеется, о Чечне, но прежде о России. И также о Мире...

Беда наша вовсе не Чечня сама по себе. И даже не Кавказ — величина значительная, огромная.

Наша беда — власть, ищущая себе применение, где

явилась бы она одна, без помех, без врывающихся в замыслы персонажей, без таких неистребимых чудачков, которым мало иметь взгляды. Им еще, видите ли, потребны убеждения.

Как бы избавиться от них, неудобных? Был способ: по-немецки — *Endlösung*, по-русски — «окончательное решение». Касалось в первом случае евреев — до последнего. Странное племя, вроде бы, как иные, и интересы собственные чтут, и не без всех грехов человеческих. Но от прародителей — склонны к убеждениям. Так уж повелось. Трудно объяснить, но факт.

Вселенский факт. Французские студенты в мае 68-го проходили по столичным улицам, возглашая: «Мы все — немецкие евреи». С жиру бесящиеся?..

Чечня же тут при чем? Мне не нужно доказывать, что генерал Дудаев — не мой герой. Как нет нужды и пояснять, что в Чечне живет не один строптивый, если не хуже, генерал, а еще и люди. Люди! Их не перестреляешь, не сотрешь с лица Земли одним махом. Времена прошли. Нет иного выхода — как у ж и т ь с я. Приняв их такими, каковы есть. ДОГОВОРИВШИСЬ с ними и держась строго смысла этого слова — ДОГОВОР. Взаимности его следуя и ею поверяя каждый шаг, любое слово.

И времени на сие хватало с избытком. Не было лишь желания. Или умения?..»

Прерву цитату, хотя надо бы — сплошь, до конца. Включая дату — 13 декабря 1994. Не преминув напомнить постскрипту: «И онемевшие в эти дни склоняют голову над могилой Андрея Сахарова. Как бы нашим потомкам не пришлось изъять из лексикона слово «интеллигенция».

Тогда, готовя статью для «Независимой газеты», я суеверно убрала и смягчила его тягостные предчувствия относительно самого себя. Те, что были отзвуком неутихавшей боли после 3-4 октября 93-го, когда признался: не в меня стреляли, но в меня попали.

С о и — в самое сердце, да так, что уже и Белый дом с черной короной, и Чечня отозвались эхом Холокоста.

А в записных книжках той поры (декабря 94-го) — о сражениях давней войны, на которой мог быть убит, но выжил чудом: «Больше трупов, чем вблизи Ржева, я в жизни не увижу».

Все соединилось — в дневниках, в памяти, в остроте вопросов — почему ТА война? Зачем — ЭТА?

Все вместе, как в этой книге: пылкие мечты антифашистской юности, верования в справедливость дела, за которое без колебания жизнь отдашь, потом — сомнения, прораставшие обилием неразре-

шимостей, требовавшие продираться в глубь, в еще неназванную сердцевину: в чем глубинные корни позывов к человекоубийству, мыслимо ли и как остановить род людской от самопогубления?

Ответ — в пятом разделе книги и на многих ее страницах.

Ответ и завещание. Не только планка необходимого сегодня уровня восприятия, разработки, постижения острейших вопросов взаимо-устройства жизни, но, повторюсь, — пример нравственного отношения к коллизии. Все просчеты, все проблемы — на свой счет, личный, с неизбывным: «Я ПРИЗНАЮ СЕБЯ ВИНОВНЫМ».

В приложении к книге, где дана содержательная хронология работы М.Я. в центре «Холокост», конечно же, — лишь канва событий. За каждым «пунктом» — деяние, предполагавшее поиски нестандартных подходов, неожиданных решений. Даже «канцелярские» задачи Президент центра решал как проблемно-эвристические. В 1993-м году он отправляет в Правительство России и Министру культуры предложения «О первоочередных мерах, направленных на сохранение и развитие культурного и исторического наследия евреев России».

«По приближенным подсчетам на нынешней территории России проживает около полутора миллионов людей, являющихся по происхождению евреями, людей, которые считают себя евреями и в качестве таковых воспринимаются другими. В Москве это второе по численности «национальное меньшинство». На этом фоне существование отдельной Еврейской автономной области, затерянной в просторах Дальнего Востока, трудно назвать иначе, как политико-административным курьезом с явственным отпечатком сталинского «разделяй и властвуй».

Суть проблемы — в признании евреев неустранимой интегральной частью той России, что заново строится, принимая высокое и скорбное наследие давнего и особенно ближнего к нам прошлого. Никто не может оспорить, что человеческие потери евреев несопоставимы ни с какими другими. Из шести миллионов жертв нацистского геноцида в Европе на долю Советского Союза приходится не менее двух миллионов (а с учетом уничтоженных военнопленных, расстрелов по так называемому комиссарскому приказу существенно больше). Между тем трагедия, обозначенная в современном международном лексиконе древним эллинским словом «все-сожжение» (Голокауст, Холокост), трагедия, занявшая особое место в духовном опыте XX века, прошла как бы по касательной в отечественном сознании. Почему так случилось — тема особая. «Государственный» антисемитизм сталинского толка — причина существенная, но не единственная. Тут проявились и некоторые общие свойства оказанен-

ной культуры с неотъемлемым от нее запретом на проблемы, дотягивающиеся до глубинных свойств человека и его тревожной подверженности насилию, ксенофобии, отторжению «чужого» во имя исключительности отгороженного «своего»...

(Целиком письмо публикуется в разделе шестом).

Всякое писание даже казенной, для подшивки в «дело» бумаги, — с печатью личностного отношения к акции и благородный расчет на доверительность и взаимопонимание. А посему — и анализ ситуации, и историческое обоснование об руку с ясным изложением плана действий.

И о самом тяжком. Неисполненном.

В планах состава книги во множестве наметки на новые тексты. Иногда — парой строк...

«Ситуация Иова — заявка человека на личностного Бога. Как примирить всемогущество Яхве с личностью? Перемена самой ситуации — человек спрашивает, вызывая Бога на ответ. Новый договор!!!»;

«В истоках СВОБОДЫ — сомнение, одетое в превозмогание. Путь Сократа в рамках Полиса — и путь Иисуса и Павла к свободе, пространство которого Мир и отдельный человек...»;

«Что означает со-распяться? Корчак — ответ поступком, — жизнью поступка и «Дневником»;

...«Евреи и История это далеко не то, что евреи в истории. Два образа — отрицающая-дополняя друг друга — Моисеева пустыня и Иисусов-Павлов Dies Irae. Нельзя дословно повторить Пустыню. Нельзя вместить в Пустыню всех — «и эллинов, и иудеев». Там вымирают, чтобы следующие вошли обновленными в землю обетованную. Тут иначе — «все мертвые» превращаются в живых, чтобы живые переменялись. И наоборот!! Одно условие невысказано без другого. Условие условия! Это суть История».

В других случаях замысленный для книги текст уже пробивался в скорописи саморазвития: «Гомер не столько Начало, сколько Конец, сообщавший тем, кто после, о другом человеческом мире — мире, который очеловечивался поражениями. Передача тайны — новшество, из которого вырастает Полис. И снова — Конец, передающий тайну Началу — конец Полиса, конец Мифа, конец Рима. И народ, блуждающий в буквальном и окольном смысле, из своего особого избранничества (возобновление из вторящейся «перманентной» предгибели), из диалога и договора с единственным (!) Промысли-

телем, из этой замкнутой судьбы творящий проект человечества. Череда тайн, передача их, их ПЕРЕ-ИНАЧИВАНИЕ, ПЕРЕ-НАЧИНАНИЕ. У следующих – отвержение и возобновление, эта «пара», эта «дополнительность» образуют ЦЕЛОЕ из несоместимого – МИР ЧЕЛОВЕКА, больший по смыслу, чем доставшаяся ему планета (одна из...). Образуют и – продвигают к гибели, к обрыву... и к ПОРОГУ. Знал ли Честертон 1926-го Чаадаева 1830-х? Это не важно. Ибо шли от пророков Ветхого Завета, как шел (зная ли?) Шекспир, как шел будто новозаветный Достоевский.

Движение поражениями – движение ересями, их ассимиляция: залог избирательной гибели etc.»

И другие записи, дающие ответ, отчего сквозная тема книги «Эхо Холокоста» – думы о России, ее минувшем и возможном грядущем дне. «Накал антисемитизма, что не оставляет российской землю, блуждая среди людей в разных формах (в том числе и в виде молчаливого полусогласия с ним), и поразительное ощущение своей привязанности к этому особому планетарному телу, что вечно обречено быть не-собой в поисках СЕБЯ, все убеждает: она, Россия, быть может, с а м а я еврейская сейчас по отношению к той древности, которая создала христианство и тем заложила камни европейской мировой культуры. Да, Россия ныне более еврейская ЭТИМ, нежели нынешние Израиль и Штаты...»

Не случайные наработки, а кирпичики-основания для проникновения в то, как из пред-истории, из мифа («какой вместе с тем и утопия»), из «ситуации Иисуса» и «исторического компромисса Павла, апостола необрезанных», «от эллинов и пророческой традиции Ветхого завета – к Шекспиру и Гегелю (без которого не было бы и коммунизма Маркса) – триумфально и трагически мир о в о п л о щ а л с я ЧЕЛОВЕК»... Вплоть – до своей предгибели XX века, апофеозом которой – Холокост.

Нам оставлены фрагменты колоссальной картины движения человека мысли – ОТ СЕБЯ К СЕБЕ. Ее еще предстоит восстановить, реконструировать. И вернуть возможные встречи с теми, кто был и оставался спутниками и собеседниками Гефтера – с Манделштамом, Платоновым, Корчаком, Булгаковым, Гейне, Ренаном, Честертоном, Гроссманом. И Арманом Гатти, великим режиссером и драматургом, который, как и наш историк, бьется в поисках Слова и нового алфавита, способного повествовать о мире Аушвица и МИРЕ после... С иными многими, кого называл М.Я. живые мертвые, стремясь соединять их руки с живущими.

Книга в нынешнем ее составе, конечно же, не вместила всего, что прямо и окольно связано с ее темой. Это – на будущее, дай

бог, явленное в Трудах Института Гефтера, в изданиях, о которых мечтал Михаил Яковлевич и какие еще предстоят...

Убеждена — ждут встречи с неожиданным.

Пока же в какой раз признаем: он унес с собою великую тайну. Именно так говорили современники о Пушкине, внятнее других о загадке поэта — Достоевский. Два имени — Пушкин и Достоевский — из многих вечных спутников М.Я.: Но теперь мы призваны разгадывать и его тайну.

А значит — читать, слушать и вслушиваться, внимая тому, что говорил. Вдруг оказалось — напоследок. Бесспорно — впрок.

Будем же чаще оставаться с ним — один на один.

С о С л о в о м и В о п р о с а м и.

Со всем, что отныне Г е ф т е р.

15 августа 1995

Елена Высочина

P.S. Михаил Яковлевич был на добро и внимание редкостно отзывчив. Он, несомненно, с благодарностью за участие в появлении этой книги назвал бы многих, с кем вел беседы на затронутые в ней темы, обсуждал включенные в нее фрагменты, да и просто дружески общался в последние годы. Мы же, признавая, что не в силах заместить в этом автора, все же не можем не отметить тех, без кого книга попросту не состоялась бы.

Творческое участие, советы и поддержка Ильи Альтмана, Глеба Павловского, Марка Печерского, Юлии Савченко, Матвея Воронова, Дэва Мурарки помогли на разных стадиях воплощения авторского замысла.

В оформлении обложки использован фрагмент портрета М.Я.Гефтера, любезно переданного нам фото-художником Ингрид фон Крузе (Германия).

КАТАСТРОФА

...Что же теперь, после всех испытаний века, вместо страха – ужас? Или дальше – абсурд? Что вместо сострадания – сомнение, или больше – понимание? Вот на чем запнулось время, вот на чем надломились мы: на потребности понять друг друга и на трудности это исполнить.

Как понять Холокост? Да и возможно ли понять его?

По обсчету французских социологов только 2% оставшихся в живых узников гитлеровских лагерей смерти способны были потом рассказать о пережитом. Есть ли способ разговаривать онемевших, не находящих слов? Как обратиться к сопричастным трагедии? Кажется невероятно трудным вызвать на откровение и тех, кого дети и внуки вопрошают: а ведь ты жил тогда, и что же сделал ты, именно ты?..

Но главная трудность все же не здесь.

Катарсис XX века неосуществим в одиночку. Только – совместно! Люди должны придти к нему вместе, выбирая каждый свой путь.

В этом и состоит присутствие истории в Холокосте и неустранимость Холокоста в уходящей, подводящей себе черту истории.

ТРАГЕДИЯ И ОПЫТ

Как назвать э т о? Ныне, задним числом, на каком имени остановиться? Шоа — катастрофа. Получивший планетарную прописку Холокост: все-сожжение. Два слипшихся немецких слова — Endlösung: окончательное решение. В нашем случае — еврейского вопроса.

Немецкий язык завидно плотный, с побегами из корня в разные стороны, не забывающими первородства. Смотрю в словарь. Раньше, чем Endlösung, — endlösung: бесконечный; endlösigkeit: бесконечность. Да, и она э т о. В самом деле, что хвост кометы в сравнении с волей фюрера?! Надо только перешагнуть через людей, зовущихся евреями. Кто перешагнет, тот в бесконечности, тот — навсегда.

Снова в словарь. Lösung — кроме «решения», еще и разъединение, разгадка, развязка. И тут все вновь тянется к этому. Дабы вычеркнуть — оборвать все связи, что изнутри вовне и оттуда внутрь. Прежде чем уничтожить — загнать в пустоту, превратить в изолят среди самой человеконасыщенной части самого продвинутого континента, самого удачливого в материализации разума. «Разгадка» же — как осуществить э т о без сучка и задоринки, чтобы, окружив тайною, затем предъявить, и уже не анонимные скелеты, а голое, необратимое и поголовное отсутствие. Предъявить в виде освященной «развязки», в качестве Промысла-Результата.

Вслушайтесь! «Я хочу откровенно поговорить с вами об очень серьезном деле. Сейчас, между собой, мы можем говорить о нем вполне открыто, но никогда не станем говорить об этом публично». Гиммлер — высшим офицерам СС, созданным им в Познани осенью 1943 года. «Серьезное дело» — калька с *Endlösung*. «Звучит это просто: «Евреи будут уничтожены». И все члены нашей партии, безусловно, скажут так: «искоренение евреев, истребление их — это один из пунктов нашей программы, и он будет выполнен». Произнесено без ужимок. На то и партийная программа, заветная скрижаль навыворот, чтобы «один из пунктов» был неукоснительно реализован.

Между собой — откровенно. Публично же — замок на губах. Еще в мае 1940-го, в тот самый день, когда немецкие войска изготовились к вторжению во Францию, тот же райхсфюрер СС удостоверяет согласие, полученное им от Адольфа Гитлера. «Фюрер прочел все шесть страниц моего проекта («Об обращении с местным населением восточных областей»), нашел его вполне правильным и одобрил. В то же время фюрер дал указание напечатать проект в возможно меньшем количестве экземпляров, запретить его размножение». Ниже: «каждый ознакомившийся с документом должен дать расписку в том, что ему известно, что данный документ является директивой, которая, однако, ни в коем случае не должна цитироваться или даже воспроизводиться по памяти в приказах». И на память вето. Исполнить в точности — и в беспамятстве! Знакомо?

В том «проекте» 40-го речь шла не только о евреях, но, разумеется, и о них. Гиммлер: «Я надеюсь, что нам удастся полностью уничтожить понятие «евреи». Тогда еще не был сокрушен континентальный демократический Запад, еще не слышали «Achtung, Panzern!» советские люди с берушами от пропаганды. Изничтожительный замысел еще не дозрел. Намечали упразднить «понятие» массовым переселением евреев в Африку — за исключением, само собой, уже убиенных в райхе и в Польше. План «Барбаросса» включил зеленый свет для окончательности. Поистине Гитлеру бы признать Сталина

соавтором. «Жизненное пространство» открывалось немецкому нашествию как пространство убийства. Скоротечные победы гнали вперед расистский фантазм. Это уже не антисемитская акция, только возведенная в степень. Это сокровеннейшее из самоутверждений — величиною не в Нероновский Рим, не в Тамерланову Азию, а в планету. Всю.

Отчего ж — по-прежнему — хранить в тайне? Расчет ли, предохраняющий от сопротивления везде, где оккупация, от возмущенного общественного мнения в несдающейся Англии и в той заокеанской громаде, что способна своей экономической мощью перетянуть чашу весов? Наконец, может, одолевает страх возмездия, шкурная дрожь, ночные призраки, свои психики? Не станем исключать ни одного из предположений, задержавшись на последнем. Снова Гиммлер 43-го. Сразу же после слов «не станем говорить об этом публично» — намек на памятную ночь «длинных ножей», на расправу с Ремом и иными чрезмерно правоверными нацистскими «революционерами»: «Точно также, как, повинувшись приказу, мы выполнили свой долг 30 июня 1934 года, когда ставили к стенке заблудших товарищей — но никогда не говорили и никогда не станем говорить об этом. Наш природный такт побуждал нас никогда не касаться этой темы. Каждый из нас ужасался, но в то же время понимал, что в следующий раз, если это будет необходимо, он поступит так же».

Поступит так же... Императив! О чем же беспокоиться? Зачем убеждать вернейших из верных? Правда, позади Курская дуга. Правда, уже не одиночки в европейском Сопротивлении. Правда, будучи доминантой райха, люди СС не весь райх. В этом им еще придется убедиться, когда немцы откажутся принять участие в превращении тотального самоутверждения в тотальное самоубийство. Пока еще до этого не дошло. Но симптомы, но подземные толчки налицо. Замышленный изолят грозит вернуться, как бумеранг, — изоляцией избранных. «Приходят к нам все 80 миллионов достойных немцев. И каждый просит за своего порядочного еврея. Все остальные, конечно, свиньи, но вот именно этот — хороший еврей. Ни один из тех, кто говорит так, не видел своими

глазами, как это происходит. Большинство присутствующих здесь знает, что такое — видеть 100 или 500, или 1000 уложенных в ряд трупов. Суметь выдержать это, за исключением отдельных случаев человеческой слабости, и сохранить в себе порядочность — вот испытание, которое закалило нас».

Он, Гиммлер, «порядочность» блюдет! Зрелище для богов. Там, наверху, пролистывая столетия, хорошо знают, что тираны и тираноподобные — сплошь лицедеи. Обставляющие каждый свой шаг обманом, они начинают им — и им же себя кончают. Привыкшие чрево вещать «именем народа», не смолкают, пока в их дверь не постучится, как будто послушная им Косая.

Они знают лишь Я и Все, отвергая, попирая человеческое — Мы... Собравшиеся в Познани клялись в служении «нашему народу», но довериться этим миллионам «добрых немцев», не утративших до конца способности «просить» пусть лишь за одного обреченного, — шалишь! Убийство — привилегия. Дисциплинированное лицемерие трупов — вход в элиту, в единственное сообщество распорядителей человеческими судьбами. Это уже не Deutschland über alles, это — СС над всеми на свете.

Гиммлер не мог не прибегнуть к расхожему оправданию убийств ссылкой на то, что кругом и всюду эти евреи, «скрытые саботажники, агитаторы и смутьяны». И он, разумеется, лгал, утверждая, что отобранные у них ценности без изъятий переданы эсэсовской корпорацией райху. Но спроста ли грозил расстрелом всякому из своих, покусившемуся хотя бы на «одну шубу, одни часы или одну сигарету»? «У нас нет права обогащаться». «Мы не хотим, уничтожая бациллу, дать ей заразить себя и умереть самим». Вряд ли это только палаческое кривлянье, иерархическая приструнка. Панубийству надлежит быть стерильным. Миф благословляет, но не спасает. В апофеозе некрофильства «революция потных ног» (Т. Манн) предчувствовала собственную гибель от неотменяемых потребностей человека, от его хрупкой и одновременно упругой ежедневности.

Хрестоматийный убийца, комендант Освенцима, Рудольф Гесс впервые усомнился в своем райхсфюрере, когда

Гиммлер потребовал перебросить большое число узников на военные заводы. «Этот приказ был насмешкой», — пишет Гесс, ожидая в польской тюрьме свой финал. Еще бы. Он творил «серьезное дело» в уверенности, что уничтожает самое понятие «евреи». А оказалось, что у «понятия» есть шанс выжить, и шанс такой (дарованный по сути Василием Теркиным в союзе с «летающими крепостями», превращавшими в руины арсеналы райха) исходит чуть не от самого божества...

Согласимся со Станиславом Лемом: «Видеть в нацисте гангстера — банальность, слишком упрощающая проблему; видеть в нем пособника дьявола — банальность слишком напыщенная». В чем же проблема, если, минуя ее многозначные оболочки, пробиваться к сердцевине?

Ранняя мудрость гласила, что зло лишено самобытности, независимого начала, поскольку оно суть не востребованное добро. Мало ли это, либо, наоборот, определяет собою «жизнь и судьбу»?.. Гложущая тоска по людям не востребованному добру водила пером Василия Гроссмана, когда он искал слова, передающие в полную силу бред зла, вырвавшегося на простор, где уже нет границ между Германией и Европой, Германией и Россией, и не потому только, что эти границы сметены гусеницами танков. Зло смертельно, когда из пор добра уходит страсть и энергия вселюдности. Это-то как не понять в свете того опыта, как и опыта последующего, опыта нынешнего, будь то Нагорный Карабах либо Ирландия, расколотый Пенджаб или раздирающая себя Югославия. В причинах же не одна изворотливость, переимчивость, мимикрия зла. В корневищах — слабости Добра, проистекающие из того, что его и делает Добром: ведь оно всегда впереди — желанное, недостижимое.

Великий наказ — не убий! Сверх тех табу, что пестовали в Гомо *человеческое*. Сколь видит глаз, обращенный в прошлое, истребление себе подобных, изживаясь внутри своего племени и этноса, отступало и в отношении чужого. Медленно, нехотя. Рубеж — распятие, что предвосхищено Словом: не убий любого, всякого!

С тех пор люди — в замысле — *сораспявшиеся*. Но и зло, напялив ту же маску, устремилось заполучить любого, всякого. Расчет будто верен. Ежели удастся воспрепятствовать превращению людей в братьев, ежели сподручно заместить свободную человеческую равноположенность втесненным выравниванием, вытаптыванием различий, то на табло вспыхнет: «Убей любого, всякого! Это доступно... Это даже увлекательно... Только войди во вкус...»

Мы у края нашего столетия. Того, что сделало привычным долгожительство «развитых» и таким же привычным детей-скелетиков в глубинах Африки; — у края столетия тотального покушения на дочеловеческую и постчеловеческую Жизнь. Два прогресса в обгон: прогресс непредусмотренного Добра и прогресс не востребованности его, прогресс его спутника-тени — Зла. У этой схватки уже нет нейтральной территории, иссяк пространственный ресурс. И, сдается, на исходе запас Времени. Не в «Красной книге» человек. Но уже — в ЧЕРНОЙ!

На что же надеяться? Кошунственно сказать — на Холокост. Но что-то убеждает: да, на него. И на него. В том самом широком смысле, который вбирает в себя каждую из схваток человека с собою — и каждый акт «размытого» Сопротивления, оказываемого убийству союзом-диалогом жизни со смертью.

... Окончательным решениям все же не бывать. Никаким. Нигде. Никогда.

1991-1992

МИР ХОЛОКОСТА XX ВЕКА

I

1. Три имени — три грани трагедии XX века. Горечь иврита — Шоа: катастрофа; Катастрофа, которая постигла евреев; не первая в ряду гибелей, подстерегавших их с библейских времен; не первая — последняя ли?.. Нацистская палаческая тайнопись — *Endlösung*: окончательное решение; окончательное для евреев — вычерком из реестра живого; окончательное для немцев — увековечением «расы господ»; окончательное для Мира — превращением составляющих его народов в иерархию париев... И, наконец, получивший планетарную прописку *Holocaust* — всеожжение: крематорий для живых; языческий жертвенный обряд, возвращенный в ново-европейскую цивилизацию на грани самоутраты — *слова ее прогрессистского императива*; пепел, напоминающий людям об их неистребимых «началах» и их неисклученном (в ближней перспективе) Конце. В наиболее обобщенном виде — *духовный опыт*, прямо и окольно присутствующий во всех проблемах, которые одолевают ныне Землю.

2. Разумеется, последнее утверждение спорно. Но если отклонить сразу банальности «ревизионизма», то обнажается предмет действительного разномыслия: универсализм судьбы евреев. Это не только теологический сюжет, затрагивающий

кровно и иудаизм, и христианство. Это и обращение к сокрытым глубинам человека, исследуемым современным психоанализом без шанса быть исчерпанным им одним. Это также призыв к критическому разбору традиционных способов понимания истории как процесса, «восходящая» природа которого неизменна при всех стадийных превращениях (и любых сменах субъекта этого процесса). Именно этот аспект меня интересует сейчас.

3. Некоторые исходные допущения: а) история в строгом смысле принадлежит лишь человеку; б) история возникает: не только вместе с человеком, но и внутри человеческого существования; в) поэтому специфическую актуальность получает (то уходя, то возвращаясь) проблема предела истории во времени и в пространстве; г) история — в единственном числе: не от «отдельных» историй к совокупной, интегральной истории, а от нее, уже в первофеномене *всемирной*, через одиссею мирового импульса и «проекта» — к историям — эманациям искомого целого; д) история, таким образом, синонимична человечеству и разделяет участь этого одействляемого замысла.

4. XX век подвел черту под историей Истории. По видимым признакам она достигла границ ойкумены, но как раз в этих «окончательных» границах выявилась ее незавершенность — в человечестве. Незавершенность или незавершаемость? Ответа нет, но вопрос неустраим, при том, что он не умозрительный, а работающий: и в положительном смысле, и — не менее, если не больше, — в смысле страдательном. Незавершаемое человечество — капкан идей и провокация действий, стихийно и умыслом обессиливающих человека и принуждающих его к согласию стать либо палачом, либо жертвой, или даже — и тем, и другим.

Можно бы оценить эту ситуацию как краткосрочную, используемую разрушителями и агрессивными силами с явно выраженной националистической и расистской предрасположенностью. Но такая оценка все же недостаточна. Ею едва ли удастся объяснить масштаб и пафос убийства, вырвавшегося в

нашем веке на планетарный простор: всеобщего преступления, решающий мотив которого оно обретает внутри самого себя, превращаясь из «инструмента» истории в причину собственных непосредственных причин.

5. Панубийство — из недр человека. Это освобождение его от избирательной свободы и избирательной гибели — высоких завоеваний истории. Это и истребительное равенство, сокрушающее продуктивное неравенство цивилизаций «всеобщего эквивалента». Шло к этому — веками и десятилетиями, но все-таки не фатально, а в силу скрещения обстоятельств с неодинаковой родословной.

Экономический кризис и социальное отчаяние 1930-х застали мир «развитых» неподготовленным, требуя того или иного ухода от классической частной собственности и государства в роли ее «ночного сторожа». Фашизм опередил в этом отношении европейскую демократию. Духовный плагиат, совершенный им, как и его идеологическая эклектика, парадоксальным образом содержали мнимый и тем не менее действенный ответ на проблемы, еще не вышедшие из своей «вопросительной» фазы. К их числу принадлежит, в частности и в особенности, снятие оков с быстротечной самореализации «униженных и оскорбленных» — за счет переворачивания социальной пирамиды и взрывного отказа от разноликого и аритмичного Мира. Существенно, что катаклизм, потрясший Запад, совпал со взломом традиционных связей в недрах крестьянской и многоэтнической России, создав тем самым «антропологическую» основу сталинской системы, также упредившей призыв к гражданскому миру внутри и вовне. Даже если представить, что это совпадение первоначально носило чисто календарный характер, оно — в ближние сроки — превратилось в двуединство.

Гитлеровская эгалитарно-расистская тотальность, как и сталинский симбиоз вытаптывания различий и миродержавного изоляционизма, совместно «строили» античеловечество, способное заполнить собою поприще, унаследованное от близкой к исчерпанию истории.

6. Холокост — предметность античеловечества. Эта загадка его мучает по сей день. Банкротство нацизма, победа оружием, подкрепленная Нюрнбергским приговором, поставили геноцид вне закона, а спасенные евреи совершили подвиг самовозобновления, олицетворенный в новой стране на земле предков. Однако призрак античеловечества не только не покинул мир. Он укоренился «холодной войной», расплылся по лику Земли, мимикрируя и совращая опыты свежеприобретенной суверенности. Он — внутри экологической катастрофы, где жертвой человека оказывается прежде всего сам человек.

Является ли повтором Апокалипсиса прогноз, исключая торжество античеловечества простым возвратом к *идее человечества* в очищенном от скверны виде? Не вернее ли: это идея, навсегда покидающая планету? Не в «идеальной» конвергенции вижу я спасение, а в Мире равноразных миров. Homo historicus, сменивший Homo tiphicus, в свою очередь, приговорен к замещению другим человеком, которого мы можем сегодня лишь условно именовать пост-историческим или заново эволюционным.

II

Нынешний историк так же, как его предки, страдает от скудости и пробелов в источниках, не говоря уже о той, совсем близкой, «родной» нам ситуации, когда ФАКТ под замком и неусыпным казенным присмотром. Правда, по мере приближения ко дню сегодняшнему картина как будто меняется. Далеко не все запреты убраны, но все же многие. На моих соотечественников буквально обрушилась лавина документальных свидетельств, обойти которые нечестно, освоить же совсем не просто. Изобличающая и резонирующая односторонность правит бал. Примкнуть к ней модно и доходно. Сопrotивляться?! Но — как?

Я опускаю сейчас разбор уловок современной избирательности. Я хочу вместе с вами проникнуть в смятенную душу, которая не из корысти и банальной трусости противится

полному знанию и даже отторгает его. Ибо тяжело признать собственную слепоту. Но не менее, если не более тяжело сознаться в беспомощности перед лицом ужасного: беспомощности воспоминания, подтверждаемого и атакуемого призраками во плоти. Вчерашние они или еще и завтрашние, заново понуждающие к согласию с ними, к служению им?! Быть может, они менее страшны, чем их предтечи. Но существовать вместе с ними поистине непереносимо.

Относится ли это к теме, о которой я сегодня буду говорить? Я отвечаю — ДА, обаяясь объяснить, что имею в виду.

Нет нужды разъяснять слово Холокост (Holocaust). Эллинское происхождением, оно вкратце значит — все-сожжение. Этим словом не исчерпываются способы, какие пустили в ход нацисты для уничтожения евреев. Но в геноциде XX века дым и пепел газовок символизируют замысел поголовности и бесповоротности: финализм задуманной и исполнимой смерти. Закланию подлежало ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, олицетворенное в народе-зачинателе. Тут скрывается нечто, что раньше греков, и то, что от них — и поперек их умения уравновесить мудростью страсть. То, что пришло в Мир расколом на традицию и переначатие. То, что за пределами не только добытого и укорененного, но и «упущенных возможностей». Таинственное происхождением, непредсказуемое в своих обнаружениях.

Сказав, что Холокост зачат во чреве Невозможности, приближусь ли к пониманию злодеяния, банальность которого находится в столь разительном контрасте с его размерами? Или надо сделать еще шаг и разглядеть в систематическом убийстве ради убийства наваждение «окончательного» ответа на вопрос, задаваемый человеком себе: «кто я есть?»

Да, вы вправе оспорить меня, напомнив, что речь все-таки идет о событии, имевшем определенную хронологию и достаточно четко обозначенное пространство. Я бы согласился с этим, если бы мы собрались в году 1945-м, если бы подтвердилась наша тогдашняя (юная, несмотря на шрамы войны) убежденность в исключенном повторе. Но сегодня, в этом потрясающем своими переменами Мире, кто, даже отвергая прямую реставрацию свастики, предьявляющей все-

ленскую заявку, решится исключить опасность катастрофы, прекращающей человека внутри самого себя? Мне следует добавить к этому признание: Холокост для таких, как я, это еще и биография. В какой-то страшный миг Мир сжался в последние дни, часы и минуты моей мамы и брата, чтобы затем снова раздвинуться, дойдя до крайнего края.

А что там — за ним? Пропасть? Либо новый виток вочеловечения человека?

Я знал, что случилось. Знал, но не спрашивал. Быть может, смутно догадываясь, что вопрос этот раньше или позже взломает биографию, требуя переменить не взгляд на жизнь, а саму жизнь. «Раньше или позже» могло быть только личным. Самоисповедью, близкой к самодопросу. Кто ж без вопиющей надобности решится на это?.. «Кто я есть?» Нет, не так я спрашивал. И если в конечном счете так, то, преодолевая не один соблазн остановиться на полпути. Ведь я из того несостоявшегося, загубленного поколения, которое годами отучали задавать вопросы без ответа, те самые, которыми только и дано породниться с другими, — также спрашивающими.

Впрочем, и это не совсем точно. «Отучали» не врозь с «приучали», а вместе. Ибо все бытие наше было приучением к ответам, опережающим вопросы и неявно содержащимся в любом вопросе, любом проявлении любознательности и даже в сомнении. И это уже не внешнее приучение было, не только оно, но и собственное, изнутри себя, движение навстречу этому. Можно бы сказать — навстречу истории. В самом деле, если история — ВСЁ, и это всё, каким бы петляющим оно не представляло в былом и текущем, есть реализация во времени того, что загодя заложено в ней и постигается сознанием как цель, то разве жить в истории не значит быть исполнителем в самом прямом, но и в самом высоком смысле? Сегодня я, наперечет зная все доводы против предустановленности, все опровержения ее, не могу, однако, утешить себя этим. Помеха — мертвые сверстники, которые доверяли истории и доверили ей себя. Это они своей смертью остановили Гитлера в 1941-м, 42-м. Поступили ли бы иначе, разуверившись в том, что учили пять предвоенных университетских лет? Исключаю. Мне скажут: у них просто не было выбора. Я соглашусь, добавив: это

в такой же мере суть истории, как и то, что она подвижна, влекома человеком, помогающим выбору, поскольку ее истинное поприще — выбор, развязкой которого является гибельная утрата его.

Итак, я должен признать, что эта тема вошла в меня — несмотря на многие биографические моменты, обязывающие вникнуть в нее, с большим опозданием. Она стоит в ряду других, это не единственная трагедия, которая уязвила за многие годы мою жизнь и мое профессиональное сознание историка. Я ощущал, что дойти до некоторой полноты знания в этой сфере означает переменить свой взгляд на мир, на человека и на историю.

По крайней мере признать, что убеждение, под знаком которого прошла моя юность и даже зрелые годы, убеждение в неумолимости восхождения человечества вперед и выше, по отношению к которому все противоречащее может рассматриваться в лучшем случае как движение вспять, это представление — неполно, уязвимо, а может быть, и неверно. Ибо в том, что мы называем историей, бывают не только возвратные шаги, не просто движение вспять — но и инволюция — развитие вниз — упрямая, неотменяемая и могущественная составляющая исторического процесса.

Быть может, тем, кто за нами, да и нынешним молодым будет куда легче, чем людям моего возраста и поколения, признать это развитие вспять, научиться с ним бороться, им управлять, в конечном счете — вводить его в человеческий обиход и подчинять законам нормализации человеческой жизни. Нам это трудно. Одно из доказательств — Холокост. Не единственное в историческом ряду оскорбления, растаптывания достоинства и уничтожения человека. Но даже в своей неединственности, в который мы, к сожалению, все более убеждаемся, Холокост — явление исключительное.

Вопрос, который сейчас возникает перед каждым, касающимся этой темы, — фатально ли было это организованное, спланированное и с безумной тщательностью чуть не до последнего дня войны исполняемое уничтожение народа, вероятно, единственного на Земле, численность которого не могла, не может вернуться к отметке 1939-1940 годов? Если

же это «событие» не было фатальным, то на пороге вопрос следующий: почему же оно не было предотвратимо и обратимо? Не забываю — запланированному концу помешал военный разгром Германии, в котором большие жертвы понесли мои соотечественники. Тем не менее вопрос не уходит.

Мы перелистываем страницы истории народов, состоящие из многочисленных вычерков и возобновлений, и не можем дать исчерпывающего ответа. Мы вдумываемся в превращения расизма и антисемитизма, понимаем, что Холокост корнями оттуда, но даже в пределах парности, единства сообщающихся сосудов расизма и антисемитизма в Холокосте остается нечто неуловимое.

За объяснением — вновь и вновь к феномену нацизма. Притом, не только к его происхождению, не только ко всему, что привнес он в человеческую жизнь, но также и к вопросу, как, почему феномен этот был допущен, отчего пышно разросся, охватив едва ли не целый континент, почему увлек за собой миллионы людей?

Достаточно ли признать, что нацизм — детище исторически разъяснимой комбинации, когда фальсифицированное национальное чувство, оскорбленное Версалем, сочеталось с невероятной степенью социального отчаяния, охватившего работающие пласты Германии поры мирового кризиса. Ощущения, ранящие, удалось утилизировать, социальное отчаяние переведа в оскорбленное национальное чувство. Сдвиг в человеке оказался достаточным для формирования новой человеческой породы, которую можно назвать условно «эзсовской».

Они, внезапно лишившиеся работы, достатка, завтрашнего дня в пору социального кризиса конца 20-х, как бы без остановки, без перерыва, без внутренней перековки отношения к жизни и к ближнему, были вдруг превращены во властителей других человеческих жизней и судеб. Им, новоявленным распорядителям, было предоставлено теперь право растаптывать и уничтожать.

Да, для этого нужен был Гитлер. Не предрешенный, но потрясающий своей неустранимостью. И сопоставляя эту ситуацию, не отождествляя ее, но именно сравнивая с нашей, домашней, а вместе с тем со всемирным злом, именуемым

сталинизмом, мы также отдаем себе отчет, что его не было бы без Сталина, который также не был предписан историей и вместе с тем благодаря сложному сцеплению фактов, о которых можно многое говорить, возрастал в своей неустрашимости и неотменяемости, пока сама система, созданная им, не перешла в фазу агонии и не ускорила его смерть.

И еще: чтобы оказался возможным Холокост, нужно было поле для убийства, жизненное пространство человекоуничтожения. Не случайно фазу осуществления эта таившаяся внутри нацизма идея получила после того, как была растоптана в крови Польша и началась оккупация России. В газовках и крематориях Польши, где сжигали живых, в расстрельных ямах России Холокост впервые стал явью. С этой точки зрения, даже если не иметь в виду специальной смычки, мы в зоне темы ответственности и пагубности военного союза Гитлера и Сталина, из которого органически проистекали и наши поражения 41-го года, и возможности человекоистребления, заявленные Холокостом. То, что нацисты называли *Endlösung* — окончательным решением, было также органичным для Сталина, признававшего только «окончательные решения». И эта напасть «окончательных» не ушла из жизни, она до сих пор еще владеет умами. Осознана ли и ныне в полной мере вся жизнеотменяющая потенция любой заявки на окончательное решение в отношении человеческих судеб и жизней?!

Неустраним заслуживающий специального внимания вопрос: как разные по своей родословной, по своему происхождению режимы совершали определенного рода конвергенцию, вне которой мы не поймем ни злоключений второй мировой войны, ни истребления народов, ни многих пагубных следствий того, что оставило шрамы в человеческих душах и в сознании и страшными толчками выходит наружу десятилетиями — вплоть до сегодняшнего дня. Я говорю не только о стране, из которой я родом, но я говорю также о Германии, где я недавно побывал и где эти страшные толчки возврата ощущал непосредственно.

Продлим дальше цепь условий, сделавших возможным Холокост. Мы прикасаемся здесь к больной теме причастнос-

ти. Я отклоняю решительно как неточное и небезопасное понятие — суд истории. Я очень сомневаюсь в справедливости и целесообразности принципа поголовной ответственности, тем более если проблема — не поле академических дискуссий, но сродни минному полю. Должно отличать причастность прямую (причастность-акцию) от причастности РАВНОДУШИЕМ. И невозможно забывать еще об одной причастности — причастности НЕПОДГОТОВЛЕННОСТЬЮ. Можем ли, думая о Холокосте, обходить вопрос, который задаем себе в связи с нашим российским 30-м или 37-м годами, который неотвратим в связи с Сумгаитом или Сараевом: что же в сердцевине неподготовленности людей к катастрофическим срывам в небытие? Как историки мы не имеем права уходить от этого вопроса. И даже зная, что не в силах на него ответить полностью, призваны вновь и вновь искать ответ. В замечательной книге интервью, в одном из лучших произведений, посвященных Холокосту и сопротивлению ему, в книге Марека Эделмана, ныне живущего одного из руководителей восстания в варшавском гетто, я прочел о паразитальном факте. Когда стали возвращаться пустыми эшелоны, увозившие евреев на закление, польские еврейские подпольщики радировали в Лондон с сообщением о совершающемся. Но все оставались глухими — не столько из корысти, не только из-за недостатка ресурсов, но из-за неверия. Человек был неподготовлен к восприятию т а к о г о. Да что говорить о Лондоне? Не верили страшной правде и сами узники гетто!

Сегодня я выделяю этот последний сюжет. Он не еврейский. Он — всеобщий. Проблема неподготовленности должна быть раскрыта не только на уровне социальной психологии или же исторических ассоциаций, она должна стать предметом коллективных рассматриваний гуманитариев разного уровня. И далее может быть переведена на язык политики, где ей сегодня нельзя не занять одно из первенствующих мест. В этой связи я остерегаюсь, говоря о явлениях, подобных Холокосту, и о тех, которые переживаем мы, даже употреблять слово трагедия. Я вспоминаю слова Мандельштама: трагедии не вернуть. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что классическая трагедия, сопровождавшаяся ка-

тарсисом-очищением, уже ушла из мира. Требуется больше, чем покаяние, даже если допустить, что мы исключили из него притворство и распродажу грехов, вновь возникшую торговлю индульгенциями. Даже в чистом виде покаяния мало. Приходит простое слово опыт, встреча опытов. Я произношу эти слова не без дрожи и, может быть, вы скажете, что это даже кощунственно. Неужели миллионы людей должны погибнуть, чтобы следующие поколения приобрели определенный опыт?! Но признаюсь, другого слова у меня нет.

Опыт — это встреча живущих с живыми мертвыми. Нам надо признать их существование — живых мертвых. Нам надо включить в свое сознание их умолкнувшие голоса. А они — разные, по-человечески многоголосые. Я встретился в Москве с одним, уже пожилым человеком, который мальчиком прошел через гетто, едва избежав гибели. А когда вырос, написал специальную работу о звуках, цветах и запахах гетто...

Я спрашиваю себя и не смею вам ответить, что весит на весах человеческого существования больше — невозвратные потери или обретенный таким образом людской опыт? Мы можем сказать только одно: как раз этот опыт, этот диалог живущих с живыми мертвыми и, может быть, только он отучит нас от странной, хотя и подтвержденной ходом истории, мысли, что совершенное сегодня может быть исправлено завтра. Мне кажется, мы еще не осознали: Мир вступил в другую полосу, когда неосуществленное или погубленное сегодня, завтра не вернется, может не вернуться никогда. Метод проб и ошибок должен уйти навсегда из человеческой жизни. Он исчерпал свои ресурсы.

Мир Холокоста — вчера? Или также и завтра? Я мог бы также сказать: мир Кампучии, мир Карабаха, мир Сараево. Я хочу спросить вас, осознаем ли мы в полную меру причину того, что убийство человеком человека вновь обрело такую гигантскую силу, управляющую нашим существованием, силась превратить всю планету в свое поприще. Почему панубийство стало на исходе XX века коренным пунктом всех коллизий — духовных, нравственных, политических, втягивая в себя все остальные проблемы вплоть до хлеба насущного? Мы говорим о геноциде. Мы спрашиваем себя, что

геноцид — атавизм, вырвавшийся, как магма, из глубин человеческих, или он — новообразование, канцер XX века, питающийся неготовностью людей к решению проблем без прецедента? Внутри геноцида таится неосвоенная нами проблемность. Так повелось в человеческой истории, что убийцы опережают других и что убийство может сигнализировать нам о проблемах, которым мы еще не знаем решения.

Мир стал тесен для людей. Человек стремится жить в небольшом, ему принадлежащем, его глазом охватываемом пространстве, а вместе с тем мы накануне некоего великого переселения народов, ставящего под сомнение все пределы и границы. Разве приложимо слово «беженец» к этому новому явлению? Разве исчерпывает оно участь почти 20 миллионов людей, говорящих на русском языке и оказавшихся вне России?

Когда я слышу о том, что европейские правительства пытаются создать ограду и запрет на иммиграцию в Европу, исключая из понятия «преследование» потерю крова, изнасилование, разрыв семей, то я вижу на голограмме это зловещее нацистское слово *Endlösung*. Когда я думаю об обошедшей мир статье Фрэнсиса Фукуямы, в которой довольно банальная идея *Rach Americana* обернута в соблазнительное наименование конца истории; когда я читаю слова, составляющие сердцевину текста («мы присутствуем не просто при конце холодной войны, но при конце истории в более общем смысле на исходе эволюции человека, когда западная либеральная демократия утверждает себя повсеместно как окончательная форма общественного устройства»), прикладывая слово повсеместно к слову окончательная форма, я — вопреки желаниям этого автора — тоже вижу на табло вспыхивающее это страшное нацистское слово *Endlösung*.

Мы не можем не признать, что под ударом находится не частность, не огрехи, не ошибки. Под ударом находится самая идея, самый проект человечества. Я стремлюсь к строгому употреблению этого понятия. Мне кажется, что оно отнюдь не означает — «все люди вместе», не совпадает со словами «род» или «вид» человека. Оно значительно моложе, оно позже. Оно — со времен раскола внутри маленького народа,

когда бродячий проповедник из Галилеи поднял мятеж против этноса и секты, а его последователь произнес: «Ни эллина, ни иудея...» Им была запущена идея такого повсеместно-всеобщего, такого унитарно-планетарного устройства людей, которое было бы *единосущностно, единоосновно, единообразно*. По отношению к такому — при всем разнообразии — другие человеческие общности, стадии эволюции и развития — не более, чем вариации. Преклоним голову перед этой великой идеей, вспоминая ее гигантскую одиссею, ее экспансию, которую новоевропейская цивилизация осуществляла на Земле и в виде колониализма, и в виде антиколониализма, экспансии вещественной и экспансии духовной, экспансии своей саморефлексии, экспансии критики самой себя... Идея эта достигла своей вершинной остроты в трудах мыслителя, который также принадлежит прошлому, как и будущему. Я имею в виду Маркса. Подтвердились или нет его предположения, но в высшей мере поучительно, как строилась им (в его системе идей) программа человечества, какие превращения претерпевал проект, приведя автора «Капитала» в конце его жизни к прерыву работы над главным своим трудом. И — к возникновению концепции многовекторных развитий, когда оказалась осознанной вставшая со всей остротой проблема соединения разнонаправленной динамики, меняющая обычные представления о симбиозе прогресса и отсталости.

Так что в пору задаться сегодня вопросом: быть может, неудача проекта, которая с такой гигантской силой явилась нам, связана с его преждевременностью? Если и так, если признать что мы расплачиваемся за его преждевременность, то все равно должны иметь мужество признать: возобновление проекта в прежнем и классическом виде (и в неклассическом даже) уже невозможно. Ибо гибели людей должны войти в самый предмет коммунизма, ежели тщатся его сохранить и если у проекта есть шанс жить среди людей, вдохновляя или помогая им решать текущие задачи, уводя их от бездн и обрывов. Но возможно это только в случае, если коммунизм в самый предмет свой введет смерть и гибель, если коммунизм внутри себя как предмет мысли примет свою

ответственность за жертвы, что понесли люди на пути к человечеству. Но даже если эта идея покидает ныне Землю, то это не означает, что вместе с ней уйдет и человек.

Был *Homo sapiens* — тысячелетия, был *Homo historicus* — жил века... Возможно, речь идет о третьем *Homo*, который возвращается в эволюцию. Но возврат невозможен без того, чтобы этот третий и искомый, нам еще неведомый человек, обрел память о том, что ему предшествовало. Безнаследные люди будущего не имеют.

В этом прекрасном городе Барселоне я прежде всего слышу голос Оруэлла в его замечательной книге «Памяти Каталонии». Я думаю в этом городе и о России. Холокост — не чисто еврейский, более того, Холокост, взятый в своем философско-историческом и в экзистенциальном объеме — это русская тема, это русский вопрос. Мы у нас дома страдаем от того, что десятилетиями это была для нас закрытая тема. Факты были известны, но немая память — плохой, ненадежный союзник людей. Мы должны разговорить эту тему, мы должны быть откровенными при ее обсуждении, мы не должны бояться остроты возникающих вопросов. Мы должны найти в себе твердость, чтобы преодолеть то страшное, что человек обнаружил в себе.

1992-1993

КОНЕЦ ЧЕЛОВЕКУ ИЛИ КОНЕЦ В ЧЕЛОВЕКЕ?

Во мне поселились торжественные и печальные строки
Марцелиуса Мартинайтиса:

Имени нет у меня,
имени нету
для слов, слепотой порожденных.
Для глухого остывшего взгляда
имени нет у меня...

Мартинайтис не о литовцах только, не о евреях отдельно. Он обо всех, у кого досрочно отняли жизнь, чье достоинство растоптали перед их последним часом. Он об убийстве, вырвавшемся в XX веке на простор планеты. Он о слепоте, о глухом, остывшем взгляде, которые и по сей день — препона, чтобы увидеть и услышать, узнать и понять, в каком отношении в нашем уходящем веке оказываются мертвые и живые, живые и мертвые.

«Имени нет у меня...» Дано ли исчерпать, что осталось позади, то, что всегда впереди — в особой жизни памяти? Исчерпать расстрельные рвы и ямы, газовки крематориев.

Исчерпать размер и суть Холокоста.

Размер был сутью, суть рвалась к размеру. Она сметала границы, опрокидывала всяческие нормы человеческого обихода — и благородные нормы, и даже низкие. Она рвалась на простор, где только ей одной и быть.

Шесть миллионов погибших евреев... Вспомним поименно каждого страдальца. Каждого из безропотно шедших на заклание, и каждого из тех, кто, опомнившись, дал отпор. Память обязывает без зла, но мудро и взыскательно вспомнить тысячи и тысячи прикосновенных к случившемуся тогда, сопричастных равнодушием и предрассудком. Из памяти не уйдут палачи, и она, потрясенная тем, что палачами были также люди, сосредоточивается на страшной связи, соединяющей всех *внутри этой трагедии*, и в поисках объяснения возвращает себя к корням, к истокам, к человеческой первозаданности.

Холокост не только оттуда, он — и туда. Он — в бесконечной череде человеческих опытов, которые ждут и жаждут, чтобы их сегодня сомкнули в неединый всечеловеческий ряд. Укоряющий человека и его же возрождающий. Ради этого — мы. Это та работа, которую мы должны делать, приобщая к ней всех переживших, но не пренебрегая строгими требованиями исторического исследования.

Однако спросим себя: не кощунственно ли, говоря о подобной работе, применять слово «опыт»? Что же — разве ради опыта, как бы он ни назывался, гибли люди? Гибли, конечно, не ради умножения опыта — даже в тех памятных случаях, когда приносили себя в жертву «во имя...». Но опыт — слово, которое ничем не заменишь.

Опыт — знание людей о себе. Но не то, что раз навсегда с этикетками — «страшное», «высокое». Говорят: чужая душа — потемки. А своя? У каждого человека есть страж, охраняющий вход в запретное, чего касаться опасно и что скрывать мучительно. Жизнь — в этом поединке самозапрета с потребностью (и долгом) открыться. Исповедь ведь всегда вслух. Любой духовный опыт по самому определению — это встреча, это человеческая взаимность, которую всякий раз предстоит добыть и удержать, помня, что она легко утрачивается, и что именно наш век, изобильный достижениями научного знания и технологическими чудесами, век информатики и видеоконтактов, преуспел и в забывании, в обеспамятовании людей, прибегая для этого не только к насильственным вычеркам, но и к изысканным подчисткам.

Современная фальсификация апеллирует к сомнению, охаявая факт пристойным призывом к равенству гипотез. Отдадим себе отчет: в союзниках у достоверной лжи — бегство от проблем, выпрямление человеческого опыта, освобождаемого от падений, от самопотерь и тягот возобновления.

Относится ли сказанное к Холокосту? Мне кажется это не только бесспорным, но и возрастающим в своем значении. Ибо Холокост — это тот опыт, в исключительности которого современность, и именно она, и раскрывает его потаенную всеобщность. Вот почему, а не только из понятных нравственных соображений, надобно по крохам собирать все подробности отдельных судеб, удержанные воспоминанием звуки человеческого голоса, надежды в безнадежности, неумирающие движения чувств на пороге мученической смерти.

Мы не должны, вероятно, останавливаться на моменте гибели и дне спасения. Логика Холокоста влечет нас переступить рубеж 1945-го, касается ли это планетарных коллизий или борений единичной жизни. В доказательство — судьба, чье имя собственное Марек Эделман. Он жил и ныне живет в Польше.

Один из лидеров молодежной организации Бунда, Марек Эделман был в числе зачинщиков восстания в варшавском гетто. Личный его опыт, включая историю и последующей жизни, неотделим от того, что накапливалось и взорвалось в одночасье внутри этого человеческого муравейника, отъятого от Мира в тесном преддверии смерти. Единоборство пришло на смену даже не отчаянью, а защитной прострации, слепоте отторгаемой правды о развязке, ждущей каждого.

Действительность великого события 1943 года не нуждается в прихорашивании. Об этом стоит вспомнить сегодня: ведь день Поминовения, который мы ежегодно отмечаем, это и день Мужества. Датой его по праву избран рубеж-вызов, который горстка варшавских евреев бросила и насилую, и жертвенности, как и их неотменяемому сожигательству.

Сигнал к началу — убийство начальника еврейской полиции. Акция была оправданной и вместе с тем тяжкой. Вменить ли в вину человеку, что он думал лишь о себе? Да и о себе ли только? Казненный долгие годы мечтал обрести

ребенка, но удалось это им с женой лишь в гетто. Перешагнув через этого человека, волонтеры Выбора (в условиях, исключаящих иной выбор, кроме срока гибели) освободили гетто от круговой поруки покорства. Они нанесли удар по самой сердцевине нацистского «окончательного решения». С начальным выстрелом рухнул замысел расчеловечения, предваряющего Ничто.

Восстание вспыхнуло во время очередной депортации. Впервые вагоны простаивали. Немцы поняли: евреи не покинут гетто. Из проклятого места, где хозяйничали тиф и чахотка, оно стало их родным домом, суверенной территорией, Землей обетованной. 19 апреля: баррикады сооружают немцы! 20-е апреля: «каждое здание сражается». Дальнейшее известно — танки и тяжелая артиллерия против револьверов и бутылок с горящей смесью. Море огня. Сотни евреев, кончающих с собой, кидаясь на мостовые из окон разрушаемых домов. «А знаешь, что было хуже всего? То, что все больше людей ждали моих приказаний». Это — Марек Эделман, исповедующийся польской журналистке.

Случай спас его и еще немногих из вожаков восстания. По канализационным трубам, по горло в зловонной жиже, с поднятым над головой оружием — они вышли в центр Варшавы. Затем погибло большинство из спасшихся — уже в рядах польского Сопротивления.

С победой началась вторая жизнь Марека Эделмана. Пережитое не отпускало. Когда Анджей Вайда предложил ему роль гида в фильме о варшавском восстании — последовал отказ. Только годы спустя он решился на серию интервью — поразительное свидетельство длящейся жизни духа. Не смею пересказывать, неизбежно уйдет интонация сомнений, вопросов, адресованных себе, откровения, свободного от какого-либо нравоучительства.

Один лишь штрих, вернее — заключительный аккорд. После войны подруга посоветовала Мареку, который буквально сходил с ума, заняться медициной. Он стал врачом. Журналистка, осведомленная о его многолетней практике, спрашивает: я слышала, что в банальных случаях ты исправно выполняешь свои обязанности, но словно меняешься, когда

подступает смерть, тогда ты творишь чудеса. Отчего же так? «Да, — признает Эделман, — тут начинается моя роль. Я стремлюсь охранить пламя жизни, в то время как бог решает его загасить». «Так ты вступаешь в состязание с самим богом? Не высокомерие ли?» Ответ: «Будучи санитаром в гетто, я проводил на тот свет четыреста тысяч человек. Это они уполномочили меня вступать в спор с богом, стараясь продлить всякую жизнь или облегчить смерть».

«Так ты всю жизнь у ворот? Ты всю свою жизнь там, у выхода из гетто?» — «Да, всегда — у ворот!»

Разве слова эти не обращены и к тем, кто живет сегодня? Разве эта жизнь у ворот — достояние одного или напасть, преследующая лишь немногих? Будем откровенны. Жить у ворот — со входом без выхода, кто согласится по доброй воле? В гетто загоняли. На священные смертные часы гетто смогло превратиться в анклав Свободы. Но общечеловеческий смысл оно обретает лишь вспоминаяемым — передаваемым из поколения в поколение, от каждого к каждому. И тогда оно уже не гетто, а нечто иное, безадресное, всеязычное, вчерашне-завтрашнее...

К исходу XX века мы все на Земле — у ворот. Преувеличу ли, сказав, что это — последние врата истории? Впаду ли в односторонность, утверждая, что Холокост — одно из самых явственных знамений этого?

История многозначна. Ее направленность в будущее — в то, что загодя призвано превзойти настоящее, ищет решающий аргумент в прошлом. Чем же быть ему, прошлому, как не прологом и пьедесталом? Оставленное наедине с собой, восхождение складывает свои ступени из трупов. Можно проклинать это, а можно вступить в полемику, предметом которой явится цена, размеры допустимых гибелей. Человек исторический, собственно, делал и то, и другое. Проклинал и оспаривал: словом и поступком. Не оттого ли, ища синонимы к «истории», мы в первом же ряду ставим трагедию.

История трагична, не так ли?

Классическое определение Аристотеля гласит: «трагедия — это очищение через страх и сострадание». Трагедию изобрели эллины — не как жанр, а как форму бытия. Чего

страшился гражданин полиса? Не отступали от него первозданные ночные кошмары или его страх был производным от его же дерзости, устремленности за предел, ожиданием расплаты за превышение отпущенных человеку возможностей? Сострадал же эллин к участи тех, кто рискует первым пуститься в неизвестное, потревожив и возмутив этим Рок.

Герой, по мудрому выражению Якова Голосовкера, являл собою детерминированного преступника поневоле. А стало быть, и расплата за брошенный им вызов была одновременно неотвратимой и незаслуженной. Сострадание не отменяло страха, лишь облагораживая его, а их двуединство вело к очищению, к катарсису. Так утверждалась мера, восстанавливалось равновесие между человеком и его судьбой. Но ненадолго...

Мы застаем эллинов на пороге истории. Они сделали самый большой из нам известных шагов к познанию человеком человека, но еще не дошли, не могли дойти до человечества. Человечество — это иудеохристианство. С человечеством история обретает стрелу Времени. И ту единственность, которая несет в себе — проблемой и проектом — единый МИР РАВНОРАЗНЫХ ЛЮДЕЙ.

Века ушли на осуществление этой идеи, которая претерпевала сокрушительные перемены. Обагренная кровью с ног до головы, она билась и разбилась в конце концов о будто бы самое простое: кому он должен принадлежать — этот единственный единый Мир? Кто в его властителях и попечителях? Кто в суверенах его равноразности?

С того момента, как Мир стал искомым — целью, санкционированной Всевышним, — он (Мир) стал делимым. Делимым, однако, в рамках целого, которое оставалось вожделением и тревогой, достигающими отдельного человека, раскалывающими его изнутри: на эманацию человечества и на его же, человечества, приземленного оппонента-антипода. Не будь этого спора внутри человека, появиться ли нации — новшеству, дарованному Европой? Не будь этой распри, сумел ли бы человек дорасти до парадоксальной свое-чужести, способности оплодотворять «свое» «чужим» — способности, у которой за плечами далеко не одни идиллии, но без которой что бы представлял собою современный Мир?

Трагедия вернулась к людям, когда уже не только целью, но и буквальным поприщем их стал земной шар. Она предстала творениями человека, мощь воображения и сила ума которого соединили Элладу с Библией. Этот человек — Шекспир. Его герои не пророки, но предвестники. Они прозревают, действуя, и расплачиваются за свою преждевременность не только собственной гибелью. В расплату входят самые близкие. Гамлет поступается любимой и матерью, Лир — единственной верной ему дочерью, Отелло — Дездемоной. Оправданы ли эти жертвы? Вопрос без ответа. Ответить призваны все, кто вслед. У себя дома и повсюду. Повсюду — дома. Но останется ли этот новый Дом «просто» домом, не вытеснит ли жар абстракции тепло очага?..

Да, тот век еще знал детерминированных преступников поневоле. Он еще способен был на очищение мысленным и чувственным соучастием в поединке с судьбой. Правда, место страха занял ужас не-бытия, а к состраданию прибавилось сомнение человека в правомочности своего покушения на настоящее, на обыкновенность, на естественный ритм извечного человеческого существования.

Там, где Шекспир начинает историю Мира, там же — у него — и ее финал. *Конец человеку или конец в человеке?*

Это вопрошает век XX: век, переступивший через трагедию. Это спрашиваем мы — себя: способны ли на катарсис? Пресыщенные страхом, споткнувшиеся на всеобщности сострадания... Чудовищно сдвинувшие местами палача и жертву... Не в том даже загвоздка — надобно ли нам очиститься, а в том — может ли процедура, повторяющая либо напоминающая классический катарсис (и древний, и Шекспиров), вернуть людям меру, утвердить «итоговое», — не оспориваемое уже никем — равновесие человека с его судьбой. Единственной, но уже не исключительной.

Я вновь обращаюсь к Мареку Эделману, к его интервью-исповеди. Каждый эпизод — навсегда. Сам по себе и тем, как извлекается он из памяти, мучимой прошлым и просветляемой им.

...Прием родов в гетто. Девятнадцатилетняя медсестра кладет новорожденного на подушку, накрывает другой. Нес-

колько звуков — все кончено. Жизнь, смертью спасенная от газовой. Теперь та девушка-медсестра — видный педиатр.

...Несколько полицейских-власовцев насилуют девушку — в зале, где ждут очереди на увоз. Люди смотрят и продолжают молча лежать в ожидании собственной участи. «Я это видел. Я был в конце зала». «А что ты сделал?» Ответ: «Ничего». И тут же: «С тобою нет смысла говорить об этом. Ты ничего в этом не понимаешь». «Эта девушка выжила. Она замужем, у нее двое детей и она счастлива».

...Мать отдает дочери свой «билет», означавший отсрочку в депортации. «Подержи минуточку, я сейчас вернусь». Ампула отравы — в рот. На другой день она еще жила. «Ты считаешь (Эделман — журналистке), что мы должны были ее спасти?» «А что стало с дочерью?» («Нет, ты мне раньше ответь: должны ли мы были ее спасти?») Дочь, вызволенная в тот момент матерью, в свою очередь была убита, но обрела несколько месяцев счастья. «Первая возможность жить в гетто — быть с кем-то. Соединяясь в постели, в погребе — не важно, где».

Первая возможность — она же последняя! Быть с кем-то — что доступнее и что недостижимее? Не отдельный вопрос, а он внутри ежечасных, всех без исключения. Можно километрами строк перечислять взлеты и падения столетия, которое началось позже своей календарной отметки и досрочно заканчивается на наших глазах, но никакие реестры не дадут сводного, разъясняющего результата, если не встретятся там главные лица, действующие и в бездействии, главные из говорящих немых — Жизнь и Смерть.

Исповедь Марека Эделмана дышит тем же безумием смысла, тем же животворящим абсурдом, что и шамаловская Кольма. Как именовать чувство, рождаемое прикосновением к этому светлому ужасу, не впадая ни в ложную сентиментальность, ни в неуместный пафос? Какие весы покажут, что перетянет завтра — возможности, утраченные в погибших, или дети, рожденные ТАМ и ТОГДА? Оборванный полет мысли или часы счастья, вырванные у «обыкновенного» небытия? Ответ — в неубываемости вопроса. В усилиях отстоять его от законного забвения.

... Это неправда, что мертвые воплощают косность. Это неправда, что смерть — наперекор жизни. Подобно тому, как сверх перемен, вносимых историей, есть история и у самой Истории, также движется по кругам восхождения человека и особенная, истории принадлежащая смерть. Мертвые в этом движении — предки не только по метрике и даже не в силу одного лишь предания. Они еще и вызов, настаивающий на переименовании Начала. Но не истощился ли на склоне нашего века этот вызов? В самом ли деле современный человек жаждет сызнова начаться, готовый принести ради этого жертвы — достатком, который в людях, и самими людьми? И о цене ли нынешний спор, либо он уже за пределами «цены», отклоняя загодя любой размер ее, размер как таковой?..

Ответствует смерть, порвавшая с убийством и вставшая на сторону гонимых и травимых, жертв насильственного всеединства, изгоев разбегающегося Мира. Вот где катарсис XX века — не очищение даже, а причащение: родство связанностью и разделительностью. Путь, который люди совершают сообща, поскольку каждый избирает его врозь. Бесконечностью «быть с кем-то». Навсегда отказываясь от мании превосходства и не в последнюю, если не в первую очередь — от избранности в страдании.

И оттого гетто, восставшее в столице поверженной Польши, столь же не одиночно, как не еврейский только Холокост.

Кто-то все-таки призван оставаться у ворот.

1993

ENDLÖSUNG: ДОМАШНИЙ ПРОЕКТ

От расправы с ЕАК — к «Делу врачей»

I

Судьба Еврейского антифашистского комитета — еще не прочитанная страница истории. В прологе — потемки. В конце лета 1941 г. из советской тюрьмы были выпущены видные деятели польского Бунда и II Интернационала Генрих Эрлих и Виктор Альтер. Они занялись разработкой проекта создания Еврейского антигитлеровского комитета, который призван был объединить усилия евреев разных стран, прежде всего СССР и США. Спустя короткое время зачинателей Комитета арестовали вновь. Эрлих покончил с собой в куйбышевской тюрьме в мае 1942-го, а Альтера расстреляли там же в феврале 1943-го — спустя две недели после того, как, отвечая на запросы союзных держав, Народный комиссариат иностранных дел известил, что Эрлих и Альтер будто бы еще в декабре 1941 были казнены «за измену Родине».

Есть достаточно оснований полагать, что советское руководство (документирована роль Берия и Молотова, за которыми, безусловно, стоял Сталин) не захотело иметь дело с людьми независимой политической ориентации и опасалось, что проектируемый ими международный Комитет выйдет из под контроля соответствующих служб. Однако сама идея Комитета была слишком заманчивой, чтобы перечеркнуть ее вовсе. Давление военных обстоятельств заставляло

Сталина идти навстречу тому, что было противно его натуре. Так на пересечении коридоров власти и патриотического порыва советских евреев возник «Еврейский антифашистский комитет» в СССР. В феврале 1942-го его возглавил великий артист Соломон Михоэлс.

Внутри страны Комитет действовал словом призыва. Он издавал газету на идиш, с самого начала приступил к сбору материалов о нацистском геноциде. Нити связей ЕАК протянулись чуть не во все углы Мира: от Южной Африки до Ирана, от Австралии до Палестины. Правда об уничтожении евреев, об акциях антифашистского сопротивления будила сердца, оказывала воздействие на политику союзных стран. Поездки С. Михоэлса и И. Фефера в США и в Англию принесли миллионные пожертвования в фонд сражающейся России.

Конец войны — критический рубеж для ЕАК.

Документы проливают свет на предудничтожительные зигзаги в действиях инстанций и лиц. В 1946 ЕАК был подчинен Отделу внешней политики ЦК ВКП/б/. Разыгрывалась палестинская карта. Дальнейший график диктовался напором «холодной войны». Космополитизм или то, что стали именовать так, был объявлен вне закона. Всякое сочувствие национально-государственному становлению Израиля рассматривалось как крамола. ЕАК был уже не только неудобен. Уязвимость его позиции делала его мишенью сталинского терроризма. К внешним моментам прибавились внутренние. Попытки ЕАК взять в свои руки обустройство евреев, возвращающихся на пепелища, использовались Сталиным как повод к решительным действиям. В одном ряду — убийство С. Михоэлса агентами госбезопасности в 1948 г., закрытие органов печати ЕАК, арест его членов в ноябре 1948-го. Следствие длилось 3,5 года. Муки страдальцев неисчислимы. Никому не поставишь в вину признания, вырванные пыткой. Но справедливость требует отметить мужество на суде 74-летнего Соломона Лозовского и главного врача Боткинской больницы Бориса Шимелиовича, так и не признавшего себя виновным. 18 июля 1952 г. Военная коллегия Верховного суда СССР вынесла смертный приговор бывшему заместителю

Начальника Совинформбюро и заместителю Министра иностранных дел СССР Соломону Лозовскому, писателям и поэтам Льву Квитко, Перецу Маркишу, Давиду Бергельсону, Давиду Гофштейну, Ицику Феферу, актеру Вениамину Зускину, Борису Шимелиовичу, сотрудникам Совинформбюро и ЕАК И.С. Юзефовичу, Л.Я. Тальми, Э.И. Теумин, И.С. Ватенбергу, Ч.С. Ватенберг-Островской. Известный ученый академик Лина Штерн была приговорена к длительному заключению и ссылке. Соломон Брегман, заместитель министра Госконтроля России, умер в ходе суда. Свыше 100 человек, причастных к деятельности ЕАК, были осуждены ранее, в том числе десять из них — расстреляны.

Считанные месяцы оставались до «Дела врачей», представлявшегося Сталину сигналом к всеобщей развязке, которая, затронув евреев, рикошетом отозвалась бы на судьбах всех остальных. *

II

Слово о Еврейском антифашистском комитете

Сорок лет минуло со дня расстрела в Москве руководителей Еврейского антифашистского комитета. Событие это давно уже в списке оглашенных злодеяний Сталина и сталинской системы. Но мне кажется, его значение не вполне понято.

Кто оспорит, что это была антисемитская акция, что ее замысел (смысл?) состоял в том, чтобы воспрепятствовать консолидации людей, кому победа над нацизмом сберегла жизнь, человеческое достоинство и веру в будущее. Теперь по проекту главного сценариста предстояло отнять у них это достояние, двигаясь в обратном порядке, лишивши надежды и достоинства, добраться до жизни. Впрочем, тут нет ничего оригинального. Ведь именно эта последовательность была заложена в технологию гитлеровского «окончательного ре-

* Написано при участии И.А. Альтмана

шения». Прежде чем умерщвить — расчеловечить, изолировать от всех, кто *не-еврей*, расчленив изнутри с помощью обманных привилегий в сроках, отделяющих человека от предрешенной развязки, и поддерживая в нем инстинктивное недоверие к самой возможности панубийства — поголовного и немотивированного ничем, что хотя бы отдаленно напоминало обычные помыслы человека, пусть даже низменные.

Сталин шаг за шагом, натурой и биографией шел к своему «окончательному решению». Разве контуры панубийства не проступают в хронике «сплошной коллективизации», в приборах кровавой чистки, достигающей своей кульминации незадолго до военного и политического союза с Гитлером? 1940-й, если взглянуть в него более пристально, предвещает и 48-й, и 52-й.

Война отодвинула зреющий замысел. Роковую власть Сталина над судьбами, если и не отменил, то существенно потеснил человек среди людей. Теркиным мог быть и солдат, и полководец. И Георгий Жуков, и Яков Крейзер с его знаменитой дивизией, в летние страшные дни 1941-го задержавшей немцев, рвавшихся к Москве... Однако остережемся от упрощений. Великая спайка патриотического порыва и антифашистской убежденности не была самоочевидным тождеством. Чтобы удержаться, она нуждалась в развитии, достигающим самого предмета этого временного пространственного двуединства. Дальше — куда? Чем стать?

Люди моего поколения шли навстречу этим вопросам, еще не ведая ответа или держась привычного, прежнего. Горько признать: Сталин опередил нас. Страх стать ненужным, как только человеческая повседневность вступит в свои естественные права, бередил властителя призраками убийств. След катастроф 1941, 42-го годов впечатался в сталинскую мизантропию позывом ненависти к жертвам, будь то выживший пленный, женщина или ребенок, обретшие конец в одном из Бабьих Яров... Удастся ли вывести родословную «холодной войны» только из взаимной несовместимости геополитик, из атавистических слабостей Ялты, из первого атомного гриба? Слова, прозвучавшие в Фултоне 5 марта 1946 года, что

говорить, не дышали миролюбием. Английский тори оставался верным себе, но его речь спустя без малого полвека обращает на себя внимание даже не пронизательностью, а скрытой растерянностью. Скорее симптом она, чем программа, — симптом неготовности Мира стать другим и в этом другом качестве пересилить миродержавный изоляционизм, это жуткое порождение Сталина, — рвущийся на простор перевертыш тяги землян заново породниться.

Я позволил себе напомнить о явных и потаенных приметах конца 1940-х начала 50-х, поскольку вне этого контекста не уразуметь гибель Еврейского антифашистского комитета. Он был обречен и *как еврейский*, и *как антифашистский*. Еврейским он мог остаться, лишь оставаясь, по сути, антифашистским. Чтобы остаться антифашистским, он призван был оспорить не просто частность отношения к себе, а принцип тотального раскола людей и народов.

Исследователь не обойдет вниманием трудности самоопределения, какие встали перед деятелями комитета, сыгравшего столь значительную роль во время второй мировой войны, после ее окончания.

Нет ни малейшего сомнения в авторстве «постановления политбюро ЦК ВКП/б/», датированного 20 ноября 1948 года. Здесь все сталинское. И обвинение в шпионском умысле («регулярно поставляет антисоветскую информацию органам иностранной разведки»), и стилистика прекращения («органы печати этого комитета закрыть, дела комитета забрать»), и даже рассчитанная на неожиданность концовка: «Пока никого не арестовывать». Что это — мимолетная жалость? Тактическое ухищрение, сообразующееся с коллизией «берлинского кризиса» и неоставленными планами на новое сближение со Штатами в противовес той же Англии? Многие нам еще скажут архивы.

Многое, но не все. В подземелья сталинского бездушия не войти с фонарем. Постигающая мысль обрекает себя на жизнь во мраке. Так различимее календарь отечественного «окончательного решения».

Расправа над Еврейским антифашистским комитетом — середина, перевал. Судилище не было, конечно же,

судом в общепринятом смысле. Но оно не было и фарсом. Этому помешали жертвы. Не стану входить в подробности. Беглость противопоказана драме отчаяния и непризнания. Память уравнивает, не забывая никого в отдельности. Имена семидесятилетнего Соломона Лозовского и боткинского доктора Бориса Шимелиовича заслуживают быть поставленными рядом с Мартемьяном Рютиным, Александром Шляпниковым, Николаем Крестинским. Им, как и их товарищам по судьбе, место во вселенском ряду тех, кто воспрепятствовал своею смертью дьявольскому замыслу «превращения человека в труп» еще до того, как пуля оборвет его жизнь.

Вот почему день сегодняшний — день не только печали, но и торжества человеческого духа.

III

Поразительна череда дат, круглых дат и юбилеев — скорби. 1903-й — Кишиневский, который ввел в жизненный-жителейский обиход России слово ПОГРОМ; 1913-й — дело Бейлиса, кровное французской дрейфусиаде, с отечественными режиссерами спектакля, но и со своими, российскими же, Золя.

Еще две даты — две вехи: 23-й и 33-й. Этапы движения к власти политического честолюбца и расчетливого фанатика, в голове которого химера тысячелетнего царства соединилась намертво с замыслом поголовного уничтожения евреев и этнической чистки всего подвластного ему населения земного шара.

Затем — год 43-й; пик нацистского геноцида и явственные приметы превращения антисемитизма в государственную политику Кремля, но вместе с тем и год, символически соединивший в двуединство отчаяние и мужество, имя которому — восстание в Варшавском гетто.

И вот мы с вами уже в преддверии 53-го года — чудовищного, освободительного.

Года порогового. Передо мною, закрывши ли глаза или открыв их, встают люди того времени. Я вижу их, многих из которых уже нет. Я слышу слова, которые тогда звучали, и хочу сказать: скольких нет, мало живых свидетелей того времени, но напоминают о нем слова, страшно близкие, до жути похожие на те, что слышались в прежние роковые даты. И когда на съезде народных депутатов раздается кликушеский крик «Вон в США, в Израиль или хотя бы на Канарские острова!», трудно понять, в 93-м ли я году или в том 53-м, когда расколосось наше поколение, когда померкло что-то в нашем сознании, стало трудно дышать, когда мы еще мало понимали, оставаясь втянутыми в ту страшную оргию, что готовило всем «Дело врачей».

В нашу общую дверь тогда стучалась смерть. Что дверь была общей, вовсе не только к евреям вела, — это было понятно и раньше. Но только сейчас — документировано. Теперь об этом могут сказать и скажут сегодня исследователи.

Замысел состоял в том, чтобы довести взаимное отторжение, взаимную неприязнь людей до такого градуса, когда станет возможным направить самую темную стихию против любого, против всякой человеческой души, отечественной или закордонной. Мы часто говорим: многое объяснялось атмосферой холодной войны. Это и так, и не совсем. Холодная война не была самотеком. Холодная война не была одним лишь результатом великого открытия ученых, прорыва в овладении ядром, доставшегося властям, откупивших, выкупивших у мозга это открытие. Холодная война росла не только из противостояния идеологий, она не только была инерцией, подновленной страшным термоядерным грибом. Она строилась по умыслу, она замышлялась, она вводилась, она испытывалась — проба за пробой — на то, чтобы стать всеобщей, перемахивающей всякие границы и втягивающей человечество в страшную прорву взаимного уничтожения, коллективного самоубийства.

Не случайно наш домашний удар направлялся против спасителей в белых халатах. Если допустить на момент, что можно поверить в сговор врачей, преследующих сознатель-

ную цель уничтожения людей, это означает, что доступно поверить во все, что угодно, как и то, что человеку можно внушить любое, поведя за собой на всякое злодеяние.

Но смерть вмещалась в этот замысел. Она внесла свой корректив, устранив главного сценариста и режиссера.

Мы знаем, что прекращение «Дела врачей» не было сотворено абсолютно чистыми руками. Мы знаем, что это осуществлялось в коридорах власти, где шла борьба за эту самую власть. И тем не менее мы можем спросить себя: решился ли бы кто-нибудь из наследников Сталина завершить, довести до конца задуманное им? Нет. И не по недостатку характера, не по избытку справедливости. Что-то надломилось в глубинах, что-то переменялось в ходе человеческих вещей. Что-то, о чем следует думать сегодня. Сказать, что именно переменялось, назвать сегодня относительно легче, чем было тогда, но по-прежнему нелегко. Мы не всё понимаем, мы не всё знаем в такой степени, чтобы принять это знание на собственный счет, сделать из него выводы для себя.

Говоря откровенно, я не жалею иностранное слово «менталитет», но его бывает трудно заменить чем-либо другим. Характер? Нрав? Привычки поведения? Все — рядом и не совсем то. Мне ближе толкование, согласно которому менталитет — характерный способ принятия человеком решения относительно самого себя. Таких решений, которые в принципе, в пределе соотносимы со всеми людьми на свете. Я думаю, что тогда, в 53-м, а с тех пор 40 лет, мы ищем этот способ принятия решений относительно самих себя. Ищем мучительно, не находя удовлетворяющего, срываясь, уходя от этого, не научившись еще сопоставлять, соотносить его со страданиями и опытом многих, в том числе и других народов. И только потому, что мы этому не научились (как и в силу ряда других причин, какие выходят нынче из глубин наружу), мы сталкиваемся сегодня с такой в сущности чудовищной и вместе с тем по человечески понятной при всей своей жуткости фигурой, как СУВЕРЕННЫЙ УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ. Он — «защитник» нации, обреченный убивать, насиловать, скаль-

пировать, идти вперед к успеху военному по трупам женщин, детей и стариков.

Сказать себе: пора остановиться! — уже недостаточно. Сказать себе, что 53-й не повторится в 93-м — мало тоже. Это не та мера ответственности, которая требуется сегодня. Ныне необходимо иное — зачислить себя в прошлое. Сегодня требуется превратиться в наследников всех. Всех! В том числе и злодеев. Иначе не избыть злодейства, первые шаги которого не устрашают и кажутся даже оправданными великими помыслами, устремлениями, в которых будущее в любом случае видится превосходящим прошлое. Переиначенная память усыпляет совесть, неподвижная память сковывает действующего, а стало быть, и заблуждающегося и даже ошибающегося человека.

Сцилла и Харибда? Проплыть ли в одиночку? Одиссей был и пловцом, и кормчим. И боги оберегали его. Но затем все роли разделились. Пловцы становились пленниками *кормчих*, тех же нередко взмывало на Олимп. Тогда к свежему попутному ветру истории примешивался кладбищенский глэн. События, о которых мы говорим сегодня, молят остановить бесконечность дьявольской карусели. Там, где соблазн окончательно разувериться в человеке, там же зов довериться ему, человеку, каков он есть.

Если мы это сумеем, нас не помянут горьким словом потомки. Если мы этому научимся, живые мертвые скажут, что они ушли из жизни не зря...

1993

«ЧЕРНАЯ КНИГА» – СПУСТЯ ПОЛВЕКА

[Слово на презентации «Черной книги» в сентябре 1994

I

То, что происходит сейчас в этом мемориальном здании не умещается в привычные рамки встречи книги с ее первыми читателями.

«Черная книга», которая перед вами, могла выйти и быть прочитана без малого столетия назад. Ее не пустили. Ее убили.

Но она воскресла.

Она, эта летопись человеческих мук, отнюдь не исчерпывает собою все, что вынесли люди и народы в годы нацистской тирании, в кровавых превращениях второй мировой войны. Но то, о чем на страницах книги свидетельствуют очевидцы, — концентрат зла, глумления, расистского неистовства. И неустрашимый обиход расчеловечивающих мифов, идеологизированных преданий, посредством которых фашизм пытался принести прошлое всех на Земле в жертву грядущему, узурпированному немногими «чистопородными».

Книга эта вдвойне и даже втройне трагична. Трагично то, что запечатлели ее создатели. Трагична и ее собственная судьба. Трагична участь многих из тех, кто стоял у истоков, у изголовья ее. Запрет «Черной книги» — звено в цепи, у которой продолжением — ликвидация Еврейского антифа-

шистского комитета, убийство великого Соломона Михоэлса, расстрельный финал процесса 1952 года.

Мы знаем теперь все или почти все факты. Но нам еще предстоит осмыслить их, соотнося с веками позади и с последующими десятилетиями — вплоть до сегодняшнего дня.

Всемирного дня и отечественного. Их вместе. Их нераздельно.

Мы спрашиваем: почему все то, что связано с этой книгой, как и со многим другим, родственным ей, — отчего такое оказалось возможным? То есть тем, что люди допустили, чему люди оказались неспособными воспрепятствовать?

Мы спрашиваем прежде всего самих себя. Мы уже не имеем права переадресовывать вопросы кому-либо на свете.

И память павших, память о праведниках, спасавших тех, кому уготована была страшная кончина, зовет к пониманию и действию. К действию, в основе которого понимание.

К солидарности спрашивающих и ищущих ответа. Эта память взывает к нам: не опоздайте вновь! И не отталкивайте тех, кто заблуждается, за кем охотятся нынешние ловцы человеческих душ, человеческих слабостей и предрассудков.

Заканчивая свое краткое слово, я не могу не назвать два имени, без которых этой книги бы не было — Ильи Григорьевича Эренбурга и Василия Семеновича Гроссмана.

Я считаю в высокой степени символичным, что полное, текстологически выверенное издание «Черной книги» осуществлено в независимой и дружеской Литве при содействии американского гражданина родом из России.

Ибо и в горе, и в избывании горя, озираясь назад и вглядываясь в предстоящее, мы все — вместе, мы все — люди.

II

Мертвые сраму не имут. Сплошь? Все? И палачи, и их жертвы? Подвигнутые к убийству обманом и их совратители?

Путающие возмездие с мстью и насильники по расчету и вдохновению?

Будто не вопросы. Будто самоочевидность в ответах. Но это не так. Признаем — и не ради стороннего всепрощенчества. А во имя кровного, неотделимого от нас.

Днями назад прощались с войною, у которой безличное «цифровое» имя — вторая мировая. На самом же деле — единственная. Подобия ей не было. Повтора быть не может, поскольку тогда не останется жизни на Земле.

На проводах войск, убивших полностью или частично, незримо присутствовали павшие. И хладнокровно загубленные, про кого мало сказать — жертвы. Приметили ли их, когда гремели оркестры и обменивались поцелуями те, кто факсимиле держав?

Международное право знает «преступления против человечности». Им нет срока давности. А преступления против памяти — также в их числе?

У меня в руках «Черная книга» (Вильнюс, 1993). С позаголовком: о злодейском повсеместном убийстве евреев немецко-фашистскими захватчиками во временно оккупированных районах Советского Союза и в лагерях Польши. Это — не воспоминания задним числом. Это — первые свидетельства чудом уцелевших. Опаленные мукою, запрещающей долгословие. И это труд людей, давших присягу памяти. Обет сохранить ее, не изымая того, что не менее страшно, чем поголовное умерщвление; ибо не мог осуществиться замысел фюрера (кого ж еще?!) без исполнителей, без пособников. И без равнодушных, какие не на одно лицо.

Не на одно лицо, иначе как было бы просто жить. Тогда. Теперь.

От Мюнхена (1938), какой в учебниках истории, — к тысячам мюнхенов в городах и местечках. И от пакта (1939), где в Риббентропе Гитлер, а в Молотове Сталин, — к Освенциму. Спрашиваем себя по сей день: задан ли был этот маршрут и этот график или могли быть оборваны, пресечены, если бы...

Демократия запаздывала. Бойцы завтрашнего Сопrotивления не верили еще, что в силах сами, без санкции правителей, вступить в спор с историей. Обыкновенно совестливые еще не ведали, что призваны спасти травимых «jude». Великое слово — *доверие* — оставалось безадресным либо его удалось похитить персонажам с поддельными паспортами «патриотов».

Я из поколения заблудившихся и уплативших тяжкую цену за позднее прозрение. Мои друзья пали, сражаясь со свастикой. Без этого для них понятие родины не существовало. Говоря так, я отдаю себе отчет, что войну выиграли люди, призванные повестками военкоматов. Мы тогда, но не навсегда стали вместе с ними единым целым: н а р о д о м.

И Сталин неспроста подозревал в нас потомков «детей 1812 года». Паранойя абсолютной власти нуждалась в беспрецедентном расколе и равнодушии разделенных смертью. Почему я говорю об этом сейчас, держа в руках «Черную книгу»? Да потому, что еще не изучена коллизия сталинского «окончательного решения», застрявшего на пороге. Но на пороге, где не одни слова, но и трупы.

От одиночных убийств к гибельной депортации — замьшлено было не только против евреев. Против всех, кто просто — люди. И против всего, что просто — ЧЕЛОВЕК.

«Черная книга» Ильи Эренбурга и Василия Гроссмана теперь — спустя полвека — с нами. Случайно ли ею избран год 1994-й, чтобы явиться заново в Россию — не урезанною, с зарубками израненной памяти?

...В этом потрясающем своими переменами Мире кто, даже отвергая прямую реставрацию свастики, предъявляющей вселенскую заявку, решится исключить опасность катастрофы, прекращающей человека внутри самого себя?

Мне следует добавить к этому признание: Холокост для таких, как я, это еще и биография. В какой-то страшный миг Мир сжался в последние дни, часы и минуты моей мамы и брата, чтобы затем снова раздвинуться, дойдя до крайнего края.

А что там — за ним? Пропать? Либо новый виток вочеловечения человека?

Я знал, что случилось. Знал, но не спрашивал. Быть может, смутно догадываясь, что вопрос этот раньше или позже взломает биографию, требуя переменить не взгляд на жизнь, а саму жизнь. «Раньше или позже» могло быть только личным. Самоисповедью, близкой к самопросу. Кто ж без вопиющей надобности решится на это?..

«Кто я есть?» Нет, не так я спрашивал. И если в конечном счете так, то, преодолевая не один соблазн остановиться на полпути. Ведь я из того несостоявшегося, загубленного поколения, которое годами отучали задавать **ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТА**, те самые, которыми только и дано породниться с другими, — также спрашивающими.

ЧЕЛОВЕК ЗА ЧЕЛОВЕКА ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА

Вы думаете, ТО НЕМОЕ, что пережил человек во время второй мировой войны, – не было режиссером ренессанса европейской демократии?

Можно ли считать, что эта ПАМЯТЬ не соучаствовала в изживании «холодной войны»?

Разве Холокост не был рядом с Андреем Сахаровым, когда он поднялся ОДИН -- под улюлюканье, защищая афганский народ и собственных граждан об бесчестья войны-геноцида!?

Это все – продолженный, умноженный троекратно, тысячекратно возведенный в степень

ХОЛОКОСТ-ПАМЯТЬ,

ХОЛОКОСТ-УРОК,

ХОЛОКОСТ-ЗАРУБКА НА ВЕКА.

... Друг мой, давно неживой, неизвестно где захороненный друг, повстречайся мы, с чего бы начали — после долгого мужского объятия и недолгих слез?

Ты бы выпрашивал: как мы и что мы, а я б в ответ — тебе о тебе. О нас, здешних, сложно, можешь и не понять, да и стыдно. О тебе не стыдно, и не о том ведь речь, что было жизнь тому назад, а о том, что будет... из того, что было. Как познакомились в 36-м, как шли по Горького, и ты, рядом, своей милой припрыжкой. Помню угол и помню поразивший меня вопрос: «Как правильной — подавать нищему или нет?» Ты видел настоящую нищету — раньше, в голодные Тридцатые в Иванове, и теперь, на Шепелюгинской (что в двух шагах от шоссе Энтузиастов), в развалюхе, куда выписал маму, где спасал соседскую девочку от дебошей, от непросыхающего мата, от оскорбительной бедности. Зачем же спрашивал? Хотел быть правильным — не напоказ, не для собрания, не для карьеры; ты и карьера — смешно подумать, и, знаешь, настолько смешно, что я даже представить не могу тебя на службе, а ведь у нас нег занятий, какие н е с л у ж б а, где не служат...

Ты был веселым и даже беззаботным, и только самые близкие могли догадаться, какие кошки с детства скребли твою душу. Мы говорили и о себе, и обо всем на свете, но многое я узнал лишь после: из старых писем, из дневниковых записей по случаю... Прекрасный, когда был слегка навеселе, когда ты уходил из-под власти неверия в себя и в свой особый талант быть человеком, талант не ко времени, если он вообще бывает ко времени, — кого ты напоминаешь сегодня, в день нашей встречи? Без всякой натяжки, без малейшего намека на нимб и даже с этой дурацкой песенкой, которую я ненавидел («У меня есть тоже патефончик»), ну кто же ты, как не булгаковский Иешуа —

недоступно слабый, необъяснимо сильный. Готов поклясться: ближе нет к этому, чем ты...

Не сердись, мы просто долго не виделись, и ты многого, к счастью, не знаешь из жизни «добрых людей»: что с ними делали, что с ними случилось...

Давай лучше вспомним, как расстались в 1941-м, на рассвете 14 октября, за несколько минут до того, как немцы начали бомбить Малоярославец, прежде чем войти в него. Я боялся думать, что тебя нет. А когда — спустя год — в госпитале меня догнала твоя похоронка, я сразу понял, еще не открывши, и сразу поверил. Мы же привыкли потешаться над тобою — в студенческой бане, когда ты снимал диоптрии и ничегошеньки не видел вокруг. Изрядно же ты надоел райвоенкому весной 42-го, пока не угодил в автоматчики. «Ваш товарищ Валентин Вайсман пал смертью храбрых с оружием в руках». Тот лейтенант не был стилистом, но он прибавил — сверх привычной формулы: «Вы можете гордиться своим товарищем». Они и сегодня, эти слова, — как упрек... Я любил его, я привык к его верности, но гордиться стал позже. Я опоздал. Я обделил его этим при жизни. Впрочем, не все ли мы, тогдашние, отучились либо вовсе не выучились — гордиться?

«Сохраню ль к судьбе презренье, понесу ль навстречу ей непреклонность и терпенье гордой юности моей?»

Знаешь, я часто думаю: была ли наша юность гордой? Непреклонной — да. Терпеливой — да. Но гордой?! А может, это удел немногих? Может, с этого и начинается классика? Может, без этого не было б ее, а без нее и не-гордых нас?.. Тогда, в 41-м, когда топали от Десны, ты все спрашивал дорогу, а я сердился (и поплатился за это). Меня, вероятно, одолевала дурацкая уверенность, что все неудачи (наши!!) временны, как же иначе, и потому надо держать голову выше, поверх голодухи и вшей. Но когда за Калугой мы увидели первый наш ястребок, слезы были на твоих глазах.

Не подумай, что, вспоминая тебя — вслух, — я хочу тобою что-то кому-то доказать. Я знаю, ты был бы против, ты просто возмутился бы. Так зачем же — о тебе сегодня, здесь?

Изволь. Я хочу тобою спастись от мрачной метафизики, от слов-призраков. Давай, как некогда, пустимся в бесконечное плаванье общежитейского разговора. Давай обсудим: вероятно, раньше, чем всеобщий предок наш открыл жизнь, он открыл

смерть. А свободу (смысл, цель, воздух) человек открыл рабством. С каких-то древних времен рядом то и другое. Смертию смерть поправ — это ведь не только звучно. Это серьезно. Был Рим-Мир. Невыносимая жизнь, жизнь-рабство, которой вызовом смерть-жизнь: единственный свободный — тот, на Голгофе. ...Образ, знак, катакомбы, гибели в муках — и лишь затем уже втесненная вера. Она — и ереси. Ереси и инквизиция. Для учебников, по коим учились и учили, большего и не требовалось. А что еще — большее?

Ты не дожид до Победы, когда не только верилось, но и виделось: все на свете начинается сызнова. После Голгофы Двадцатого века снова — смертию смерть поправ... Не получилось. Не вышло. Жизнь стала совсем другой, а люди? Где они, где поправшие смертию-жизнью смерть-несвободу?

До жути открытый вопрос. И закрываемый — страхом, расчетом. И неведеньем, и цинизмом. Союзом их, сделкой их, их симбиозом. Что же в противовес? Ты молчишь. Ты подавлен, милый друг мой. Я отвечаю. Мой противовес — ты.

Самый родной из тех родных, с кем прожили пять истфаковских лет — на Моховой и Стромынке, под Ельней и Москвой; из тех, кто убежден был, что если и погибнет, то не зря... Самый родной из них, кого потомок, не злобствуя, а с состраданьем назовет — слепые. Про кого потомок, преклонив голову, скажет: чистые.

Слепые и чистые: первые ли, последние ли? Смею утверждать, что в летописи Гомо на самых достойных страницах — они. На самых достойных, но на самых ли понятных, способных быть понятыми в нашем веке — веке-последыше или веке-зачатии?

Да, вот еще: стал думать о тебе, и вдруг само собой выскочило нелепое, смешное. То ли в последний, то ли в предпоследний наш университетский год забавлялись тем, что писали на доске: «О себе скажи!» В адрес чванных, болтливых, скучных, да и просто в шутку. Страшное, что навязывалось, без расчета переделали в смешное — от себя. А теперь вроде в самый раз. Каждому — жалующемуся, ждущему манны небесной: о себе скажи!..

А что сказать — о себе? Что годы идут, не уменьшая метаний, сомнений? Что растут груды черновиков — и на любой строке — вопросительный знак? Что нет сил отречься от наших Воробьевых гор, которые даже клятвы не требовали, лишь звука

горна, лишь заветной строчки: «без России, без Латвий»? Отречься от Мира, равного человечеству, от человечества, какое не меньше, чем Мир, — нет сил отречься, даже когда догадываешься: не быть ему, единому, себе равному человечеству.

С каждым годом и днем — ближе оно и дальше. И в каждом ближе — дальше. От нас, здешних, так пошло. Нами «придуманно», мы сотворили это ближе-дальше. А может, только такому человечеству не быть, которое выучили назубок?.. «Теория не вексель, который можно в любой момент предъявить действительности ко взысканию». Недурно сказано, а? А кем, страшно вслух произнести, — в молодости нашей не было чудища страхолюдней, чем тот апостол мировой революции, которого ледорубом по черепу, чтоб навсегда умолк. Он ли оказался прав либо и он банкрот?

Ни «в одной стране» — ни во всех.

Одно одинаковое, одинаковостью единое — НИГДЕ. А разное, непохожее, неединое: то ли? То ли, о котором мечтали, ради которого гибли, мучили близких и истязали себя?

Туман, туман, а время не ждет, и твое собственное раньше другого. От времени не убежишь ведь. Или сегодня иначе, или сегодня наоборот: не убегая убегаем?!

1978-1979

ВСТРЕЧА 1991-ГО С 1941-М

И если гром великий грянет над сворой псов и палачей...

Коси, коса,
Пока роса.
Роса долой —
И мы домой.

I

Чем явилось то, давностью в полстолетия, 22 июня? Чем для России, чем для Германии? Чем для разнолико-единой планеты, именуемой Земля?

Одни уверенно давили гусеницами танков пограничные столбы, рвались вглубь, убивали, брали в плен. Другие в растерянности отступали, огрызались яростными и бессильными контратаками, на бегу учась убивать. Глумливое торжество — и отчаяние, гогот — и слезы: все, что отделило тогда человека от человека. Надолго. Думалось — навсегда.

Накануне же... «Немцы, — записывает в своем дневнике доктор Геббельс, — беззаботно гуляют под дождем».

Русский поэт (также в дневнике) — о том дне, вглядываясь уже в былое: «На выходе из города у самой дороги, на пыльной травке сидел старичок, как сидят мужики в санях — подогнув под себя ноги... Он уже расстелил платок на травке и расположил на нем хлеб, яйцо, две луковички и только что

откупоренную и для предосторожности приткнутую пробочкой четвертинку. Я поздоровался и пожелал ему приятного аппетита.

— Садись — поднесу, — спокойно предложил он, блеснув на меня светло-голубыми и чуть воспаленными глазами. Это «поднесу» было исполнено приветливости и достоинства. Старец смотрел на меня и ждал. Я вежливо отказался.

— Ну что ж, — так же спокойно согласился он, — смотри. — И великодушно позволяя мне еще и передумать, предостерегая от возможного раскаяния, еще раз повторил, кивком указывая на место напротив себя: — А то поднесу. А? Смотри...»

Спустя годы Александр Твардовский прибавит к этой записи: «И мне-таки жаль теперь..., что я отказался, как будто я тогда заодно отказался от многого-многого, что кажется теперь дорогим и невозвратимым».

А как прожили канун и самый тот день люди — старые и юные, кто верил, что «если гром великий грянет над сворой псов и палачей, для нас все так же солнце станет сиять огнем своих лучей»?..

Уже множились трупы, уже не раз отирал пот со лба человек, вышедший поутру с древней косой в руках, когда в полупустынной воскресной Москве мы с моим неразлучным другом торопились занять место в читальне университетской библиотеки. Завтра — последний госэкзамен. Напряжение спало, брали верх усталость вместе со счастливым и обманчивым чувством перемены «эпох» в нам принадлежащей жизни. Читальный зал был тесным, поэтому опоздавшие прибегали к нехитрому, но безотказному приему: громким шепотом они звали на улицу, к радиорупорам, столь часто извещавшим тогда об очередных триумфах сталинской внешней политики, о новых приращениях к советской земле. И на сей раз весть — от стола к столу. Мы не поддавались искушению, но когда нас осталось четверо, что-то екнуло в груди. Выбежали на залитую солнцем Манежную площадь, увидели толпу, скорее догадались, чем осознали — ВОЙНА.

Знакомый поставленный голос: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Узнай мы, что считанные часы назад тот же нарком иностранных дел сказал послу Германии: «Мы этого не заслужили», — не придали бы, скорее всего, значения этим словам, а то и не поверили бы.

Не потому, что были недоверчивы. Как раз наоборот: презумпцию доверия к тем, кто олицетворяет «Кремль», не могли поколебать ни внезапно исчезающие, ни безжалостные вторжения в судьбы тех, кого миновал ненасытный Лагерь. И не столь уж простодушные мы были. Не наивные, но пораженные особой глухослепотой. В нашем сознании «просто» не было клеточек, в которых могло угнездиться предположение, что союз с изначально проклятым режимом несет в себе большее, чем тактику, пусть ошибочную (об этом спорили до хрипоты, до разрыва отношений), но все же тактику, не дальше. Для таких, как мой покойный друг (годы рождения и гибели: 1919-1942), немецкое вторжение было, если угодно, *з а с л у ж е н н ы м*, хотя, само собой, не в смысле банальной вины. Оно, это «заслуженное», даже запаздывало. Наш антифашистский внутренний голос рвался наружу, «разумная действительность», отправным пунктом которой служил на этот раз августовский договор 1939 года, становилась все более мучительной, сопротивление вермахту со стороны одинокой Англии вызывало восхищение и воспринималось как загадка и как укор. Я еще опишу наши чувства и мысли порога войны. Здесь же отмечу лишь одну характерную черту. То, что надвигалось и разразилось 22 июня, мы заранее воспринимали вселенским событием — и своими масштабами, и, казалось, единственно возможным итогом: неумолимым возмездием и освобождением всех узников, всех гонимых, всех париев Закордонья.

В масштабах почти не ошиблись, несмотря на то, что природа их оказалась неизмеримо сложнее и неожиданней, чем подсказывал наш бело-черный интернационализм. Что же касается результатов, то в образ даже ближних из них жизнь внесла более суровые поправки. Кто мог хотя бы отдаленно представить число покинувших нас, не сказавши своего слова, как и число неродившихся, — в совокупности же генетические потери целых поколений, и поныне присутствующие в наших напастях? Кому виделся вычерк из истории российского крестьянина, еще не оправившегося к 22 июня от бед и утрат «сплошной коллективизации»? И если мыслилось в худшие дни, что нашествие и отпор по-новому сблизят нас дома (сверху донизу — «братья и сестры»), то лишь дурной сон способен был предсказать будущий раскол

победителей нацизма, когда Вождь напомнит им о привилегиях, ограничениях и унижениях, проистекающих из различия родословных.

Не тот Дом и не тот Мир. Стоит вспомнить, что уже на другой день и год после кровавого фиаско Гитлера прозвучали (с двух сторон) сигналы к «холодной войне», к противоборству, лишь внешне воспроизводящему традиционное «кто кого?», на деле же сближавшему помыслы и дружно, хотя и несогласно, перевертывавшему следствия в причины. Разумеется, не ответом была сталинская унификация «народных демократий», уграмбовка террором «социалистического лагеря», но только ли ответ — разлом единства в стане вчерашнего европейского Сопrotивления?.. А над неулегшимся океаном страданий и попранных надежд поднялся ядерный гриб, из доказательства новоявленного могущества математических уравнений сразу же превратившийся в главное орудие властного безвластия человека над человеком. Сумасшествие средств, казалось, обесмысливало любую цель, кроме тождества в «гарантированном взаимном уничтожении». Глядя из начала 1990-х в первое послевоенное десятилетие, не трудно понять бескорыстного Карла Ясперса (немецкого врача, душеведа, одного из крупнейших философов нашего века), который заявил во всеуслышание, что люди — перед лицом буквальной опасности совместно покончить с жизнью, притом, что опасность эта в двух ликах: атомной бомбы и утраты свободы; человечеству ничего не остается, как избрать одну из опасностей. Сам Ясперс отдавал предпочтение смерти от несвободы, угрозу которой связывал с Востоком. Жесткость ясперсовской альтернативы не могла не означать: теснимая свобода призвана по-новому стать сильной.

А в это же время человек другого поколения, другой профессии, но, полагаю, не другого склада нравственного ума, еще не известный миру Андрей Сахаров открыл самый короткий путь к созданию оружия, которое выравнило мировые шансы — «красных» с «не-красными». «Термоядерная реакция, этот таинственный источник энергии звезд и Солнца в их числе, источник жизни на Земле и возможная причина ее гибели, — уже была в моей власти, происходила на моем письменном столе!» — вспоминая, он как бы вновь проходит дорогой от стола к «объекту», от формулы к взрыву. И замечает:

«Мы видели себя в центре огромного дела, на которое направлены колоссальные средства, и видели, что это достается людям, стране очень дорогой ценой... В важности, в абсолютной жизненной необходимости нашего дела мы не могли сомневаться. И ничего отвлекающего — всё где-то далеко, за двумя рядами колючей проволоки, вне нашего мира».

Они ведь близки друг к другу, тот Ясперс и тогдашний Сахаров. Близки заблуждениями и близки истинностью побудительных мотивов, я бы рискнул сказать — заблуждениями истины. Ибо нет ее без блужданий, в которых она ищет и находит себя: ЛЮДЬМИ — В ЛЮДЯХ! Разве равновесие страха вне ее маршрута? Сомнения обращали Ясперса к его опыту недавно пережитого и к урокам тысячелетий. Мыслитель, который нашел разгадку (и утешение!) в особенном «осевом времени» (Axenzeit), связующем дух несхожих цивилизаций во всплеске вселенских подъемов, страстном и хрупком, — жаждал теперь вернуть в это русло современников, вернуть критикой, обеспокоенной судьбой человека, нелицеприятной к политике и к политикам. В 1966 году он выпустил нашумевшую книгу «Куда влечет Федеративную республику» («Wohin treibt die Bundesrepublik») — призыв защитить правовое общество от опасностей, гнездящихся внутри него самого, отстоять его посредством *легальной революции*. Слова, которыми завершается текст, заслуживают быть приведенными и сегодня: «В политической истории не господствует разумное начало... Весьма возможно, что все простое и последовательное правильно с фактической и логической точки зрения. Но до тех пор, пока приходится иметь дело с фанатизмом национального или идеологического толка, разумную политику можно проводить лишь в том случае, если принимаются во внимание и эти противоречащие разуму элементы». Что же — по Ясперсу — отсюда следует? «Возможно, все рухнет... Мыслящий должен принимать во внимание такую возможность, и тогда он поймет, что такое человек и чем он может быть». Итак, не бомба сама по себе, а та искра пробуждения и воспоминания, которую «антиразум» высекает в человеке, — путь к его спасению!

Сахарова же сомнения и тревоги, настаивавшие на переосмыслении бытия и утверждении — заново — ценности каждой жизни, охватили в тот самый год, когда воплотилась

в металл и огонь его триумфальная «третья идея». Экстаз испытания и трагизм его, ознаменованного несколькими гибелями. «Нами — мною во всяком случае — владела тогда уже целая гамма противоречивых чувств и, пожалуй, главным из них был страх, что высвобожденная сила может выйти из-под контроля... Сообщения о несчастных случаях, особенно о гибели девочки и солдата, усиливали это трагическое ощущение. Конкретно я не чувствовал себя виновным в этих страстях, но и избавиться полностью от сопричастности к ним не мог». Пройдет еще тринадцать лет и сопричастность прорвет позолоченную колючую проволоку и выскажет себя беспрецедентным взглядом на близость человека к человеку, на **Мир вновь породненных людей.**

Ныне строки, что выше, читаются уже как марсианская хроника. Не сегодня, так завтра, не позже, две суперядерные державы споловинят арсеналы «гарантированного уничтожения». Вот и «холодная война» перекочевала в арьергард, исчезли навсегда иные царства без монархов, рухнула в одночасье берлинская стена, поставив точку на незаконченном 1945-м. Ибо таково значение этой акции не только для Германии, заново и мирным способом обретшей единство, но, полагаю, в не меньшей мере — для советской Евразии, переживающей сейчас тяжкий кризис своих исторических оснований. При всем несходстве в переменах и там, и здесь, речь идет, по сути, о месте и роли в Мире, которого еще нет. В Мире Ясперса и Сахарова, архитектоника которого в огромной степени зависит от того, удастся ли людям и их сообществам вписать в нее исконные и вовсе свежие ПРОБЛЕМЫ МЕЖЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПРИТЯЖЕНИЙ И НЕ ОТМЕНЯЕМЫХ ДО КОНЦА ОТТАЛКИВАНИЙ.

Потому-то рассвет того давнего воскресенья видится теперь Началом. Да он и был таким, если (не минуя внешнего обвода событий, но и не задерживаясь там) попытаться достигнуть донного слоя с его прихотливым смешением повседневности и духа миллионов единиц людей — тревожно знаменитых и безвестных за пределами своей родни, притом, что именно последние в конечном счете и перевесили тогда чашу весов. Сначала в одну сторону, затем в другую.

Именно так. От этого не уйти: сначала в одну сторону и лишь затем — в другую.

И с той, и с другой стороны — человек. Приносящий в жертву смерти жизнь. Побеждающий жизнью смерть. Вернее: два человека в одном. Несовместимо-близкие там, где они — ДРУГ ПРОТИВ ДРУГА.

II

Кровоточащая память — нападение. Его вероломство. Его внезапность. Знак равенства? Хочется сказать: бесспорно. Однако остановимся и разберемся. Не обманывают ли слова?

На одном «диалекте» — военная хитрость и оперативное искусство, на другом — внезапность. На одном — постоянство изничтожительной цели, перемогающее «зиг-заг» дружбы, на другом — вероломство, попрание обязательств без повода и причины. На одном — «блицкриг», на другом — отступление во имя «контрнаступления», запланированного еще стратегической мудростью предков. На одном — высшая раса, на другом — Отечество. Нет, оставаясь в коротком промежутке времени, мы не выйдем из этой лексической неразберихи. Надо раздвинуть рамки и отступить назад. К 1939-му? Да. Но неясность и тут. Чем был «договор о ненападении» — роковым просчетом Гитлера, приведшим Германию менее чем через два года к войне на два фронта, или как раз залогом немецких побед и, — сохрани фюрер союз со Сталиным, так ли легко бы (и вообще удалось бы?) европейской демократии вернуть потерянное и возродить себя?.. А для Сталина этот договор чем явился? Открытым ли отступничеством от революции, от трех слитых силуэтов, что не уходили со знамен и прочей атрибутики, либо, напротив, — неизбежностью, продиктованной не только здравым расчетом (отодвинуть войну от своих границ), но и хорошо продуманным и лишь дурно использованным звеном в подготовке собственного похода на нацистский райх, сокрушающего выхода на Запад? А держась этого последнего замысла, как не предусмотреть было, что ему, Сталину, и тут не остаться в одиночестве, что им преданные демократии незамедлительно примкнут, ибо какие могут быть счеты, когда того и гляди, коричневая краска зальет весь свет (так оно ведь и получилось, сошлись вчерашние недруги...)?!

Впрочем, почему либо? Так ли уж далеки друг от друга отступничество, о котором выше, и трезвый державный расчет? Чтоб осуществился ОН, разве не следовало покончить с РЕВОЛЮЦИЕЙ — не на словах, а на деле, и внутри, и вовне? Разве не к этому же, и опять-таки на деле, в перспективе клонил левый антинацистский альянс, не к тому ли — уроки Испании, да и о каком, собственно, «неделимом Мире», о какой «коллективной безопасности» могла б идти речь, если продолжать, с искренней верой твердить — «кто был ничем, тот станет всем»?

В сентябре 1938-го, накануне Мюнхена Леон Блюм, лидер французских социалистов, напрямую спросил Литвинова: выступит ли Россия на стороне Франции и Англии, если те, следуя своим обязательствам, окажутся в войне с Германией? «Если я останусь наркомом иностранных дел, — да; но останусь ли я, это другой вопрос». Литвинов не остался. Можно усомниться, что, будучи не снятым, он сумел бы воспрепятствовать сближению Сталина с Гитлером (в немыслимо лучшем случае — уход в отставку, в неисключенном худшем — очередной процесс...). Литвиновский курс не был традиционным. Он, вправе мы сказать, таил в себе зародыши *альтернативы* — выхода за пределы взаимоисключенных «миров». Именно поэтому он и был неприемлем для нашего *себя* Сталина. Сталинский вычерк революции, по самой сути своей, должен был быть однозначным. Мало того: ИСТРЕБИТЕЛЬНЫМ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛЮБОЙ АЛЬТЕРНАТИВЕ.

Спустя полвека озноб от одной мысли, что не химера — и «вечный» мирораздельный союз Гитлера со Сталиным, и сталинское миродержавное нашествие, на свой лад стремящиеся поставить крест на исторической Европе. И если не состоялось ни то, ни другое — не состоялось в полном объеме, с необратимыми последствиями — то, может, следует нам, стоически взглянув на факты и не избывая скорби по павшим, возблагодарить судьбу за вероломство вторгшихся в наши бескрайние просторы?

Остается, правда, не занозой, а незатянувшейся раной — **внезапность**. Но для кого она была таковой? Для почти всех из нас — безусловно, не исключая, например, полководца Жукова. А для вершителя наших судеб? Внезапность внезап-

ности рознь, как доброкачественная опухоль смертоносному канцеру. «Мы этого не заслужили». Молотов был по-своему прав. Они со Сталиным не заслужили.

И тут подходим к самому трудному вопросу, который нельзя не задать, даже если ответ не дастся или обрушит на пытающегося ответить лавину упреков и клеймящих слов. Мы все, взятые чохом, мы — из той марсианской хроники, — МЫ и Сталин — ЕДИНА СУТЬ? А зеркальное подобие этому вопросу: они, немцы, и «их» Гитлер — СУТЬ ЕДИНА? Были ли одним целым и те, и другие, когда истребляли друг друга, вытаптывали поля, разрушали домашние очаги, насиловали женщин, вводили досрочную смерть в повседневность, в житейский обиход?

Нельзя не признать: немцы стали спрашивать себя раньше, чем мы. В оправдание: нам труднее. На нас напали, нас и наших близких убивали раньше, чем начали самостийно убивать мы, защищаясь и изгоняя убийц по призыванию и по неволе. В разгаре схватки как отделить вторых от первых? Исключено. Эту горькую правду войны люди моего поколения познали не сразу, многие не успели. Но, быть может, то, что тогда далось со скрежетом зубным, сейчас уже не к месту? Ибо покаяние, если оно не притворное, не знает мелочного разбора.

А нам есть в чем каяться.

И тем не менее вопрос не уходит и вряд ли уйдет с последним из ветеранов. Дабы ушел он, нужно изменить всеобщий угол зрения. Чтобы не только об убивающих шла речь, а еще о тех (и прежде всего о тех), кто не сдался духом. Пусть молча. И даже не непременно «умирая в одиночку». И даже не обязательно жертвуя собой по доброй воле и из чувства долга, как полковник Клаус Шенк фон-Штауффенберг. И даже не выговорив слова осуждения и проклятия, какие бывший партийный функционер Мартемьян Рютин бросил в лицо Сталину. Лишь сохраняясь надеждой, которая исключает восторженное подчинение себя замыслам душегуба. Какая статистика скажет, где было больше надеявшихся? Какому из двух душегубов они были опаснее?

Надежда — из непременных свойств человека. Если говорят «бездумная», то — не надежда. Ближе к сути — «безотчетная», даже «слепая». Противостоит же она не

отчаянью, а наглой спеси победителей, впрочем, и не победителей, поскольку победа — *Нике эллинов* — выпестована ПОРАЖЕНИЕМ, преодолением его — мыслью и поступком (поступком мысли и мыслью, обязывающей к поступку). Надежду не отлучить от страдания, хотя она и за пределами его. Ее конечный путь — **выбор**. Сначала личный. И лишь в меру его человек Начала, как и человек Конца, — личность; а мера эта изменчива, не раз и навсегда.

Нам еще предстоит по крохам, по обрывистым записям дневников, по не предназначенным истории письмам, по «несгоревшим» рукописям воссоздать мозаичный портрет нашей Надежды. (Потрясающие фрески околонувогородской Нередицы теребят душу с особенной силой, когда видишь в полуразрушенном войною здании остатки стенописи, покрывавшей веками всё — от купола до пола...) Когда эта трудная и для кого-то странная реставрация будет хотя бы вчерне исполнена, перед нами раскроется (не сомневаюсь в этом) *тайна глубиннейшего несовпадения со Сталиным многих из тех, кто поклонялся ему*. Но также ТАЙНА СЛАБОСТИ их. Мы лишь тогда поймем, почему размытое, раздерганное по судьбам сопротивление — сопротивление жизнью, теплом очага и дружбы, — не достигало той пороговой величины, при которой оно способно было бы обратить вспять давящую махину коллективного самоуничтожения.

Тема громадная. Мне приходилось писать об этом, но я ощущаю потребность возврата к ней вновь и вновь. Тут позволю себе лишь прикоснуться к этой краеугольной теме, выполняя долг перед павшими в бою сверстниками. Не погибни они, кто знает, осуществилось ли бы «запланированное» помрачение умов и душ на рубеже отечественных и всемирных Сороковых-Пятидесятых, исчерпался ли бы столь скоротечно порыв к свободе у наших Шестидесятых, замахнувшихся на жуткую сталинскую *презумпцию недоверия* (власти к человеку и человека к человеку) и оказавшихся не в силах переступить роковую черту? Ушедшие люди — потерянный шанс.

Вот он, имеющий имя и «лица необщее выражение», мой однокурсник Ян Пинус. Яном его звали родные и друзья, настоящее имя — Яков. Кто в Царицыне-Сталинграде не знал его отца, врачавателя малолетних? Мальчик рос среди любивших друг

друга и взыскательных друг к другу людей. Он не напоминал маменькиного сынка. Был прям, прост в общении, его «хобби» была дружба. Первый друг — сестра. У нее жил, при нем увезли на Лубянку мужа сестры. Старшая получила опору в младшем, днем работали и учились, ночи — в разговорах. (Отец их в тот же 37-й каждый вечер усаживался на пороге своего дома с сумкой в руках, где было самое необходимое для тюрьмы. Не хотел в случае чего беспокоить близких...) Пинусы выдюжили. Затем война, Ян в ополчении, образцовый командир артиллерийского расчета. В первые дни октября 1941-го брошенная под ноги немецкому прорыву дивизия рабочих и писателей, ученых и студентов перестала существовать. Взрывали орудия, отступали группами, на каждом шагу оставляя мертвых и пропавших без вести. Ян Пинус выжил, из окружения — снова в строй. Когда только удавалось, Ян писал всем однокурсникам, чьи адреса знал. Каждому сообщал об участии других, налаживал связи, бодрил. Он становился своего рода летописцем курса и все свойства его аналитического, взвешенного, ответственного ума теперь имели точкой приложения людей, входящих в историю... Автор первого у нас исследования герценовских «Голосов из России», вспоминал ли он в своей фронтовой жизни слова Искандера из предисловия к этому изданию: «Мы очень малы, но нас трудно застрашать категорией количества и величины; [...] Вселенная состоит из точек, из клеточек, а не из глыб, не из пустых пространств».

Считается, что в этом веке пишут, особенно письма, кратче чем в предыдущем, сдержаннее в изъяснении чувств; и вряд ли дело здесь в различии культур. Может быть, главная причина — человек XX-го немеет перед лицом страшного и, отворачивая голову от неизменно маячащей смерти, вспоминает самое простое, поскольку нормальная жизнь проста. Впрочем, письма Яна не нуждаются в извиняющих комментариях. Недостаток места разрешает привести лишь два из многих. Они адресованы сестре, которая, спасшись в разбомбленном Сталинграде, также ушла на фронт.

«Я пишу эту открытку, сидя у окна своей хаты, когда на дворе ветер рвет и мечет, а на душе лежит камень. Как будто приперли меня к стене — не повернуться, не выдохнуть — давит проклятая тяжесть. Тоска одолела... Знаю, что пройдут часы и рассеется туман тоски, пройдет боль щемящая,

нудная, как зубная, но где-то в глубине она будет тлеть, не угасая никогда совсем.

Много ли нужно человеку? И мало, и много. Вот сейчас хочется многого, о чем забываешь порой, затерянный в глуши, в суете. Аминь. Жив еще курилка.» Последние дни февраля 1944.

Спустя четыре месяца: «Завтра — три года войны. Канун трехлетия я встречаю на самой тихой за все три года передовой. В поле роскошно. Все цветет. Яркие маки, как первомайские знамена, нежные васильки — память о моем августовском «романе» с Шурочкой, скромные ромашки. Лес шумит. Поют птицы. Пусть это затишье перед бурей, но это и тема, как говорят музыканты, победы. Мои узбеки поют свои песни. Они рады взятию Выборга, рады горячему солнцу и концу работы, сделанной умело. Цветы украшают винтовки... Только разрушенный дом перед нами напоминает о недалеких злодеяниях. Представь, мы видим друг друга (в оптику), да и простым глазом видим их лес. Они видят нас и молчат. Зверь боится движений, боится тратить силы. Он напуган, но все еще надеется уйти от ответственности. Этому ему не позволят. Вот мои мысли накануне 22-го. Не так ли я думал в 41-м?»

И опять же: были тогда всесветные «точки» только теми, кто наступал, не давая «зверю» уйти от ответственности? Либо и в том, ближнем лесу, и дальше — тоже не «глыба», повинующаяся фюреру, страшаясь гестапо и эсэсовских блюстителей «нового порядка»? Ответ — рядом: 30 июля 1944-го. Не помыслами, не образом будущего сравнялись те именитые заговорщики-немцы с Яном Пинусом, а крюками с мясобоен, на которых их вешали за то, что попытались отвести катастрофу от своей Германии, спасти то, что еще можно было спасти. «Революция потных ног», — как назвал нацистское завладение властью Томас Манн, беспощадно расправилась с потомками аристократов и закулисными либеральными политиками. Гитлер брал реванш за свою предгильбель (об этом написано, это документировано).

А чем этот день был для Сталина?

Не знаем. Вероятно, не меньшим напастем, чем последние часы перед рассветом 22 июня. Торопил время — в ожидании чуда. Испытал облегчение, узнав о неудаче заговорщиков. И впрямь: если б удался замысел Штауффенберга — устранением Гитлера открыть путь к демократической и

действительно национальной Германии, если б оборвалась «мировая» в 44-м, что осталось бы в балансе Сталина? Не перетянули бы бессилие и унижения лета, осени 41-го, приведенная им же в наш дом катастрофа 42-го? Разве не ушла бы возможность, двигаясь на Запад, на Юг, добиться много бóльшего, чем дал ему сразу 39-й? Правда, дорога к триумфу теперь вся в трупах. Но тем паче — исключить утрату уже чуемой добычи! Но чем? Хватит ли на это дипломатии военных успехов и потерь, трещин в отношениях Рузвельта с Черчиллем? Или сработал уже покорный ему *случай* — на сей раз в виде сапога Кейтеля, нечаянно отодвинувшего полковничий портфель с бомбой от фюрера? А есть «случай» и весомее — единство партнеров-соперников по коалиции в том, что касалось безоговорочной капитуляции Германии... Легче догадаться — не на ЧТО, не на КОГО он надеялся, а кого заведомо не брал в расчет: безмерно страдающий собственный «тыл», а также умы и сердца разноплеменных миллионов, которых погибшие с оружием в руках освободили от трепета и пассивного выжидания гибельной развязки.

...История на время задержала агонию *ego* власти. Она все-таки наступила. Потом. Эта наше вчера. И наше с е г о д н я.

III

...Полдень сложу с рассветом,
а только вспомню о ночи,
и она прикоснется ко мне.
Попробую жить еще раз,
попробую знать и видеть, —
рукам я учился у света,
глазам научился — у тьмы.

Марцелиус Мартинайтис

Спор без конца — об авторах войны. И об авторах Победы, от которой отсчет всей самоновейшей истории. Если бы только их можно было разделить на две несмыкающиеся группы. Так нет, не выходит. Первой препоной — Сталин.

Рубеж внутри него: соавтор там, соавтор здесь. Чего же больше? В подсчетах как ни разодраться. А может, они и не нужны — подсчеты? Может, надобен еще шаг, шаг-вопрос: а предуготованы ли были и поражение, и победа, поражением взлелеянная? Иначе: война, которая «вторая мировая», неотвратима ли была или, не будь на свете Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, обошлось бы без великого кровопролития?

Знаю заранее возражения — о социальных интересах и подспудных силах, о монополиях там, «новом классе» здесь, о беспощадной логике истории, которая сделала необходимым «случайного» Гитлера в одном месте, «необязательно-го» Сталина в другом. Принимаю возражения и все же настаиваю на своем. Сопоставляю год 1939-й с 1914-м. И тогда «субъективный фактор» был задействован; из пролога той бойни не вычеркнешь ни Вильгельма II с Франц-Иосифом, ни Пуанкаре с Сазоновым, ни ажурную «подсказку» сэра Эдурда Грея. Но все-таки лица эти, хотя и не марионетки, и больше, чем суфлеры, не дотягивают до субъекта событий. Первая мировая война не могла не быть. Ее цели были хищническими, но на свой лад мотивированными. Другое дело — следствия ее. От них уже несет грядущим безумием. Великий британский историк Арнольд Тойнби полагал, что если уже в новое время (с его экспансией естественных наук) страх перед загробным миром стал, по крайней мере на Западе, вытесняться страхом перед смертью как таковой, то именно мистерии окопов и революций подстегнули этот процесс, придав ему систематичность и постоянство. Да и не просто смерть втеснилась в будни, а особенная — смерть-убийство, и не только страх перед ней, но и защита от этого страха... убийством же. Привычный попутчик жизни оборотился в ее главноуправляющего, подыскивая себе соответственных приказчиков. У этого движения от власти к массам и от масс к власти — был и свой ритм. Одинокое умерщвление, пробуждая аппетит и сноровку, скоро разрослось в глыбу: «глыбу» третьего райха, «глыбину» сталинского режима.

Не будем упрощать. Ни та, ни другая не были активно-всеобщими. Ни та, ни другая не могли выносить обыкновенной лояльности. И та, и другая питались чрезвычайными

ситуациями и создавали их — ради самосохранения и по инерции, действовавшей в старо-новых институтах и в людях. И та, и другая по причинам, завещанным историей, и в силу собственной природы не могли довольствоваться полученным от прямых предшественников. МИР КАК ПОПРИЩЕ НУЖЕН БЫЛ ИМ САМ ПО СЕБЕ. И «ОПРАВДАНИЕ» ЖЕРТВЫ НУЖНЫ БЫЛИ САМИ ПО СЕБЕ — СОРАЗМЕРНО ПОПРИЩУ. Как райх Гитлера, так и держава Сталина находились в состоянии перманентной идеологической напряженности, и этот тотальный сверх-идеологизм не мог быть скольконибудь разумно распределенным. Его «норма» — восхождение вверх, воплощение в одном! И чем больше это центр-Эго стягивает в себя человеческих существований (не будучи способно поглотить до конца всех!), тем больше потребность его в гарантиях своей исключительности. И тем регулярнее густо высеянный страх возвращается к Единственному, заполняя его и подталкивая к новым конвульсиям выравнивания смертью. Не самая ли это страшная из гримас нашего века — животный страх, командующий могуществом?

...Эпизод из поучительных. Встреча Гитлера с военной верхушкой 22 августа 1939 года. Избранные люди. Считанные дни до нападения на Польшу. Очередь за командой, за последним наставлением. Формальная акция? Ничуть. Нацистская Германия изготавилась к первой настоящей войне. Еще неизвестно, как поведут себя Англия и Франция — вступят в схватку тут же или предложат новый Мюнхен. Но это-то последнее фюрер стремится исключить напрочь. Ему нужна кровь — не меньше, если не больше, чем Lebensraum («жизненное пространство»), чем колонии в Европе. Фюрер: «Любое предложенное нам компромиссное решение потребовало бы от нас изменения нашего мировоззрения и жестов доброй воли». Никаких жестов, лишь «пропагандистский повод!» Геополитические выкладки, предложенные Гитлером, призваны убедить слушающих, что ждать от Запада энергичных действий не приходится. Все — на пользу глобальному решению. Главнее главного: «духовные факторы». «Каждый должен знать, что мы заведомо вступили в борьбу с западными державами. В борьбу не на жизнь, а на смерть». «Длительный период мира не пошел бы на пользу нам». «Мужественное поведение. Борются друг с другом не машины, а люди». «У

противника люди слабее». Под людьми понимаются, естественно, лишь те, кто управляет. Именно они — «ниже среднего уровня». Это — «никакие не личности. Не хозяйева [положения], не люди дела». «Жалкие черви».

Блефует ли Гитлер, скрывает ли истерическими выкриками собственную слабость, стремится ли подавить малейшее сомнение у своих генералов? Может, и то, и другое, и третье. Но вот он кладет на чашу весов соображения, перевешивающие все остальные. Прежде всего: «персональные обстоятельства». Он, дуче, Франко. «В значительной мере все зависит от меня, от моего существования, от моих политических способностей. Ведь это факт, что такого доверия всего немецкого народа, каким пользуюсь я, не приобрести никому. В будущем наверняка не найдется никого, кто имел бы больший авторитет, чем я... Однако я могу быть в любой момент устранен каким-нибудь преступником, каким-нибудь идиотом». И снова: «Сейчас момент благоприятнее, чем через 2-3 года. Покушение на меня или Муссолини могло бы изменить ситуацию не в нашу пользу».

Навстречу первому «персональному обстоятельству» второе, «духовный фактор» N 2. Россия и Сталин. Поскольку эта часть текста опущена в отечественных публикациях («Новая и новейшая история», 1969, N 5; В. Дашичев, «Банкротство стратегии германского фашизма». 1973, том 1), привожу ее без сокращений. «Я убежден, — воодушевлял фюрер верхушку рейхсвера, — что Сталин не согласится с английскими предложениями. Россия абсолютно не заинтересована в сохранении Польши. К тому же Сталин знает, что его режим идет к концу — в равной степени выйдут ли его солдаты победителями или будут разбиты в войне. Отставка Литвинова была решающим [моментом?]. Я постепенно перестроился по отношению к России. В связи с торговым договором мы перешли к политическим переговорам. Предложение пакта о ненападении. Потом пришло универсальное предложение от России. Четыре дня тому назад я сделал особый шаг, который привел к тому, что Россия вчера ответила, что готова к заключению [пакта]. Установлена личная связь со Сталиным. Риббентроп послезавтра заключит договор. Теперь Польша в таком положении, к которому я стремился.

Мы не страшимся блокады. Восток поставляет нам зерно, скот, уголь, свинец, цинк. Это крупная цель, требующая отдачи всех сил. Я боюсь лишь того, что в последний момент какая-нибудь свинья (Schweinehund) подсунет мне план посредничества.

Этим наши цели не исчерпываются. Положено начало разрушению господства Англии. После того как я провел политическую подготовку, дорога солдатам свободна. Сегодняшнее оповещение о пакте с Россией произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Последствия не обозримы. И Сталин сказал, что этот курс пойдет на пользу обеим сторонам».

Что ж, Гитлер оказался во многом прав. Западные демократии и в самом деле не учли его «огромной способности принимать решения». Но только ли его? Можно подумать, что он решил и за Сталина. Нет, тут совместность. Совместность в оценке обстановки. Совместность в критериях оценки. «Я видел их в Мюнхене», — добавлял фюрер к «жалким червям», и Сталин, вероятно всего, сказал бы нечто похожее. Мюнхен отрезвил многих, хотя далеко не всех. Гитлера он подстрекнул идти дальше — К СВОЕМУ АНТИ-МЮНХЕНУ. Сталину капитуляция Запада развязала руки для радикальных перемен во внешней политике. Его внутренний анти-Мюнхен был уже позади: ответ казнями на коленопреклонение ХУП съезда и попытки властных функционеров и верхов интеллигенции умиротворить людей дома — без капитальных перемен в строе. Теперь Сталин мог продвинуть единодержавие вовне. Территории ему были нужны как подтверждение и закрепление торжества, и не в последнюю очередь как гарантия личной сохранности. От «идиота», который помыслил бы покончить с ним на народовольческий манер, он был надежно защищен, хотя опасности этой не исключал никогда. Что же касается «преступников», то тут дело было сложнее. Из главных тех, кто *пре-ступил* против него (однажды и навсегда!), первый был мертв, другой за тысячи верст от Кремля. Они чуть было не соединились в далеком 1923-м, Ленин и Троцкий, едва не оборвав его восхождение к «высшей власти». Едва, но забыть ли это? Неудовлетворенное мщение застряло в помыслах Сталина, диктуя свой сценарий и выбор средств. Смертью он не удовлетворился бы, ему нужен был еще и расчет славою, больше — бессмертием.

И вот наступил блаженный «миг». Разгромленная Польша, перекроенная Восточная Европа и без особых усилий со стороны своей, дома обескровленной армии, — лишь силою собственного ума, спутавшего карты всех. Ему казалось — всех. Разве не застал он «пактом о ненападении» врасплох и европейских высоколобых и изощренных дипломатов? Разве не он заставил Гитлера напутствовать делегацию, ехавшую в Москву (с Риббентропом во главе), предписанием — идти на любые уступки? И если бы сказали ему, что «второй мировой» не состояться бы без «персональных обстоятельств», то наверняка вычеркнул бы из них Муссолини и Франко, поморщился бы от сдвоения оставшихся (множественное лицо — не по нему), но самую идею не отверг бы, найдя короткие слова, чтобы согласовать ее с марксистскими истинами, которые ведь всегда «конкретны». А вдобавок к вящим успехам — сладость финала в диалоге с Троцким, где в ответ на слово одного («Каин Джугашвили» — на титуле выпуска «Бюллетеня оппозиции» времен московских процессов) — пулеметная очередь и конечный ледоруб, наведенный издалека другим... Но, как заметил еще старый Клаузевиц, война имеет собственную грамматику, но не собственную логику. Чем «грамотнее» действовал Сталин, тем алогичнее становился итог. Сначала он споткнулся о Финляндию, затем, перемасштабив неудачу, принялся на ходу перестраивать армию и «подтягивать» страну, не оставляя и тайных помыслов дальнейшего раздвижения пределов. Верхом изощренного (и победного!) коварства полагал: приручить Гитлера поставками стратегического сырья, усыпить его бдительность выдачами антифашистов и многомесячными переговорами о присоединении к «оси» Берлин-Рим-Токио. Но в сумерках его все чаще навещала Немезида с загадочной улыбкой на устах и странным вопросом: когда? Когда стрясется непредвиденное им, вслед за почти свершенным?

Он сломался в пороговом 1940-м. Сломался на ПОЧТИ. Слом — раздвоение. Искус пространства стал грозить его власти. Намерения не укладывались больше в календарь. «Жалкие черви» переусердствовали в своей жалкости. «Откуда же мы могли знать, что Франция развалится за несколько

дней?» — сокрушался незамысловатый Ворошилов. Узреть дальше он и его патрон не умели. Мир Сталина (как и мир Гитлера) был неподвижным в своих постоянных составляющих. Что Англия не исчерпывается Невилем Чемберленом, что на пороге феномен европейского Сопротивления, что Вселенная людей состоит из переменчивых, подвижных «клеточек», способных в считанное время перерасти «глыбы», — все это было за пределами его (или их) мировидения... В разборе «обстоятельств» в пользу большой войны, которые Гитлер представил своим полководцам, числились ослабленная Британская империя и непокорная Ирландия, Индия и Южная Африка, Балканы и Турция, не нашлось места лишь для Соединенных Штатов; Франклин Делано Рузвельт, вероятно, состоял в лидерах «ниже среднего уровня». А брал ли его в расчет Сталин? Дано ли было ему предугадать английский Дюнкерк вместе с американским лендлизом, уловил ли он, что победа Рузвельта (на выборах 1940-го года), одержанная в трудной схватке с изоляционистской истерией, знаменует не только политический, но и психологический рубикон: начало превозможания западным человеком страха перед смертью?!

Гитлера ломало нежелание островных жителей капитулировать. «Фюрера больше всего занимает вопрос, почему Англия до сих пор не ищет мира...» — записывал еще летом этого, полного своими неожиданностями года, генерал Гальдер. Прежде чем окончательно остановиться на вторжении в Россию, Гитлер перебрал немало вариантов войны распространением ее вширь. Паранойя 1940-го года — назвал эти метания один из западных историков. Спрашивается: почему паранойя одного превзошла паранойю другого? Немецкая была смиреннее, образумленней? — нет. Может, она как раз держала пальму первенства в безумии, до поры до времени поддававшаяся переводу на штабную кальку. И еще держала первенство в откровениях человеконенавистничества, которое, однако (и опять-таки до поры до времени), не было лишено «почвы», питаясь страстями разрушения версальских оков. «Этот человек — судьба Германии как в добром, так и в злом. Если он теперь свалится в пропасть, он увлечет за собой всех нас. Сделать ничего нельзя». Прогноз, датированный 1937-м годом и тем более крас-

норечивый, что принадлежит он человеку старой закалки, свергнутому в то самое время с поста главнокомандующего сухопутными силами Германии. Как не заметить, что слова фон Фрича о «пропасти» и резюме — «сделать ничего нельзя», почти дословно совпадают с горестным признанием Николая Бухарина, относящимся к году 1928-му и к другому «человеку-судьбе» — Сталину.

СДЕЛАТЬ НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ. Да, дошло до этого. Да, допустили. Своими руками соорудили континент-тупик. Вот где таилась гибель для разномастного, многоликого недообщества противников нацизма: в фатуме поражения, от которого и фатум зачарованности «революционным фельдмаршалом всеройшинели» (это тоже Бухарин, год 1934-й). У одних к зачарованности был примешан страх, у других — отвращение к кровопролитию, у третьих (среди них и первые, и вторые) не сходила с уст отходная цивилизации «отчуждения», вытеснение человека вещью.

Кроме Мюнхена правителей, был еще и Мюнхен духа. Правда, «адрес» был разный: кто другие народы приносил в жертву Берлину, кто — собственные жизни Москве. Не спутать бы задним числом, ибо те, кто отдавали себя «Кремлю», сражались в Испании и уходили затем в маки...

Перепутались они — **ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА И ЗА ЧЕЛОВЕКА.** Чтобы распутать, развести в стороны, потребовалась большая кровь, муки мысли и тела. Прошедшее время ли тут уместно или также и настоящее?

Гитлер как будто ошибся, предвещая конец режиму Сталина даже в том случае, если «его солдаты» выйдут победителями. Солдаты спасали жизни, а вместе со всем своим Домом спасли и режим. Но именно потому и спасли, что в роковой час они действовали не по правилам режима, а, даже не осознавая этого, вопреки ему. Спасая, незримо придвигали его к самоисчерпанию.

На рассвете 22-го июня во всемирную историю вступил непредусмотренный человек. У нас его звали Василий Теркин. Известны только фамилия и имя, отчество могло быть любое.

IV

Теперь Теркин иначе, как детище Александра Твардовского, и не воспринимается. «Жизнью третий человек» —

таков он прежде всего остального. Да и не мог быть другим. Другому бы не сладить с тяготами войны, другому не поддерживать тех, кто рядом, — жертвы непонятной, жуткой «внезапности»... А остального, что ДО, ВНЕ, СВЕРХ, собственно, и нет. Только он и Война, их встреча, спор, поединок. Не сюжет и не притча эта книга, а что-то сродственное — при непохожести — изначальному российскому «роману в стихах». Стремительный зачин, неожиданный обрыв. «Без начала, без конца» — не прием, не жанр, а принцип, взгляд на того человека и на тогдашний Мир... Мы можем только догадываться, чем жизнь «терла» этого интеллигента из крестьян либо крестьянина-интеллигента (складом речи и строем поступка). «Из запаса» — значит не юнец, значит, хлебнул вдосталь от Тридцатых. Был на финской, на «войне незначительной», оттуда вынес и урок выживания, и горестные зарубки памяти; как и его друг-автор, «постарел» там за считанные месяцы и недели. Нет, позади столь много, что почти пусто. Память самозащитной конвульсией вытесняет обиды и утраты.

Прошлое живет в Теркине двумя чувствами, подкрепляющими и теснящими друг друга. Это то уходящее, то вновь накатывающее ощущение вины — и жажда возмездия: от ее отступательного крещендо к ее угасанию на чужой земле. Эти два чувства уплотнились в пароль-присказку, поднимающую человека под огнем. Не «за Родину, за Сталина», а — «ПЕРЕТЕРПИМ. ПЕРЕТРЕМ...» Отсеченное прошлое — отлученная власть. Кроме Бога — лишь свой генерал, старший не столько чином, сколько годами («На войне — никто, как он/ Твой ЦК и твой Калинин./ Суд. Отец. Глава. Закон»)..

Можно, оказывается, отсечь власть, став на время свободным. Миг свободы определяется человеком и смертью.

Смерть не загробна, она тут как тут, она в буднях, она — напарник. От великой «Переправы» к солнечному сплетению поэмы, главе «Смерть и воин», — движение главной мысли: жизнь удастся отстоять, лишь сохранив ее Жизнью. С Карельского, с реки Сестры — ниточка. «И увиделось впервые, / Не забудется оно:/ Люди теплые, живые/ Шли на дно, на дно, на дно...» Это неумолимо. И этому нельзя покориться. «Неподобранный» Теркин чуть не сдался

на доводы Смерти, зовущей в свою страну обетованную. Осталось лишь одно спорным — свидание с любимыми.

«...Смерть, а Смерть, еще мне там

Дашь сказать одно словечко?

Полсловечка?

— Нет. Не дам...»

Разрыв — на попроще Слова. Слово отдать — предать Смерти жизнь. Но разве Слово не было уже отдано, не было предано там, где отныне пустошь отечественного «до»?

Как и у гениального казанского математика, у Александра Твардовского «из точки вне прямой» исходит не одна прямая, не пересекающая данной. Важно лишь иметь эту «точку» за пределами раз и навсегда затверженной прямой. В поисках «точки» сошлись поэт и его герой. Они не противники постоктябрьской прямой. Ничуть. Они лишь не могут исчерпаться ею. Они в пути к «дому на дороге», к малой отчизне, которая на поверку оказывается больше необъятно-пространственной державы. Война Теркина и Твардовского не тщится продвигать границы. Ей бы вернуть захваченное из родного, освоенного поколениями, из того, что в один узел стянули освободительный порыв и новый натиск обезчеловечивания. Ею движет вина перед брошенными на произвол судьбы. Ее возмездие — не клик и не кровь сама по себе, а работа, особая чудовищно-странная военная страда. Свобода решать свою судьбу, как и смерть — мгновенна. Продлить ли ее до стен Берлина?

Траектории война и рапсода совсем рядом, но между ними все-таки зазор. Слово удесятеряет вину. Слово отпускает поводья возмездия. Впрочем, тут они, может, и ближе всего — инстинкт сострадания и «метр» стиха, все реже совпадающего с ритмом регулярной военной машины. Время сотворения первых двух частей «Теркина»: от лета 1942-го, обнажившего природу сталинского циклизма «внезапностей», — к весне следующего, к кануну Курской дуги. Поэт ставил на рукописях: «Конец». Он подводил черту книге и вместе с ней ТЕРКИНСКОЙ ВОЙНЕ. Но однополчане Теркина требовали продолжения, и стихия Войны настаивала на этом же. Твардовский подчинился ей, продлив книгу и обновив себя. Из продолжения выросла (и вошла во вторую часть) «Смерть и воин», третья же стала обрастать бытом, уходить на

обочину сражений, все пристальнее вглядываясь в человеческое и противочеловеческое лицо победы. И вот уже Теркин — не столько бравый солдат, сколько человек, протопавший большую часть отпущенного ему времени бытия, уставший от своих и от чужих страданий и уже этим приблизившийся к тому, чтобы очутиться не по своей воле «на том свете».

Но пока он на этом. Вчитаемся, как будто в первый раз открыли книгу, во фрагмент главы «На Днестре». Вырванные строки исказили бы одиссею Образа. А вот она — в связном виде, поражающая внезапным переходом сиюминутного во вселенское Завтра, ломкой настроя — от бравурного forte к грустному, мудрому piano.

К штабу на берег восточный
Плелся стезжкой, стороной
Некий немец беспорточный,
Веселя народ честной.

— С переправы?

— С переправы.

Только-только из Днестра.

— Плавал, значит?

— Плавал, дьявол,

Потому — пришла жара...

— Сытый, черт!

Чистопородный.

— В плен спешит, как на привал...

Но уже любимец взводный —

Теркин, в шулки не встречал.

Он курил, смотрел нестрога,

Думой занятый своей.

За спиной его дорога

Много раз была длинней.

И молчал он не в обиде,

Не кому-нибудь в упрек, —

Просто, больше знал и видел

Потерял и уберег...

ПОТЕРЯЛ И УБЕРЕГ! Старый пароль-присказка «Перетерпим. Перетрем» — не уходит. Но его мало. «Перетертый» духовный опыт жаждал нового Слова, способного сделать внутренний мир человека открытым Миру. Не с тем, чтобы вобрать последний, не выйдет это, не втискивается. А ради того, чтобы на место канонизированного ответа, заповеди отмщения, встал вопрос. Вопрос-боль.

Александр Твардовский шел со своей неутихающей болью навстречу вчера еще посторонней и чужой. Поэтическая строка не вмещала всего пережитого. Ему еще надо было осесть, отлиться в неосвоенную пока ритмику. К прежней вине — и эта.

«Я хотел сказать иное,
Мой читатель, друг и брат.
Как всегда, перед тобою
Я, должно быть, виноват»

На помощь пришла проза. О ней отдельный, давно назревший разговор. Пока лишь один короткий текст, текст-раздумье, текст-покаяние: «В самой Германии». Его не воспроизвести и не пересказать.

Приведу лишь начало опубликованного и черновой набросок из рабочей тетради.*

1

«Глубокая Германия, а снежные поля, вешки у дорог, колонны, обозы, солдаты — все как везде: как в воронежской степи, как под Москвой, как было в Финляндии.

Пожары, безмолвие... То, что могло лишь приниться где-нибудь у Погорелого Городища, как сладкий сон о возмездии. Помню, отъезжали на попутной машине от фронта с давно уже убитым капитаном Гроховским: горизонт в заревах, грохот канонады, а по сторонам шоссе осенняя мгла, пустые, темные хаты.

* Архив А.Т.Твардовского. Я признателен В.А.Твардовской за предоставленное мне право публикации.

Помню живую боль в сердце: «Россия, Россия-страдалица, что с тобой делают!»

Но тот сон о возмездии, явись он тогда, был бы слаще того, что видишь теперь в натуре.

«Ломать — не строить», — все чаще вспоминаются эти невыразимо вместиельные слова солдата-дорожника».

2

«15.III.45. Бишдоф, в день отъезда»

«Для меня война, как мировое бедствие, страшнее всего, пожалуй [...], личным, внутренним неучастием в ней миллионов людей, подчиняющихся одному богу — машине государственного подчинения.

Дрожа перед ней за свою шкуру, за свою маленькую жизнь, маленький человек (немец ли, не немец — какая разница) идет на призывной пункт, едет на фронт и т.д. И если б хоть легко было сдаться в плен, плюнув на фюрера и прочее...

Можно, конечно, страдать от того, что происходит множество безобразий, ненужной и даже вредной жестокости (теперь только вполне понятно, как вели себя немцы у нас, когда мы видим, как мы себя ведем, хотя мы не немцы). Можно быть справедливо возмущенным тем, например, что на днях здесь отселяли несколько семей от железной дороги, дав им на это три часа сроку, и разрешив «завтра» приехать с саночками за вещами, а в течение ночи разграбили, загадили, перевернули вверх дном все, и когда ревущие немки кое-что уложили на саночки — у них таскали еще что понравится прямо из-под рук. Можно. Даже нельзя не возмущаться и не страдать от того, например, что в 500 метрах отсюда на хуторе лежит брошенный немцами мальчик, раненый, когда проходили бои, в ногу (раздроблена кость) и гниющий безо всякой помощи и присмотра. И тем, что шофер мимоездом говорит тебе: вот здесь я вчера задавил немку. На-смерть? — На-смерть! — говорит он таким тоном, как будто ты хотел оскорбить, предположив, что не насмерть. И еще многим. Но как нельзя на всякого

немца или немку возложить ответственность за то, что делали немцы в Польше, России и т.д., и приходится признать, что все, сопутствующее оккупации, почти неизбежно, так же нельзя, наивно думать, что наша оккупация, оправданная к тому же тем, что она п о т о м, после, в отщтение, — что она могла бы проходить иначе».

...Вот оно, где и как аукнулось 22 июня — словами нашего великого поэта, рассчитанными не на потомков, однако не только не лишними для них, но пришедшими в Сегодня как будто их ждали. Или вернее — позабыли и вновь нашли.

А ими — нам: чтите чужую боль, чтобы превозмочь собственную!

3

Мы встречаемся в каждый его приезд. Он моложе меня на поколение. Сдержан, улыбчив, не отклоняет острых тем, напротив — идет навстречу им, стараясь быть точным в выражении своих мыслей. Он — это Вольфганг Айхведе, мой коллега, руководитель небольшого, но влиятельного научного центра в Бремене, занимающегося нами и Восточной Европой. Раз уж заполняю «объективку» на него, не могу не упомянуть, что его жена, Элизабет, была первой «зеленой», которую довелось мне увидеть и послушать; было это давно и крайне интересно, у меня возникло тогда чувство, что я соприкасаюсь с будущим...

Последний наш разговор с Вольфгангом заслуживает, мне кажется, чтобы о нем рассказать и другим. Я в пору встречи уже погрузился в 1941-й, тревожа себя воспоминаниями и неуходящими проклятыми вопросами. Потому сразу после первых же слов взял быка за рога.

— Вольфганг, 22 июня — это важно для Вас? Говорят, канцлер Коль собирается устроить нечто вроде фестиваля примирения. Артисты будут петь на родных языках, оркестры — исполнять великих и новых творцов музыки. А мы с Вами?

Мой собеседник посерьезнел, мне показалось даже слегка помрачнел. Его явно беспокоило само слово — примирение. И в ответ на вопрос — долгий монолог. Вот он. Не дословно, но с предельной точностью.

— Я не против примирения. Конечно — за. И полагаю, что у нашего канцлера добросовестные намерения, по крайней мере в том, что относится к политике. Но так ли просто, доступно — примириться? Примириться ведь не значит — ЗАБЫТЬ! Тут не может быть знака равенства. Примирение способно стать действительным только в том случае, если в основе его — осмысленный, осознанный исторический опыт. Каждой стороне нужно пройти свой путь к этому. Наш, немецкий — уже позади? Не думаю. Налицо легко объяснимые трудности, притом не только старые, но и сравнительно новые; есть и препятствия. В их числе я поставил бы на первое место стремление ДЕФАШИЗИРОВАТЬ агрессию райха, представив все происходившее в те годы как суровую действительность войны. Разве не похожи в этом смысле все войны, данная же, разумеется, особенно трагична, но с обеих сторон. Мне приходилось говорить со многими из бывших солдат. Что у них в памяти? Суровые зимы, бескрайние русские просторы. Они забыли, что одержал верх ваш народ. И забывают не какие-нибудь реваншисты, нео-нацисты. Тут глубже корень и прихотливее следствия. Послевоенным немцам не трудно было признать победителями Соединенные Штаты. Такая мощная экономика! Но назвать победителями французов было почти невозможно. Я тому свидетель, мальчиком жил во французской зоне. Мы рассматривали французов только в тени американцев. Мы, немцы, и после войны оставались в убеждении, что сильнее, чем французы. Поэтому нормальное признание того, чем кончилась вторая мировая война, недостаточно. Недостаточно, пока живут штампы: «эту войну невозможно было выиграть», «солдаты действовали как борцы, честно исполнившие свой долг». А истребление других народов? А все, что было вне поля боя, но БЫЛО?! Вымирающие в плену красноармейцы, «Ostarbeiter», насильно вывозимые в Германию. Непризнание этого В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ — самое опасное из заблуждений. И ведь это не только предрассудок. Это и определенная установка, ориентированное сознание. У нас не перевелись историки, которые никак не могут согласиться с тем, что только у немцев был Гитлер... Общее и личное трудно оторвать друг от друга. Встает, например, проблема компенсации. Спустя пятьдесят лет! Большинство тех, кому она

предназначена, уже умерли. А «компенсация» моральная, может ли у нее быть срок?

Обратите внимание, как парадоксально пересекаются сейчас разные потоки осмысления прошлого. У нас тенденция смягчить остроту оценки, у вас, напротив, заострить ее до критического предела. В самом разгаре — ресталинизация, распространяющаяся и на войну. Впрочем, усреднять не приходится. Разные оценки, разный взгляд назад, разный пацифизм! Мне говорила в Казахстане моя переводчица: «Нет, Вольфганг, мы не немцев боимся, их мы победили, мы войны боимся...»

В разговор включаюсь я. Не ради того, чтобы оспорить собеседника. Скорее, чтобы, оттолкнувшись от его ИМПЕРАТИВА ОТВЕТСТВЕННОСТИ, поразмыслить о нашем.

— Вы полагаете, Вольфганг, что ответственность (за войну) лежит лишь на немцах? Мы в стороне? Не отвечать же само собой, жертве — и за что отвечать победителям? Мне нравится Ваша односторонность, но позвольте и мне быть односторонним; когда же встретятся две односторонности мы, вероятно, нащупаем проблемы из числа самых неподатливых. Коренная — непременно ли была ваша с нами, наша с вами война? Бьющая в глаза особенность ее — вовлечение в бой и в страдание сотен миллионов людей — и крайняя, запредельная персонифицированность войны. Стать ли бы ей антинацистской без Черчилля в Англии, особенно же — без Рузвельта в Штатах? И, напротив, получить бы ей повадку и размах, угодные Гитлеру, — без Сталина, без их военного и политического союза?! Не убоюсь упреков в перегибе. Я долго снимал шоры с глаз. Мой вывод в виде самого краткого тезиса: в роковые дни августа 1939-го Сталин был хозяином положения. Останься он нейтральным, решился ли бы Гитлер на большее, чем вторжение в Польшу, да и на это решился бы? Скорее всего, Сталин мог загнать его в новый Мюнхен, хотя и тут не все просто (позволили бы своему правительству англичане, после захвата Чехословакии, идти на новые уступки за чужой счет, и тем паче на прямой стговор с нацизмом?) А в военных верхах Германии в это время уже зрел заговор против фюрера. Сталин, естественно, всего знать не мог, но он знал многое. Он действовал не вслепую. У НЕГО БЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБИРАТЬ — ЗА СЧЕТ ВЫБОРА, ОТНЯТОГО

У ВСЕХ В НАШЕМ ДОМЕ. События, правда, показали, что это был квазивыбор, что свобода рук превратилась в плен у неподвижной идеи мирового поприща. Кровь Польши и псевдовыбор — две стороны одной медали. Мы не имели права об этом умалчивать.

Но при чем здесь, скажете вы, ответственность народа, граждан, всех, кто был реальными и потенциальными жертвами Сталина раньше, чем стали они (мы!) жертвами Гитлера? Разве поколение, которое не смогло освободиться от тоталитарного Сталина, не искупило вину тем, что остановило и обрекло на катастрофу народоубийцу — расистский тоталитаризм? Вопрос открытый. Пусть ответят потомки, наше же дело — ОТКРЫТЬ ВОПРОС. Это (согласен с Вами) — проблема, требующая кроме мужества вопрошания и исследовательских усилий. Проблема конкретная и вместе с тем философская. У тоталитаризма ведь не только своя мифология, но и своя метафизика. Чтобы избавиться, наконец, от этого наваждения XX века, надо его понять. Его и его язык, на котором говорят не единицы, не только душевнобольные. Особая тема: упрощения мысли, обеднение речи — и шансы тоталитарной реставрации. Очень злободневная тема.

И снова — Вольфганг, возвращаясь, мягко, но настойчиво к своему императиву.

— Если вне истории не прийти к примирению, то, следовательно, не обойтись без историков, без независимой гуманитарной мысли. Поясню примером — анализом, которому с двух сторон, немецкой и английской, подвергли стихи, написанные в войне 1914-1918 гг.: многие тысячи их, авторы коих не поэты, а «просто» люди. Сопоставлялся мир их чувств, переживаний, дум — «по фронтам»: тот же пейзаж, та же погода, та же битва. Результат удивительно интересный. Вот что применительно ко второй мировой войне следовало бы проделать. Сопоставить также «по фронтам» (по объектам схватки и взаимного уничтожения) письма и дневники, самодельную литературу и воспоминания. Такая работа сблизила бы и ее участников, способствуя взаимному узнаванию.

Репликою — я:

— Отсюда — и к примирению! Не показному —

действительному и работающему. Чего лучше — большая совместная серия документов. Не только о злодействах, о взаимных обидах, но и о человеческой солидарности во всех ее видах... Как-то присел я на скамейку перед домом, а соседка-старушка внезапно, без побудительного толчка с моей стороны, стала рассказывать о своем добром немце: как умирала в войну бабушка, как отпаивал ее горячим какао, как помогал хоронить, снарядил рассказчицу в дорогу на кладбище, пригнал лошадь, помог миновать минное поле. Тихо рассказывала, полусшепотом, как молитву. Застрявшая память, не по прописям, не по указке. Моменты этой памяти ничем не заменимы. Их сберечь!

Вольфганг: «Да, у каждого из нас такие образы-воспоминания на всю оставшуюся жизнь... Между мной и моим отцом были сложные отношения. Отец — инженер по профессии, в той или иной степени поддерживал нацизм, во всяком случае — не боролся против него. Мне это было трудно принять. Но когда в самом начале 1950-х я впервые вместе с родителями поехал во Францию, мы увидели с той и другой стороны границы щиты. На первом надпись: «Вы покинули Европу, вы остаетесь в Европе». На втором, уже на французском языке, то же самое. Мой отец не смог сдержать слез, сказал мне: «Это урок моей жизни — никогда больше не быть националистом!» До сих пор я вижу его говорящим эти слова. И отчуждение между нами подтаяло.

Репликой на реплику — я.

— Хорошо бы такие щиты при входе и выходе из нашей Евразии! Нам стать европейцами много ли сложнее, чем вам — евразийцами?! Примирение — конец геополитике, не менее, если не более опасной, чем ядерные боеголовки...

Мы долго смотрим — друг на друга. Что нас, в наших исканиях и разночтениях разделяет? Ничего. Сегодня — ничего.

* * *

Боже мой, как давно было то 22 июня! Сколь далеко от Мира Всеобщей декларации прав и Делийской хартии, от Мира, который трудно идет вперед, но все же движется к уяснению для себя истины Третьего тысячелетия — быть человечеству только многосоставным и многоосновным: СОТРУДНИЧЕСТВОМ НЕСОВПАДАЮЩИХ ВЕКТОРОВ РАЗВИТИЯ.

Быть — либо не быть. Иного выбора нет. А за спиною этого — миллионы мертвых. Тех и этих. Павших в последней мировой и близко, совсем близко к нам. Новочеркасск и Тяньаньмэнь, Персидский залив и Эфиопия, сраженный пулей Джон Кеннеди и разорванный бомбой Раджив Ганди, жертвы Кабула и Вильнюса, Тираны и Алжира... Смертию породнившиеся.

От них не отстраниться памятниками. Их стоны и даже шепот — перекрывают все реквиемы. Они требуют от нас — раньше всего другого (и ради другого): обуздать убийство.

Вчера и Завтра — глаза в глаза. Что определеннее и непонятней ныне, чем смена предшествования предстоящим? Что показанней и недоступнее, чем ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ КАК ТАКОВАЯ!

...Коси, коса,
Пока роса,
Роса долой
И мы домой.

Мы — дома.

Теперь его надо сделать Д О М О М.

Май-июнь 1991

ОСВЕНЦИМ - ПЕРВООБРАЗ ЕДИНОЙ ЕВРОПЫ

I

«Мне кажется, что мы готовы заново убить этих людей».

Запало это, произнесенное одним из участников краковского симпозиума (лета 1994 года). Французский интеллектуал, говоря там о бедах Югославии, о множющихся «горячих точках» планеты, обратил свой взор к загубленным полвека назад.

Не оттого ли он вспомнил их, что неподалеку от Кракова Освенцим? Потому ли, что Гитлер и те, кто ревностно и безропотно служили ему, там именно наиболее приблизились к педантическому исполнению тайного приговора евреям, к тому, чтобы поголовным уничтожением ж и в ы х осуществить вычерк их из летописи рода человеческого?

Почти удалось. Страшное и великое почти. Страшное: миллионы удушенных «циклоном Б». Великое: единицы, спасенные частями наступающей Красной Армии.

Одна из земных преисподней перестала существовать физически. И с того же дня она заняла неистребимое место в человеческой памяти, пытая сознание людей вопросами, всякий ответ на которые кажется неполным, недостаточным. Ибо сами эти вопросы не без движения. Их пополняют новые вычерки из жизни, новые натиски убийства, притязającego на распорядительство ВСЕМИ судьбами и ВСЕМИ помыслами.

Геноцид по срокам сродни человеку. А все, что именуется историей, мы вправе истолковать как оттеснение и превозмогание геноцида. Откуда бы взяться вне этого и свободе, и рабству, возвышению одних за счет превращения других (людей, народов) в доноров прогресса? Несправедливость и неравенство оскорбительны. Они порождают протест и сопротивление, обогранные кровью, оплаченные добровольными и невольными жертвами.

В социальных и национальных коллизиях, в революциях и гражданских войнах есть нечто, сближающее их с геноцидом. Весьма опасная близость, но все же не тождество. Как не равны между собой смерть и убийство, голый смысл которого заключен в нем самом.

Я не стану напоминать о страшных эпизодах геноцида, за коими века. Но с чувством не покидающих меня сегодня скорби и отчаяния я возвращаюсь вновь и вновь к нашему, Двадцатому столетию, которое в огромной и все нарастающей степени употребляет могущество, добытое умом человека, для его самоистребления.

Я спрашиваю: только ли атавизм это или новообразование, плодящее свои метастазы то здесь, то там, тесня всех на Земле к краю пропасти?

В хрестоматию жизнеописания вошли слова бессильного философа: «После Освенцима невозможно писать стихи». Стоило бы добавить, что после него нельзя и дышать, думать, любить, рождать детей. Тем не менее люди сочиняют стихи, делают открытия, радуются восходу солнца, продолжают себя в потомстве.

Как же согласовать эту несовместимость, которая суть **ИСТОРИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК: творец или убийца?**

По всему видно, что эти вопросы либо вовсе не задаются, либо крайне редко тревожат политиков. Но плохо, безвыходно наше дело, если и те, кто **не власть**, не сумеют из предпоследних вопросов бытия извлечь жесткий наказ, — **ЗАПРЕТ И УПРЕЖДАЮЩИЙ ОТПОР ГЕНОЦИДУ.**

Отпор ему, когда он еще в зародыше, когда он всего лишь инстинкт и не дотянулся еще до указа, приказа, до лязга тронувшегося с места танка, до бензозаправки бомбардировщика, «точно» обезлюживающего Землю.

Демократия — высокая ценность. Но есть в нынешнем Мире нечто выше или, точнее, начальнее ее. Это — солидарность людей, которые разные не только по необходимости, но также и по призванию.

Солидарность равноразных — спасение человека. Это зов и работа. Это мерило всех мерил. Это та смирительная рубаха, которую людям должно надевать на себя при первых симптомах геноцидного недуга.

И это вдобавок и, быть может, прежде всего — тот отбор на право решать и управлять, тот конкурс, не выдержавшие которого обязаны своевременно оставлять поприще политики.

Вспомните заповеданное голосом Владимира Высоцкого:

Я из повиновения вышел, —
За флажки, — жажда жизни сильней!
Только сзади я радостно слышал
Удивленные крики людей.

Да будет так.
У нас и повсюду.

II

Нельзя добраться к истине, минуя абсурд. Есть нечто символическое в том, что лучшее, написанное об абсурде, принадлежит мыслителю-экзистенциалисту, действовавшему в рядах французского Сопротивления. Слово опережало. Но даже подкрепленное поступком, не смогло помешать тому, что Мир ныне вновь — перед лицом «децентрализованного», расплзшегося по лику планеты Освенцима.

Однако безнадежно ли все или есть (были и грядут) основания для ГИПОТЕЗЫ НЕИСКЛЮЧЕННОГО СПАСЕНИЯ? В Освенциме, который теперь музей Гибели и памятник Человеку, висит карта: стрелками указаны маршруты эшелонов с подлежащими уничтожению евреями. Я невольно подумал: так это же первообраз единой Европы! Она — сюда, чтобы — отсюда!

Да, я знаю, что все было прозаичней; начатое Робером Шуманом и Европейским объединением угля и стали, чтобы

затем пойти дальше и быстрее брюссельским трактом. Все так. Но откуда бы взяться энергии для преодоления барьера национальных особенностей и национальных эгоизмов, если бы не жуткие уроки Гитлера? Дабы Европа стала объединяемоспособной (приучающей себя к преодолению конфликтов без крови), нужно было, чтобы немцы стали европейцами и чтобы французы шагнули дальше де Голля, а англичане вовремя расставались с чересчур упорными из своих прославленных лидеров. Разное должно было случиться: испанский демонтаж и капитуляция «черных полковников» в Греции, португальская революция и сдвигка Турции к минимальному демократизму. В ту же общую строку как не поставить Второй ватиканский собор, восточноевропейское диссидентство и его западных поборников, именитые пен-клубы и одиноких еретиков равенства, жертвовавших репутацией и оscarами.

НЕТОЖДЕСТВЕННОЕ СТРОИЛО – ПРЯМО, ОКОЛЬНО – Е Д И Н У Ю ЕВРОПУ. Вот он, главный итог. И надежда – он же?

Поперек этому – нынешняя Югославия. Боль, вошедшая в тело Европы. Уже не рытвина, а ров. Вызов – вне мирового разноединства не обрести устойчивость ни одному из континентальных! Именно м и р о в о е в сараевском и заставляет нас вернуться мыслью к Освенциму.

... «Германия – это Гитлер, Гитлер – это Мир» – так ли уж отвращает геббельсовская формула, ежели только выключить память. Нетрудно б другие имена поставить вместо Гитлера и другие державы на место Германии. Однако в том и страшный парадокс Тридцатых века ХХ, что буквально приурочить ее, формулу эту, можно лишь к двум, и даже не к державам, а к их абсолютизированным персоналиям. К двум личным режимам, заявлявшим себя несменяемо-вечными. К их нарочито-бессознательной «конвергенции», измеряемой множеством крупных и мелких свойств, но фокусирующейся в главном, что даже не идеология, тем более – не убеждения, а нечто вовсе иное, сверхдержавное и надперсональное. Оба делают заявку на Мир и оба – ненавистники замысла ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Оба – захватчики, изнасиловавшие этот неосуществимый проект. Оба не одну лишь Жизнь

пытались взнудать уничтожениями, но покушались и на смерть. Смерть норовили умертвить.

Среди сжатых определений фашизма — мое предпочтение тому, что дал Андрей Платонов: ОБРАБОТКА ЧЕЛОВЕКА В ТРУП. Не гибель человеческую несли Гитлер и Сталин, а «предначертание»: человек обратим в труп — посредством себе подобных, тем самым также превращающихся в труп. Раньше, позже. Никто не избавлен.

Освенцим — гитлеровский — об этом. Сталин же еще шел к своему «окончательному решению», быть может, даже более окончательному (с Бомбой!), но не дошел полшага. А если бы дошел? Рискнул бы? Повторил бы «вывоз [евреев] на восток» (или российский север)? Либо предпочел бы обойтись без газовок, раздвигая дальше и дальше пределы колымского варианта? В любом случае, убежден, он натолкнулся бы в 1950-х на неприятие, растущее во вселенский отпор. Со стороны Штатов, сохранявших ядерное превосходство? Не исключаю. Но думаю о непредвидимых источниках сопротивления. О российском Хуан Карлосе, о московском Ярузельском, о евразийском Дэн Сяопине. И о более простом и неединичном. О Василии Теркине, рвущемся с того света. Об интеллигентах, превозмогших страх. Ведь на послевоенной Лубянке пытали не менее ретиво, чем в Тридцатые. Отчего же не удалось сломить до конца мучеников Еврейского антифашистского комитета? Почему потерпел неудачу этот закуполенный процесс (1952) без прокурора и защитников? Читая ставшую, наконец, гласной архивную запись этого судилища и воздавая должное Соломону Лозовскому, Борису Шимелиовичу и их товарищам, я задерживаюсь на мысли: те были старшими и в чем-то уже устаревающими представителями человеческого множества, верхушкой айсберга с еще не сказавшей свое молодой толщей в основании.

ИНАКОЖИВУЩИЕ начались раньше ИНАКОМЫСЛЯЩИХ, затем эти понятия слились, чтобы потом вновь разъединиться — и торопить новое соединение.

Так за Тридцатыми шли Сороковые, Пятидесятые. ЧЕЛОВЕК ОБОРОНИЛ ЖИЗНЬ И ОТСТОЯЛ СМЕРТЬ. Ценой гибели спас их, ту и другую, спас их взаимность, их полилог. Разве спасение смерти не принадлежит к самым высоким

завоеваниям Двадцатого века? Разве оно не вошло, осознанно и неприметно, во все сферы духовного бытия человека? Но разве, в свою очередь, этот плацдарм не нуждается, дабы его удержать, в усилиях не меньших, чем антифашизм, который уже превратился в классику, в читаемый по праздникам том с золотым обрезом?

Не надо сетовать на ритуалы забвения. Нужно искать, вникая и в слабости того однодумного, самоотреченного «анти», заплатившего тяжкую цену за свое начальное затворничество. Иначе опознаешь ли, обезвредишь ли своевременно нынешнее гитлероподобие, далеко не всегда вопящее «хайль», и сталиноподобие, у какого в наследниках не непременно параноики?

Великому Марку Блоку принадлежат предупреждающие людей слова: демон истоков — возможно, лишь воплощение другого сатанинского врага истории — мании осуждать...

И еще один автобиографический сюжет. Он касается отношений моих с неистовым безумцем, без коего не было бы и еретического христианства. Я о человеке, которого звали Савлом, прежде чем он стал Павлом. И о его идее, пришедшей ко мне сравнительно поздно, в трудный переход от Семидесятых к Восемидесятым. О его «предметном» видении завещанного Иисусом Судного дня. «Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Все изменится, поелику и мертвые — ВСЕ — возвратятся в жизнь! Без этой неисполнимой неутолимости пуст самый образ Конца, который суть Начало... Я был потрясен пересечением того таинственного провидческого текста с отнюдь не спиритуалистическими загадками, которые я продолжал неустанно задавать себе, зная, что не дождусь разгадки ни в одиночестве, ни на людях. Затравленный преследованиями моих молодых друзей и непонятностью того, что еще предстоит нам всем, втянутым в «муравьиную злую возню маленькой нашей планеты», я нашел в этой Павловой идее (как и в более поздних отзвуках ее, представленных родными мне именами) — в ней и в них обнаружил проблеск надежды, поощряющей поступок.

Впрямь — если одиссея человека не что иное, как переделка безвремений в междувременья, то свершится ли такой переделке сейчас, здесь, у нас и в нас, пока мы не ощутим себя обладателями всех без исключения человеческих опытов, включая и не в последнем, в первом счете — опыт поражений, срывов, падений, выкарабкиваний из бездны?! Без живых мертвых живущие обречены. Спасение — во встрече их. С некоторой дозой велеречивости разрешу себе сказать: с тех пор — это мое кредо.

Но и ему пришлось выдержать испытание на разрыв. В проверщиках снова и вновь — люди и события. Неодинаковые масштабам, несовпадением размера бедствий с болью и разочарованием. Сердце с Нагорным Карабахом, с армянином, отстаивающим самостоянье, а ум? Ум говорит странное, точно в бреду: люди, подождите, пройдут считанные годы и мы солидарно придем к ДОМИНАНТЕ РАВНОРАЗНОСТИ. К Миру, где все составляющие — страны ли, конгломераты их, меньшинства ли внутри большинств — превратятся в МИРЫ, полноценно соотносящие себя с человеческим универсумом.

...Если внушенная сомнением вера эта — вклад без расчета на проценты, то я вношу его.

Декабрь 1994

ЖИЗНЬ ПАМЯТЮ

[Эпилог к книге «Голоса из мира, которого уже нет: выпускники исторического факультета МГУ 1941 г. в письмах и воспоминаниях»]

Среди признаний о войне, слов скорби и торжества — в память и во славу павших — есть особенные, словно заключившие в себе все сказанное и все неизреченное. « Я знаю, никакой моей вины/ В том, что другие не пришли с войны... » Так начинаются знаменитые стихи, и начало их вроде не опровергается последующим, не оспаривается с той точки зрения, какую можно назвать личной и исторической воедино. «...И не о том же речь,/ Что я их мог, но не сумел сберечь».

В самом деле — о том ли речь? Да разве кто-то, будь он семи пядей во лбу, смог бы уберечь «непришедших» — всех? И разве сама эта мысль — не вызов необратимому ходу событий, их страшной и обязывающей непереносимости — неизбежности спасительного усилия, какое не вправе останавливаться перед жертвой жизнью?

Выходит, нет вопроса — нет здесь ему места. Но так ли? Идут годы, выкликая следующие поколения, множатся новые беды и новые заботы, вместо прежних пророков и кумиров воздвигаются и опадают другие, а поэт спрашивает себя еще и еще — все о том же. И прежним — мог, но не сумел —

пытает память, тревожит свою и нашу душу. «Речь не о том, но всё же, всё же, всё же...»

При всей краткости — реквием. Взгляд не самодовольного моралиста, в лексиконе которого либо анафема, либо славься, а нравственника, чье воображение и совесть исполнены (равно!) верностью людям — и неверием в себя, в собственное право менять жизнь и учить жить. Да и какой иной взгляд мог быть у него, прошедшего дорогой Тысяча девятьсот сорок первого и Тысяча девятьсот сорок второго, испившего страдания и горечь, забыть о которых значило бы обездуховить не только себя, но и из истории, из летописи, соединяющей и удерживающей миллионы судеб, вычесть дух и разум, изъять нечто, заставляющее усомниться во всех прописях добра и зла. Но не в добре как таковом. И не во зле, остающемся таковым вопреки всем его непредсказуемым превращениям и просачиваниям в добро.

Не оттого ли так опасно беспамятство, что оно мешает людям постигать вновь и вновь добро — через познание зла (иначе не выйдет!)?

...Еще живы многие из тех, кто встретил 22 июня в разгаре или в начале своей сознательной жизни. Они, выжившие и живущие, кажется, помнят всё, но о чем-то самом важном *ведает лишь павшие*. Кое-что целиком в их власти — и не одни только остановленные мгновения битвы, сотканной из превеликого множества раздробленных и безвестных схваток. Они хранят еще и главную тайну тех лет — неравного противоборства человека с самим собой, таинство принятия решения о собственной участи, когда она на зыбкой грани жизни и смерти.

Как совершался выбор отдельным и в силе своей слабым человеком? Только они знают. Но то, что это — тайна, чувствуем и мы. Чем дальше отступаем от того времени, тем сложнее и мучительней их выбор для нас. Ибо он — не точка, в коей пересеклись время и пространство. Выбор — это человек, оказавшийся в этой «точке». Он может случиться в ней по собственному почину, а может и в силу обстоятельств, над которыми не властен; различие большое, громадное даже, но все-таки не самое существенное. Ведь человек тем и

Человек, что может превозмочь обстоятельства — сначала в себе, с себя начиная.

И собою кончая? Что ж, может статься, этим выбор и ограничится. Прошлые столетия добавили б: именно потому и тогда он — Выбор! Нынешний век подтвердил сие примерами, превосходящими всё известное и даже, мнится, всё доступное людям.

Подтвердил — и усомнился. Усомнился в смерти во благо людей. Заново открыл истину — человек призван ЖИТЬ! Вновь, как в исходе истории, БЫТЬ уравнилось с ЖИТЬ. И легче стало выбирать жизнь, свободнее этот выбор? Или же напротив — труднее во сто крат?

Признание из самых трудных: зло выучилось овладевать выбором, переиначивая его смыслово́, третируя едва ли не в каждом. Но и добро также не стоит на месте. Оно умнеет на свой лад. И «всеядность» его выдержала, кажется, страшнейшие из измен, а его же простодушие путало уже не раз карты тех, кто «именем и по поручению» истории пытается распорядиться всеми и всем, раз и навсегда.

...Это все-таки заблуждение, что будущее всегда впереди. На самом деле люди, народы, цивилизации издавна двигались вперед спиною, лицом же к тому, что без возврата и без забвения. И ныне, особенно теперь, у грядущего в демиургах — память. И это оно, БУДУЩЕЕ ПРОШЛОГО, говорит устами Александра Твардовского, себе вменяя в вину, что «другие не пришли с войны».

Принимая на себя ответ за все до одной досрочные смерти, за всех, насилием выброшенных из существования, за всех несостоявшихся детей, за всё, несотворенное ими. Вменяя в вину живущим, и тем возвращая павших. А ими продлевая жизнь.

ЖИЗНЬ ПАМЯТИ — ЖИЗНЬ ПАМЯТЬЮ. ...Для нас собрание писем погибших друзей, листки эти, удержавшие их дыхание, — и боль, и счастье. Мы заново встретились. Лучше поняли их. Хочется думать, и себя тоже.

1985, 1994

РУССКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС

Еврейский вопрос — он ведь неотделим от присутствия, существования евреев. Правомерно ли в таком случае, что русский вопрос — вторая голова еврейского? Если так, то мы отсекаем целые века русской истории, в которые не вставал и русский вопрос, но обязуемся ответить, когда он приходит? И чем провоцируется? И почему?

Когда? В связи с Польшей Каткова? Внутренним замещением поляков на евреев? Тем более, что есть смежность: первая область размещения евреев в России — польские земли. Тогда почему и чем так уязвлял польский вопрос? Почему мог его заменить еврейский?

Поляки были болью и занозой России.

Лучшее в России отстаивало независимость поляков, лучшее в России страдало от польского нетерпения и польской радикальной гордыни.

Лучшие в России всегда были против антисемитизма. К лучшим в России антисемитизм возвращался своего рода бумерангом — отклоняя их от какого-то большинства, которое по своим таинственным причинам могло легко попасться на антисемитский крючок. Дело здесь действительно в большинстве или в той легкости, с какой попадались? От хорошей ли жизни заглатывали наживку? И почему?

Знал ли Гоголь, что предвосхищает по сути еврейский вопрос, когда говорил, что вся Россия видится ему огромнейшим пространством с единственной почтовой станцией и зрителем, что гаркнет: «Лошадей нет!».

Еврейский вопрос – некий поворот русского вопроса, проекция его, неожиданная и неизбежная. Но вопрос-то сам чересчур внутренний, чересчур кровный и глубоко застрявший.

...Поэтому мне смешно слышать, когда один из знакомых, объясняя феномен нацизма, произносит: да все равно, не были б евреи, были б рыжие или другие... Нет! Не рыжие! Никакие другие! Евреи!!!

Почему?

Евреи раздражают любое единообразие, всякое внутреннее устремление в человеке «быть, как все». Они – не укладываются, они выпирают из ряда, всегда выламываются, раздражая и дразня унификационный синдром...

Они вышли из маленького пространства, теснившего их, а развернулись на таком просторе, который зовет к бесконечности...

ВОПРОС НЕ-СВОЙ, КРОВНЫЙ

Услышать ось земную, ось земную...

Осип Мандельштам

I

Не-свой, но кровный. Пришел со стороны, застряв занозою в сердце и в уме. И откликаются они, ум и сердце, не в лад. Сердце не приемлет, ум же заблудился в ответах, из которых каждый, подобно бумерангу, возвращает тот самый вопрос. А в нем — всё, что около и что за горизонтом.

...Ты кто? Из анекдота: получивший анкету, нашу отечественную властительницу судеб, записывает в пятой графе: «Что да, то да...». Сразу же на ум приходит — еврей. Но это все-таки вчерашнее «сразу», а сегодня вполне может быть русский. Даже безусловно русский. Чем-то существенным выравнялись, однако трудно передаваемым и, если толкуемым вслух, то вкривь и вкось.

Навстречу анекдоту — проясняющий абсурд. Предположение: утратил в малолетстве родных, а вместе с ними имя собственное, и вот ты Маугли среди людей. Сумеешь ли прожить без родословной или, чтоб не подвергнуться остракизму, примешь любую из близлежащих, и в этой новой коже станешь жить, как все, не беспокоя кровь, не полемизируя с генами?! Подтвердишь, что сам — сутью — один во множестве. Из тех миллиардов один, у кого позади единый предок и

общая прапрародина, там, в африканской (в иной ли) глубинке, и лишь затем таинственное разбегание по свету, когда нишей становится вся планета, и тогда она уже не «ниша», а всечеловеческая добыча и временно разделенное попреще. Ты Маугли оттого, что и остальные Маугли, только забыли про это. И не принимают забытое, заслоняясь преданием и племенным знаком, и обороняются, и наступают посредством несовпадающих звукосочетаний.

Защищаются ли так от себе подобных, ставших навсегда «чуждыми», или преодолевают и самое разбегание, непостоянную для человека планетарность? Первое очевидное, второе скрытно, загадочно. Если даже бременем земное пространство, то ходу назад ведь нет, не сожмешься же заново в превозданный комок.

...Оглянись, вбери в себя Путь. Тот, что от протовсеобщности эволюционного всплеска вел к отдельности и разности, ими выводя вид Гомо за пределы дочеловеческой жизни. На этом, отдельно-разном могло бы все и завершиться, исчерпаться. Но ролью творца овладело Слово.

«В начале было Слово». В начале чего? Нового исхода. Непредусмотренного единства. Связи, не отменяющей кровность, но надстраивающейся над ней, ее теснящей и ею же питающейся. Малое пространство оспорило суперэтноты, гигантские империи. Полис — ввод, репетиция. Община сораспявшихся — заявка на Мир, границы которого внутри каждого человека, склонного продолжиться в других.

Сквозь тысячелетия — спор о *человечестве*. Спор претворением его и спор отказом. Каждое ближе рождает свое дальше. Двадцатый век — предел близости, край неосуществимости.

Не дотянули люди до человечества? Скорее — «перетянули», вызвав доселе неиспытанный отпор со стороны собственного естества. О два преткновенных камня расшиблись. Об избыток выравнивания: от геополитики и метаэкономики до нравов, обрядов, утех. И — о преувеличенную, себе довлеющую несхожесть, которой куда как легче заявиться «исконной», поощряя в Гомо самоотстаивание убийством.

Да не два это камня, а один: повсюдный. Разве не стало заново зыбким — где обосноваться «просто» человеку? Днем или ночью он — Сапиенс? Когда говорит, либо когда молчит

— в немом диалоге с собою? Во вчерашней хронике домашних пожарищ и гибелей, либо в пролистываемом назад всесветном мартирологе?

Уговариваешь себя вновь и вновь: сохрани верность Пути. Измерь: сколько уже пройдено, химер отброшено, иллюзий изжито. Волна за волной, оставляющие на берегу следы. Следы — люди, кто своими поражениями увлекает следовать. Спор наш без них — пустельга, толчение воды в ступе. Ибо они — хранители всех тех «ближе» и «дальше», которых пришел ныне конечный счет.

Великая разница — звать предков в наставники или в советчики. Учителя жизни — так ли, иначе ли — разъединяют. Лишь суверенам несхожих духовных опытов дано составить ныне братство вселенских предтеч. Это не сделать без оживших мертвых. Этого не совершить мертвым без участия равноразных живых.

Равноразность — условие. И больше: шанс примирить бытие со смертью. Не с той, о которой смутные, тревожные, умиротворяющие догадки. А с той смертью, что жизнь по имени Память.

II

Когда не биография, не исповедь, но и не помысел трактата, не заявление о намерении, что тогда?

Не окошко, а щелочка. Такая, в какую впору просочиться замурованным чувствам. Можно бы и минуя эту щель, но только сдается, что можно. На самом деле — не выйдет. Даже если дверь настежь: «Мы тебе рады, мы тебя любим».

В самом деле рады. И я люблю их. Не обделенный дружбой, не преданный теми, с кем был вчера. Но вдруг обманываюсь и обманываю? Самое время уяснить. Правда, спешить уже некуда, но и откладывать больше не стоит. Поздно будет.

Я — кто? Если «чистосердечно», как предлагают следователи и интервьюеры, — н и к т о. Никто в том самом смысле, для какого лишние все акты гражданского состояния, а решение о принадлежности выносят первое произнесенное слово и последняя из сокрушенных надежд.

В наш век одноязычие — увечье. А если бы и несколько, то все равно один и без родины родной. Однако что поделаться, если и на том, что мой, не в силах объясниться наедине?

Нет, демографам со мною делать нечего. Но слышу, как стучится вытолкнутое, и не пойму, что, собственно, его возвращает: угрызения ли от многолетней увертки или упрямое отвращение к вопросу, которому показано лишь «да», либо «нет»? Тут уж не анкета загвоздкой, а — простите за велеречивость, — душа.

Ее с кем разделить? Или она-то и противится любой дележке. И оттого тянется к другим неделимым.

...Проснусь, проснусь, — рассказывала мать,
— А за стеною кладбище таежное...
Теперь над ней березы, хоть не те,
Что снились за тайгою чужедальнею.
Досталось прописаться в тесноте
На вечную квартиру коммунальную.
И не в обиде. И не все ль равно,
Какою метой вечность сверху мечена.
А тех берез кудрявых — их давно
На свете нету. Сниться больше нечему.

Кто не дрогнул, слушая эти строки Твардовского, тоска и сердечная мощь которых утроены музыкой Алексея Николаева в незабываемом исполнении Александра Ведерникова. Мой японский друг писал мне, что, ставя эту пластинку, он возвращается мысленно в московские Черемушки. Мне же возвращаться некуда.

Далеко ли от Симферополя 1941-го, вырубившего корни, до бывшей столицы бывшего Союза, сокращением в Россию грозящей свежей кровью.

...Смертию смерть поправ — оно вселенское, хотя говорит на разных языках. А сближает открываниями жизни, многоликостью их, вырастающей из того, как люди обращаются со смертью.

Ущербна культура, минующая это. Да и культура ли? Пробный камень. От скифских могильников род вести или сразу от Кронверкского вала, от островка по имени Голодай?

Беря за исход «Слово о полку Игореве» либо «Пир во время чумы»?

Нет спору — совместны. Но лишь нами, нашей *жизнью-смертью*.

«...И не все ль равно, какою метой вечность сверху мечена». Это — мое. Это — я.

III

Увертюра затянулась. Пора вводить главный мотив. Чего звучней: сохранился ли у нас, обитающих тут, еврейский вопрос? Что был, не отрицает, пожалуй, никто даже из тех, в чьи обязанности входило начисто сие отвергать. Теперь не то чтобы признать, а даже отоварить признание можно не без выгоды, по крайней мере во внешних сношениях. Отряхнем былой прах с наших ног... А если не отряхнется?

Разобраться бы, что понимаем под этим самым вопросом. Право ли на самоопределение, нужду в нем, жажду его? Так нелегко сегодня с правом этим. Вроде бы нет ничего естественней, а с другой стороны — пустотелое оно и начинено порохом. В еврейском варианте, ежели «вплоть до отделения», то просто — вон! Разница немалая, по доброй ли воле или пинком, хотя откуда добрая, когда бы не маячило «пинком»? В текущей ли жизни, в словесном ли обиходе, и не непременно с погромной интонацией, можно и со снисходительным похлопыванием по плечу.

А вдруг — полная перемена и тогда... В самом деле, что? Само собой, не старое местечко, не ссыльный Биробиджан. Большие города, человеческий муравейник, где каждый ничто врозь и розно же посягает на все. Реализуйся — вот он, твой завет! И уже на заднем плане своеобычное предание, собственные подмошки. Оживший Михоэлс, бессмертный Лир его — перешел бы на иврит, либо претворился на обращенном к Миру русском?

Это ведь только чудится химерою. Но если б и химера, разве не разъясняется суть? Не за «место под солнцем» борьба. А когда бы и за «место», то Солнце здесь не в обыденном смысле и даже не в самоновейшем термоядерном (зри «еврейский след»!), а в том, что нисходит к человеческой первозданности и к той книге, что Книга... Какому этносу принадлежит

она — со своею тайной сродства «ветхого» с «новым», избранничества с всечеловечностью, прорыва с покоем?

Еврейский вопрос — он оттуда: Вопросом. И русский оттуда же — Вопросом. В обнимку, грызя друг друга. Разъять — кому по силам? Развести — зачем?

IV

Делать нечего. Взятся за скоропись откровения, силъся идти до конца. С немудрящего стога переходя на осмысляющий разбор. А в нем первое же всего сомнение: есть ли на свете русская *особность*, ни с чем другим несхожая? Ясно, что не о цвете глаз или волос речь, да и сверх-духовность, для которой достаток — чистая укоризна, — не преувеличение, а на поверку обман. Но ведь не на пустом месте он. И обман ли, либо самовнушенная реальность?

Мир не сотворенный, но творимый. Лишенный законченности по самому помыслу и веществу своему. Как и почва — в кормящем и в страдательном смысле. Как и особенный строй речи — со склонностью заместить понятие образом, иносказанием. Как и циклизм домашних миротрясений: не стговор человека с судьбой, а вечное их перемирие — с разрывами, отбрасывающими «вперед», в котором позже угадывается «назад».

Мистика? Но кто доказал, что за нашими историософскими распрями не скрывается обиходность человеческого страдания, что это, быть может, и есть самое русское в русском — непостижимая связка я с не-я, самовластительного душегубства с повальным самоубийством, побуждающая ум искать (находя и теряя) всесветные решения в собственных безграничных теснинах?!

Слова Чаадаева — обреканием на домашнее наше нелечимое безумие:

«...Моему существованию нет более предела; нет преград видению безграничного; мой взор погружается в вечность; земной горизонт исчез; небесный свод не упирается в землю на краях безграничной равнины, стелющейся перед моими глазами; я вижу себя в беспредельном пребывании, не разделенном на дни, на часы [...], без движения и без перемен, где все отдельные существа исчезли друг в друге [...]. Всякий

раз, как дух наш успеваает сбросить с себя оковы, которые он сам же себе и выковал, ему доступен этот род времени, точно так, как и тот, в котором он ныне пребывает. Зачем порыва-ется он постоянно за пределы непосредственной смены вещей, измеряемой однозвучными колебаниями маятника? Зачем кидается он беспрестанно в иной мир, где не слышен роковой бой часов? Дело в том, что беспредельность есть естественная оболочка мысли; в ней-то и есть единственное, истинное время, а другое — мы создаем себе сами, а для чего — неизвестно».

... Вот где потомок мессий и пророков встречается — в самом себе — с наследником мысли, первое слово свое произнесшей на французском языке.

V

Еврейский вопрос — он же русский. Трудно признать, но можно. А как согласиться с тем, что русский — он же еврейский?

Долгий разговор. Начать пришлось бы даже не с XVIII века, когда разделы Польши пополнили империю евреями, а с неизмеримо ранних рубежей, когда евреи, если и значились, то не было раздельно-слитного «вопроса», но что-то уже вело к нему. Что-то, готовившее Русь к России, Россию к Миру, вход в который распахнулся в одночасье: катастрофой, сломившей естественные пределы.

Отсчет — от монгольского нашествия и конкисты Московского царства, от прорыва в Европу и последующего имперского расплзания. В главных действующих лицах — *движение времени, скованное пространством*. Человек раз-мыкал его и чем дальше, тем более теряя себя. Этот человек, как известно, не был уже чистым славянином, много племен перемешалось в русских. Но подобно Петру I, одомашнивав-шему закордонное жильё низким потолком (это при его-то росте!), русского землепроходца и колонизатора стесняла им завоеванная и осваиваемая ширь.

Так, видно, и наречено человеку — нуждаться в Мире обозримом (если не глазом, то способом жизнедеятельности), в мире, про который он может сказать, что он — его Мир. Если мир-Мир этот загнан в черту оседлости, человеку дурно,

он жаждет распрямить связанные «порядком» члены. Если же размерность бытия — между Смоленском и Тихим океаном, то скверно не меньше. В чрезмерной тесноте, как и в безмерном просторе, человек ощущает разлитую тревогу, опасность, исходящую от того, кто рядом и вместе с тем далеке. Этот рядом-далекий чуждее, подозрительней остальных. И жизнь начинает свывкаться с воображаемой опасностью, сливаться с ней до такой степени, что уже забыто, откуда пришла, чем первоначально питалась.

Российское пространство взывало к Смуте и бунту. Оно не случайно оказалось самым восприимчивым к клику «мировой революции». Притом, что сонга отличались не меньшим неистовством, чем прокатившееся по свету рго. И во всех них сюжет пришлых возмутителей в странном — до безумия — соседстве со вселенской отзывчивостью. Не трудно показать, что вопиющие о русофобии были и есть истинные русофобы. Показать нетрудно, сложнее это объяснить.

VI

Когда же заявила о себе в настоящую силу русская «половинка» вопроса? Даты и в этом случае — вещь сугубо условная. Полагаю все же неизгладимый рубеж — 1863. По горячим следам отмены крепостного рабства, вслед за первыми глотками пост-николаевской вольности слова, в ожидании новых преобразований — восстание поляков. Как совместить одно с другим? Тут — ожог памяти, да и первый ли? Стоит вспомнить «польский» 1830. Хотя реформами вроде не пахло, но пост-декабристский Хозяин еще вселял надежды — не столько «император Европы» (как называли брата-предшественника), сколько самодержец коренной России, той самой, что «от финских хладных скал [...] до стен недвижимого Китая, стальной щетиною сверкая...» (И мы учили строки эти наизусть, а в страшные октябрьские дни 1941-го повторяли про себя, как клятву...) Князь Вяземский, правда, негодовал против них в своем дневнике, Боратынский язвил, что «свинячьи» (щетина-то чья?). Одобрил, однако, не только Николай Павлович Романов, Петра Яковлевича Чаадаева также ублажил гений. («Друг мой, никогда вы еще не доставляли мне столько удовольствия. Вот вы, наконец, и

национальный поэт; вы, наконец, угадали свое призвание»).

Призвание — в чем же? В том, чтобы поспешествовать всеславянскому единству, в лучшем — желаемом случае добыв его миром, а не в бою, но без унижающих Русь отступлений, не поддаваясь шантажу «клеветников России»? Посреди человечества храня свое?!

Вольная лира, независимый разум прочили себя в государственники. Державу со-размерить с человеком, но и искомую меру облечь в державность! Не утопия ли — из самых высоких, самых опасных?

...Много воды утекло с тех пор. Воды и крови. Та польско-русская распря, тот «неравный спор», уйдя в корневища Образа-Смысла, Смысла-Судьбы, оборвались «Медным всадником» и Черною речкой, чтобы снова взойти при других поколениях. С 1862-1863-го Польша рванулась к свободе, не посчитавшись с раскрепостительным графиком России. Испытания на разрыв — для Герцена в эмиграции, для демократов дома. Лучшее в России взяло сторону поляков. Лучшие в России были загнаны в одиночество польской радикальной гордыней. А эмансипаторский «хор», покинув «Колокол» и «Современник», переметнулся к Каткову, который убежденно презрел свое прошлое, бывшее ученичество у Белинского обратив в трамплин для духовного самодержавства. Он поднял знамя. Он сплывал — и даже не угрозой потери территории, отпадения западной окраины, а опасностью согласия потерпеть уход. Он пекся о единстве — с эмблемой виселицы, «муравьевского воротника», но и с русскими солдатскими могилами в обновляемом имперском фундаменте.

«В общем — один мрак, ужас, кровь и народная подлость... Не предчувствие ли это конца, примирение с ним?» — Герцен, дневник, 8 января 1864 года.

...Я ловлю себя на том, что вновь отошел от темы. Но о чем бы сиюминутном и «вечном» ни думал, сталкиваю отечественные развязки с отечественными же зачинами, а в этих последних неизменно встречаюсь с дорогими мне людьми. С властителями дум. С теньями неприкаянных и неудачливых. Они-то ведь одни и те же — эти тени. Во властители - неприкаянностью, кляпом во рту, пулей в живот. Но — во

властители и тем, что не сдавались, упорствуя и в праве быть собою, и в отказе быть «лишними».

Российская империя с «человеческим лицом» — не в архив, а в память. И герценовские письма царю (ему, Герцену, столько раз в вину вмененные) — не пустая страница, не безразличная и спутникам его жизни, и тем, кто после — вплоть до сегодня.

«Пусть каждый делает то, что может и на что он способен, ибо мы никогда ничего не доспеем, пока будем [...] ненавидеть своими боками», — это уже Щедрин. Это — непримиримость, ищущая почву. Открытый вызов укоренившемуся «катковству». Это — гигиена публичной деятельности при обстоятельствах, когда пальцем не шевельнешь, не ухватив комок грязи. Это — особый устав Слова, отучающего человека «ненавидеть боками».

Вот он — в своей обкорнанной попытке (цензура не дура) открыть глаза молодым на природу охватившего их патриотического мстительного упоения. Корректурa, сентябрьский «Современник» 1863-го. Щедрин приводит (без пропусков) заявление двухсот студентов и слушателей Московского университета, которое, само собой, нашло место на страницах славянофильского «Дня». Три пронумерованных тезиса.

Первый: «Никогда и ни в каком случае не станем мы рознить с Русским народом. Его дело — наше дело [...]. Мы Русские. Нам дорога кровь наших братьев; нам дорога честь и величие России; нам свят завет нашей истории, целость и единство русской земли. Не учить народ, а служить народу, проникаться началами русской народности и явиться самостоятельными русскими деятелями в науке и в жизни — вот как понимаем мы наше призвание. Всякий, поднимающий меч на Россию, есть враг ее, враг Русского народа [...]. Враг русской земли и русского народа — наш враг».

Тезис под номером 2: «Мы не питаем ненависти к польскому народу; мы уважаем патриотизм польской нации, [...], но лишь под тем единственным условием, чтобы свобода Польши не стала неволею для России. Мы не отрицаем той доли неправды, которая могла быть относительно Польши с нашей стороны; но мы не только не признаем каких-либо

прав Польши на Западный и Юго-Западный край России, но готовы, вместе со всем русским народом, отстаивать до последнего издыхания неприкосновенность русской земли. Вопли и стоны польской шляхты, оглушающие слух Европы, не могут заглушить для нас вековые мужицкие стоны, стоны угнетенного польскою шляхтою, польскою цивилизациею и латинством малорусского и белорусского народа».

И, наконец, тезис-итог: «Мы считаем, что в настоящее, трудное для России время долг каждого русского — отложив в сторону неудовольствия, расчеты и пристрастие к тем или другим политическим теориям, — есть долг непоколебимой верности русской земле и тому, кого она признает своим представителем, кому вверила оберегательство своей чести и целостности...»

Не правда ли, день далекий — день нынешний? Едва ли не слово в слово, и та же риторика заглавных букв, и прямизна перехода от себе предназначенного («служить народу» «в науке и в жизни») к сентенции-кличу: враг русской земли — наш враг; и та же заявка на долг «непоколебимой верности» тем, кому земля эта «вверила оберегательство своей чести и целостности». Если что и изменилось, так масштаб, и не только числом людей, втянутых в нынешнюю коллизию, но и размером проблем, неподатливых здравому смыслу. Да и по плечу ли ему, здравому, красный свет, когда проблемы дышат ненавистью предрассудка, однако умеющего изъясняться и на диалекте Просвещения? Тем, столетней с лишнем давности предтечам нашим, легче бы презреть, заклеить, проклясть. Так нет, не уступая, шли навстречу.

И у Щедрина не голые упреки, не нравочение, а нечто, на первый взгляд, даже удивляющее — настойчивый зов к молодым: вы уверены, что то, что провозглашаете, суть убеждения, так будьте в таком случае последовательны в них! Вы «готовы со всем Русским народом отстаивать до последнего издыхания неприкосновенность «Русской земли», что ж, «молодые политики», «если вы действительно думаете, что без вашего участия такого дела решить нельзя, то не останавливайтесь на половине дороги и помните, что вера без дел мертва есть». «Да, дело писания заявлений с каждым днем становится труднее и труднее. Для этого мало иметь приятный слог,

но необходимо знать, что именно желаешь и какие имеешь в виду практические средства для осуществления этих желаний...»

Эзопов язык? Не надо преувеличивать. Щедринский подтекст прозрачен. Где намек, там боль. Где боль, — там горечь призыва без ближнего (в сроках) отклика; там бессилие вкупе с сознанием того, что демократ, чванящийся превосходством мысли и сердца, теряет не только вчерашнюю паству, но и себя, сегодняшнего и завтрашнего.

Самоутрата — наказание без преступления. И — единственная доступная свобода.

К ней, чтобы снова от нее — в призыв, в схватку. Лоб в лоб — с притязанием на все имперством, с народом-конформистом поневоле и по хотению.

Эстафета — от тех могил к нам, еще ждущим...

VII

Обрыв. Запнувшееся слово. Стена неизвестного берега. Два смысла в одном.

Веруешь?

Теист, атеист, деист — лишнее вычеркнуть. Вычеркиваю подряд и затем также подряд восстанавливаю.

Что же побуждает черкать и возвращать? Близкая встреча с тем, от чего не уйти, хотя и отклоняешь остаточным жизнелюбием? Пожалуй, нет. Что-то другое. Все-таки другое.

...С юношеских лет поселилась во мне потребность узнать (и понять!) *ситуацию Иисуса*. Кто тот — безусловно живший, посмертно живой? И что стряслось там, на палестинском пятачке, чтобы с такою силой вломиться с последующего человека?

Вопрошающий, я не был тогда евреем. Знал, но не ведал. Быть может, отталкивал это знание, но все же не из страха. Скорее — следуя комплексу Маугли. Безучастный к тому своему, что только свое.

Этим долго держался. И удерживал проросший во мне вопрос, к какому лепились другие, подбрасываемые профессией и участью моего поколения.

Самоочевидность теснилась сомнением. И в него попадали уже не «эпохи», а эпоха: общность, в которой тесно

всему, что составляет ойкумену. Запнулся о всемирную историю — не корешок ли очередного тома, не больше?

Кто в XXI-м поверит, что разность людей могла придти прозрением. Спасительным выходом из тупика, освобождением от рабства (и радости!) всеобщего согласия.

...Когда же судьба, окопавшаяся на Лубянке, стала отнимать молодых друзей, на стол легли — Ренан, жизнеописание «апостола необрезанных»; послания Павла — клином в сознание.

«Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего?»

Юродство той, первой ереси, — не тема, а суть. Суть истории: страсть, обращенная в норму внезапность. А вечное ныне — в будущее, которое «подбирает» себе прошлое.

В Иисусовой ситуации разве не самое кровное ей — пролог? Или только русское, российское это — жизнь как вход, вход и только?

От еще недочитанного диалога Пушкина с Чаадаевым. От близости в распре Белинского и Гоголя. Сквозь Девятнадцатый — к Двадцатому, который Россия ныне уводит...

Куда? Либо сам вопрос стал избыточным, лишним?

VIII

Снова Щедрин.

В том же 1863-м, спустя два месяца после диалога с «молодыми политиками» — обзор, начинающийся размышлением о «Тайной вечере» Николая Ге, картине, только что выставленной в Академии художеств. Позволю себе обширную выписку, столь созвучен текст тому памятного расколу того памятного года — и многих из памятных после.

«Картина Ге изображает [...] момент события, когда уже «Тайная вечеря» окончилась. Иуда удаляется; от всей его темной фигуры веет холодом и непреклонною решимостью; уход его сопровождается скорбью, недоумением и негодованием со стороны прочих присутствующих, но он лично, очевидно, уже стал на ту точку, когда оставляемый человеком мир не шевелит ни одной струны в его сердце, когда все расчеты с этим миром считаются раз навсегда поконченными [...] Да, вероятно, и у него были своего рода цели, но это были

цели узкие, не выходящие из тесной сферы национальности. Он видел Иудею поработанной и вместе с большинством своих соотечественников жаждал только одного: свергнуть чужеземное иго и возвратить отечеству его политическую независимость и славу. Все остальное, все прочие более широкие цели были для него пустым звуком, праздным делом, скорее препятствовавшим выполнению пламенной его мечты. Нет сомнения, что и он не без тяжелого чувства пришел к уяснению своих отношений к этому чуждому для него миру, нет сомнения, что и тут дело не обошлось без споров с их внезапною непримиримостью и столь же внезапною возвратами, но как только он окончательно убедился, что мертвое и живое не могут идти рядом, то предстоявший ему образ действия обозначился сам собою [...] Он не мог стать в стороне и молча ожидать дальнейшего хода событий; в нем самом было слишком много содержания, чтобы на одну минуту допустить возможность подобного самоотречения».

Удивительный текст. Защита Иуды? Чуть не акафист в его честь... Но защита ли?... Нет, все сложнее, личнее. Прошлое ожило, представ, однако, не уроком, который достаточно затвердить, чтобы обезопаситься от необратимого ложного шага, а загадку единственно верного решения — да и есть ли оно, единственное, если только не задним числом? Тайная вечеря: прощальная трапеза гонимых, предчувствие развязки, прорицание судьбы. И спор. Сшибка мира, который плоть и кровь, с Миром, которому еще стать кровью, чтобы ею воззвать к воплощению.

А тридцать сребренников — не упрощаем ли, принимая за буквальность «знак», которым мечена проза жизни: корысть полнокровия кратких земных сроков?.. Иуда русского художника, Иуда зрящего мыслителя имеет *«слишком много содержания»*, чтобы мы могли успокоить себя, зачислив этого человека по разряду оплачиваемых сексотов, наемников «закона», исключаящего ересь. На свой лад он, Иуда, творит, и хотя творит он предательство, но движим собственным взглядом на мертвое и живое. Предательством рассчитывает предотвратить измену, заклятием ищущего человека — вызволить из мрака бездействия покоренный и униженный народ. Ведь если живое это этнос, пульсирующий

повседневностью, то разве не мертво загодя все то, что за гранью, все, что тщится упразднить и превзойти этот предел?

В Иисусе Иуда увидел завещанного евреям мессию — и обманулся. Вернее: принял за обман то, что, быть может, распознал раньше других. Ужаснулся всеядности мнимого «царя иудейского», ей наперекор утверждая естественную узость поступка, непреложную ограниченность человеческого действия. Но как раз тут, где ощутил он свое превосходство, именно здесь он впал в грубую ошибку. Он не решился на открытость в споре идей. Он прибегнул к традиционному средству для решения задачи, не имеющей даже отчетливого зачина. Он не хотел поспешествовать Риму-нивелировщику, сводящему все к своему полисно-имперскому устройству, но не понял, что этнос обречен, если непревзойденным останется первенство Рима в совокупной человеческой жизни. И тем менее был он в силах понять, что после Рима, когда наступит час его гибели, человек уже не сможет остаться тем, каким он был до.

...Не смог понять Иуда. А мы? «После Рима» теперь уже — земной шар. Но почему — после?

IX

Какая странная, незамечаемая путаница: будто бы тождество — вид Гомо и человечество. Между тем — несовпадение. Не скажешь, правда: либо одно, либо другое. Иначе.

Человечество — не «антитезою» виду. А альтернативой. Самое альтернатива не отсюда ли?.. Не просто — другой вектор, а вектор как цель, как Проект. Искомое, оспаривающее заданность, от которой не уйти в обиходе, не руша последнего.

Подумать только, куда повернулись бы человеческие дела, если бы одряхлевшему Рах Романа, раздираемому самодовольством душевладельцев и напористым тунейдством «черни», пришли на смену лишь сдвинутые с места варвары и без отклика остались бы безумные притчи бродячего проповедника из Галлилеи...

Это он изобрел человечество — для пространства, ничтожного по сравнению с планетой. Но уже не «отдельного». Изнутри страстной проповеди избранного народа (века

ей счет) — мятеж против избранности. Пробыл час выбора между великой средиземноморской державой, топтавшей (и охранявшей!) принудительную — от рождения — людскую связь, и пространством Времени, где припасено место для любого человека, когда он обретет готовность породниться с любим.

Готовность — и умение! Умение — Павел. Это край разрыва с прежней жизнью, однако умеряемого согласием внутреннего Мира человека с внешним, человеческим же. Опыт еврейской диаспоры, перенесенный в чистое пространство Времени!

Компромисс — частность. Примирение с действительностью — принцип преобразования ее в «перманентно» пограничную, раз навсегда в чуже-свою. «Призван ли кто обрезанным, не скрывайся; призван ли кто необрезанным, не обрезывайся». Бунт без крови...

Вышло?

«Нет» — в разладе с фактами. Гибли с тех пор люди, однако удержались все вошедшие в историю народы. Но как, не поперхнувшись, сказать — «да». Как измерить: на чьем счету больше жертв — у неистребимого этноса, у несостоявшегося человечества?

Чересполосица, смежность... Вызов, некогда брошенный той заданности, что естество человека, — сам давно уже наказ «крестовым походам» во имя универсума веры и безбогости. Но и этнос не дремал, оснастившись инструментарием, рассчитанным на планетарное употребление, и доводами суверенности — из всесветной же копилки.

Там трупы, здесь трупы. Но и здесь и там Голгофа. Здесь и там. Отними её у людей, люди ли? Выморочный человек — человек ли?

Х

...Через чужбину определяется отечество. Всюду так, но, может, не столь остро, как в России? А у нас — острее для евреев? Им всего ближе — человечество, которое дома? Без приюта, без крова, но дома.

Так и это ведь не только еврейское. Пошерсти русский XIX-й, заглянув и в конец предшествующего ему столетия, сразу же в поле зрения окажется космополит с голубой кровью. Не зачислить ли Чаадаева в иудеи?

За доказательством — недалеко ходить. Гимн Моисею (в «Философических письмах») — «самой гигантской и величавой из исторических фигур». Чем же прельщает Басманного философа этот человек из глубин веков, «простодушный до слабости, умеющий проявить свой гнев только в бессилии, умеющий приказывать только путем усиленных увещаний, принимающий указания от первого встречного...»? Этим и люб — несводимостью ни к голой воле, ломающей все препятствия, ни к мягкотелому приспособлению к обстоятельствам, — люб соответствием душевных свойств своему призванию. Чаадаев перебирает расхожие характеристики Моисея: законодателя, чьи «законы находят удивительно либеральными», патриота — то есть деятеля, знающего, что «воздействовать на людей можно лишь через посредство того домашнего круга, к которому сам принадлежишь». Нет, не то. Или это, но как частность, как составляющие целого: сверхзадачи, исполняемой «с такой жизненностью», какая в будущем предстанет уже в виде силы природы, «пред которой должны будут исчезнуть человеческие силы». «Не думают ли, что, когда, заглушая вопль своего любящего сердца, он приказывал истреблять целые племена [...], он был озабочен лишь расселением тупого и непокорного народа, который он вел за собой?»

Не эта ли беспощадность в самопризвании — наследство? Сначала заноза в уме и сердце, диспут с собою, затем монолог и диктат. От одиночек — к поколениям. Самое имя различинство не зазвучит ли Моисеевым обетом, единобожием поступка? Программой-глобусом, даже если осуществиться ей дано не более, чем в волости и уезде — и тут под сомнением?

Так возникает на Руси, как раз с середины 1860-х, особенное сродство — «по революции». А там, где сродство это, там и особенная чуждость.

Катков силился в каждом протестанте опознать польского агента, но если это был действительно поляк, в нем виделась, слышалась коренная Польша. Еще доступно было проходить по этой земле огнем и мечом, но кто-то непременно в ответ: «Еще Польша не згинела». С евреями не так. Они не просто замещают или продлевают поляков (антисвято место

пусто не бывает ...). Русская Россия и евреи — это в преобладающем смысле внутренний вопрос. С конца прошлого века — неубывающая коллизия, где в один узел вплетены «разделяй и властвуй» евразийской державы и особенная горячка отторжения. Та, что горячее не в быту даже, а там, где распоряжаются судьбами... И там, где думают и творят.

Можно пересчитать непосредственные толчки и составить реестр реальных и мнимых причин, удерживающих вопрос «вопросом», но что-то все равно выпадает в таинственный осадок. Объяснишь ли конкуренцией, разностью темпераментов дело Бейлиса (1913)? С одной стороны — те, кого еще Достоевский числил в «черни образованности», с другой — присяжные разных сословий, вынесшие оправдательный вердикт. И там Россия, и тут Россия. Все шире зазор. Все неподъемнее груз стремлений — опланетариться, вплоть до азбуки быта. Все ощутимее «размазанность» русских россиян по лику Евразии. И все таит в себе спертую магму неединства, еще не ведающего своего имени, еще бьющегося в прояснении самого себя.

...Легко ли быть маргиналами человечества? Риск. Риск этот, пока он непроясненный, «темный», легко соблазняется переворачиванием сокрытых трудностей в злокозненность, у которой, по всем исконным правилам людским, должен быть лик противочеловеческий. Домашние «неприкасаемые», этнос-лепозорий.

Но там, где для одних — смрадный смак, у других — непереносимость повседневного существования. Стоит ли поэтому отворачиваться от действительно-мнимых тягот евразийского сожительства? (Автор «Войны и мира» мог их еще не замечать, но уже в чистилище, куда заточены «бесы» Федора Михайловича, все отталкивают друг друга, дабы сообща пре-ступить. Катарсис немотой и каторгою — не предвещал ли он державу в державе, поименованную ГУЛАГ?)

Я далек от мысли возлагать на русский дух ответственность за множасьиеся смерти, бывшие и свежие погромы. Но ищет ли дух этот, если он не модное лицедейство, отпущения грехов причастности? И не коренится ли эта последняя в отношениях между людьми, которые лишь удобства ради мы называем национальными?

...Два десятка лет назад я собирал камешки у столба, символизирующего границу Европы и Азии. Тогда мне не приходило в голову, что граница эта — в каждом из нас. Теперь я мучительно ощущаю ее в себе.

Маргинал в Маргиналии — вот кто он, русский еврей, особый клин в особенном мировом «теле». И оттого внутренняя «диаспора» российская — не просто очередная. Не потому ли она — приглашение к человечеству даже тогда, когда все сущее здесь исторгает эту двухтысячелетнюю идею?

Космополит-Слово и космополит-Человек — когда обручились они, обрехав себя на неразлучность? Впрочем, востребовав и проклятие, притом не на единичных устах...

Если адресуется оно, как правило, еврею, то надо ли сетовать на это или следует этим гордиться? Привычно возвышаются успехами, но не поражениями. И не кощунство ли — гордиться могилами? Не стану называть имена, считать, сколько кого и кто проходит по бесспорно всемирному классу; такой счет по меньшей мере неразумен, он что-то вроде «процентной нормы» навыворот.

Но для отечественного века XX достаточно одного Осипа Мандельштама. А. А. Ахматова о нем: «У Мандельштама нет учителя... Я не знаю в мировой поэзии подобного факта. Мы знаем истоки Пушкина и Блока, но кто скажет, откуда донеслась к нам эта новая божественная гармония?» И Мандельштам — о великом итальянце, что вполне применимо и к нему самому: «У Данта была зрительная аккомодация хищных птиц, не приспособленная к ориентации на малом радиусе: слишком большой охотничий участок».

Подтверждения? Извольте. Одно из... — 1937-й! Сто лет со дня гибели Пушкина, один год до убийства другого Поэта. И его, мандельштамовский, итог без подведенной черты, Памятник, отлитый таинственными строками жизне-верия.

Может быть, это точка безумия,
Может быть, это совесть твоя —
Узел жизни, в котором мы узнаны
И развязаны для бытия.

Так соборы кристаллов сверхжизненных
Добросовестный свет — паучок,
Распуская на ребра, их сызнава
Собирает в единый пучок.

Чистых линий пучки благодарные,
Направляемы тихим лучом,
Соберутся, сойдутся когда-нибудь,
Словно гости с открытым челом, —

Только здесь, на земле, а не на небе,
Как в наполненный музыкой дом, —
Только их не спугнуть, не изранить бы —
Хорошо, если мы доживем...

То, что я говорю, мне прости...
Тихо, тихо его мне прочти...

Осваиваешь глазом, вслушиваешься, вбираешь ритм-смысл; приходит и откатывается, дабы снова вернуться, океанская волна, напоминая о пронесшейся буре, оставившей щепы и — жизнь. Что это — спазм души? Хвала бескорыстному и мудрому ходу земных вещей, по отношению к которому «текущие» невзгоды и страдания не более, чем миг? Либо — предчувствие чего-то неведомого в вечном, что окажется способным сызнава сплести из людских атомов человечество? В любом случае — позыв к небывалому родству, незванному, еще неизвестному. Не «по революции». Не против нее. Скорее — над: в людях. Навстречу им — какой бы высокой ни была цена, а расплата окончательной! И с такой свирепой силой охвачен он вмещаемостью во всеобщее, как и невозможностью им себя исчерпать, что, кажется, будто все мучения и надежды всех людей сосредоточились в нем одном.

Можно ли перевести этот ИСХОД на язык обычного узнавания? Без предшественников, но не без корней. От библейских пророков — бессмертная невянтица... (Откликом внутри меня — шагаловский Исаяя, также с сакраментальной датой: 1968. За два дня до сердечной катастрофы увидел его, а затем, уже на больничной койке, вспомнилось движение ангела, охватившего снизу голову Исаяи. Пришел ли ангел на

помощь ему или, напротив, сдерживает стенания и укоры пророка?)

К тайне наших и не наших Тридцатых! К тайне, которая не убывает от натиска фактов, от устрашающей наготы документа, а возрастает по мере того, как все нахрапистее отчуждаем ее от себя. И убеждаемся: отдельное, заключенное в одной судьбе, проясняет универсум куда глубже, чем самая изощренная и выписанная суммарность.

Оттого и не о суммарной русскости речь и не о суммарном еврействе, а об их встрече и о споре их, обрываемом насильем и несправедливостью и вновь возобновляемом.

Где мы сейчас — на пороге развязки или снова в прологе?

XI

Но если диалог, который всегда спор, в каком всегда (ежели — диалог!) место выбору, то что в данном, нашем случае его предмет?

Озадачимся, и уже это будет шагом вперед. Шагом для евреев, еще не отвыкших от узаконенного притеснения (отвыкнут? дадут отвыкнуть?). Шагом для русских, кому освоить ли, принять ли роль париев собственной державности и даже гонимых в бывшем Доме?

Отдельно — и вместе. Продвигаясь к трудному признанию: русскоязычной, русскоживущей культуре (культуре жизни и смерти, культуре-коллизии равенства и свободы...) показан еврейский ингредиент. Не больше, чем ингредиент, но и не меньше. Не больше, ибо лишь в составе русской культуры дееспособно ее еврейское начало. Не меньше, поскольку незаменимо оно иным.

В самом деле: не еврейское ли в русском — сопротивление унификационному синдрому? Не еврейский ли (корнями и обстоятельствами) вклад в неизбежное русское «примирение с действительностью», в каком всегда — опасность впасть в небескорыстное приспособление, — опасность эта, но и упрямство, и воинственность во внутреннем отпоре соблазну? Не еврейская ли «двойная» маргинальность снимает немалую долю общего этого бремени, оттягивая на себя усталость культуры от давления российского пространства?

...Впрочем, мои «вопросительные крючки» отнюдь не риторические. И данто-мандельштамовскую дальноркость, «не приспособленную к ориентации на малом радиусе», воспринимаю не как образец, притом недосыгаемый, а как искушение, с которым в схватке добрую часть своей жизни, и не уверен, что у схватки этой будет конец, кроме положенного всем людям.

На этом можно бы и поставить точку, если бы не лава, не шлаки 1990-х. Сейчас поздно исповедываться, что упустили рубеж, когда еще можно было заместить «единую и неделимую» со-жтием пробудившихся родословных. Да и усомнишься — был ли такой рубеж? Преждевременен ли нынешний развод, либо напротив, запоздал?.. Не ответишь, не оглянувшись вокруг, не вобрав в поле зрения планету: дальнюю и совсем близкую. В нашем Доме накренился Мир, из наваждения симметрии (что иное «холодная война»?) перешагнувший сразу в кособокость несхожих миров. В гигантскую психушку с наспех выкраиваемыми смирительными рубашками коллективного спасения.

Вопрос без ответа: ушла ли окончательно в небытие сочлененная историей, связанная духом Евразия или этому «телу», некогда вломившемуся напрямую в мировой процесс и затравшему в нем на века, еще предстоит стать новым Пограничем — всем и всему на свете?

Ответа нет. А время торопит. Мы немного можем ныне. От нас нынче многого ждут.

*

Не-свой — кровный вопрос. Навязанный — впущенный внутрь. Все-таки, значит, свой. Не отрещиваюсь. В минуты духовного смятения внятнее голос предков, зовущих услышать «ось земную, ось земную».

1991-1993, 1994

Революция не связана с евреями, но приходит на память ряд: от Иисуса к Марксу, от него — к Ленину с его четвертушкой.

В еврейском духовном мире — в отличие от христианского — нет столь выраженного места для движущей веру ереси, но есть в гораздо большей мере индивидуализация. То есть индивидуализация в пределах канона...

А если на момент освободить себя от всяческих предрассудков и представить, что антисемитизма вообще не существует? Был бы в таком случае еврейский вопрос как некая заноза в теле культуры? Связанная с особым типом рефлексии, с определенным речевым поведением, со своим способом перевода мысли в поступок? Исключить нельзя. И с этой точки зрения антисемитизм извращает естественное чувство человека — притяжения и отталкивания; отталкивание от других, столь присущее всем в каких-то рамках... Разве не извечно соседствует и борется в человеке одновременная потребность в со-обществе и отталкивание от чрезмерной близости близких? Не это ли когда-то гнало одно племя от другого, центробежно раскидывая людей по планете? Не это ли единство притяжений-несовместимостей в истоках со-бытийности — от семьи до народов?

КЛАССИКА И МЫ

Памяти Инги Баллод

Тексту, который ниже, исполнилось больше десяти лет. Нужен ли он сегодня кому-либо, кроме автора? Это всегда щепетильный вопрос. Желаемое «да» теснится многими «нет», среди которых самые необходимые — движение времени, обилие перемен, отодвигающих даже сравнительно недавние события за кулисы памяти, чтобы одновременно извлечь оттуда на сценическую площадку ожившие призраки, тени былого. Современная ностальгия по прошлому особенно склонна к таким перемещениям, и эта склонность нередко и все чаще, по умыслу и без оно, подменяется выборочным возвратом назад — со своими полускрытыми табу и скоропалительными прозрениями, которые только по видимости сближают читающих (и смотрящих) с той «незнакомой землей», где обитали их предки. Как бы не угодить в эту избирательную память.

Но как раз внутреннее отталкивание от нее, от ее выборочности, разорванности и раздерганности и явилось тем решающим мотивом, который побудил меня вернуться к написанному некогда в горячке чувств и мыслей, обгонявших друг друга и оттого придающих этому тексту вид довольно загадочный ныне даже для меня самого. То ли это бесконечный, с перерывами, ночной монолог, то ли односторонний разговор с другими, притом сугубо разными другими, с какими хотелось не только и даже не столько спорить,

сколько объясниться, невзирая на то, что у иных из этих разных, вероятно, не было (да и нет) встречного желания. **Откровенность без расчета на откровенность** — это в не детском возрасте, разумеется, странно. А так как эта странность наверняка затруднит читателя, то я хотел бы ему вкратце рассказать, при каких обстоятельствах моей и общей нашей жизни родились эти разросшиеся заметки на полях давнишней и по теперешним меркам незначительной схватки.

Надо бы изложить все по порядку, но что-то мешает сейчас это сделать. Тут и тоска, и память об уже ушедших, и еще нечто, вызывающее образ детских лет: жюльверновскую бутылку в море, обросшую тинной и ракушками, просолоневшую от дальних странствий. Что там, в этой бутылке? Весть о пропавшем? Последние слова гибнущего, кому, вероятней всего, уже нельзя, уже поздно помочь?.. Однако то, что именуют совестью, а может, также и страсть вмешаться в неумолимое, оспорив его, подталкивают: спешите на выручку, скорей, скорей!

Моя бутылка совсем не вековой давности, но вода времени, просочившаяся внутрь, уже порядком попортила текст. И оттого читается он отдельными фразами, словами, междометиями. Догадываешься, что речь идет о «дискусии», мелькает таинственное ЦДА, и даже дата сохранилась, наводящая на недобрые ассоциации. Одно за другим возникают: «Объединение критиков и литературоведов», «Классика и мы», «Председатель — Е. Сидоров», «Вступительное слово — П. Палиевский», а сверху: «21 декабря». Проверки ради смотришь в лупу: нет, действительно так — этот день этого месяца, столь памятный по еще неистлевшим календарям и прочей отечественной атрибутике. Так ли захотелось устроителям, либо просто сошлись дата с намерением — обсудить «художественные ценности прошлого в современной науке и культуре», — так оно или иначе, но из совокупления даты и темы (позволим себе предположить это в иносказательном смысле) и народилась дискуссия, какая в иных местах именуется «творческой», в других «экспериментальной» — «Нам позволили ее провести, так как хотят посмотреть — способны ли мы на такую дискуссию, зрелые ли мы». Кто «хочет» не прочитывается, а может, там и не требовалось сие, и так было

понятно, но имя говорившего — почти всеми буквами: «Ф. Кузн...в». А дальше слова, слова, слова, складывающиеся в строчки: «Как бы ни относиться к 30-40-м годам с политической точки зрения, но следует помнить об историческом повороте к русской классике, который произошел именно тогда. Был, по-видимому, написан самый великий роман XX века «Тихий Дон». Писал Булгаков, да-да, я подчеркиваю — писал и написал, это гораздо важнее, чем напечататься». «...Именно в 30-40-е годы и произошло слияние классической традиции с народной культурой». И еще — об «авангарде»: «Новый метод — умелый захват общественного мнения. Умелое применение к власти, кнут и пряник...» (Расшифровываешь и смекаешь: раз в 1930-40-е на смену «авангарду» пришла классика, «именно тогда» слившаяся с народной культурой, то, стало быть, ушли за ненадобностью и «захват общественного мнения», и «умелое применение к власти, кнут и пряник...»)

Судя по расположению в тексте, упомянутые мысли принадлежат автору вступительного слова. А дальше — пестрое, но равно «творческое» и «экспериментальное»: «Мне неинтересно, какой национальности были Мейерхольд и Татлин... Я не за то не люблю Мейерхольда, что он еврей (реплика из зала: «Мейерхольд — немец!»)... мне неинтересно, какой национальности те режиссеры, которые извращают русскую классику...» Сидоров: «Ты не можешь судить об этом, Вадим. Признайся, ведь ты не ходишь в театры». Кожин: «Я не хожу, но моя жена недавно пришла с постановки Эфроса вся заплаканная оттого, что этот режиссер сделал с Чеховым... — а от театра до нашего дома 15 минут ходьбы, у нее вот такие слезы катились...» И после обрыва (то ли кто-то перебивал с места, то ли вода, что в бутылку просочилась, сделала свое дело): «Недавно я рецензировал работу, посвященную испанской литературе XVIII века. Там было написано, что в этот период был разгул реакции, поэтому мало хороших писателей и нет великих произведений. Но между прочим, в это время в Испании было тихо и спокойно, правил какой-то король... А вот XVIII век в Испании как раз и ознаменован страшными насилиями, но в то время были Сервантес, Кальдерон, Лопе де Вега». (Иной

читающий сейчас, спустя десять «застойных» и «перестроечных» лет, может, и вскричит: вот они когда начали... А я, разбирая тот отрывочный текст, признаться, даже не озлобился, подумавши: тут-то бы и настоящему спору — и о человеческой трагедии вообще, и о том, отчего в ней так часто самое высокое приходится на времена обвалов и падений. И наши собственные «страсти-мордасти», в этом свете рассмотренные, многое бы нам разъяснили.)

Дальше — строчка за строчкою из уцелевших. Смотришь — не одни ретрограды, захватившие инициативу, в атаку тогда шли, была и «активная оборона». Была, была и оборона, правда, бескровная и не шибко активная, а уж о «контрнаступлении» и говорить не приходится, не было его, поелику и плацдарма для него не нашлось... Разбираю, переносу на лист: «Палиевский — критик талантливый, я люблю его читать. Но мне кажется, что разговор у него был зашифрован... Зашифрованы были прежде всего нападки на Маяковского... Сказал бы честно о желтой кофте. Я был у мамы Маяковского, она мне сказала, что Володе не в чем было выступать и из куска старого занавеса соорудили пресловутую желтую кофту... А в действительности он с юности был истинным большевиком». А вот из другого говорившего: «Мне интересно читать Палиевского, нас объединяет общая страсть к рыбной ловле... А в его сегодняшнем докладе меня поразила робость, нежелание определиться на площади». Впрочем, не произвол ли так — кусками — цитировать? Но бутылка ведь; к тому же и другие строки у тех же ораторов расшифровке поддаются — и уверенные строки, и даже оптимистические. У второго из ораторов, например, концовкою: «Я пришел сюда с ощущением великолепно меняющегося времени (год 1977-й — М.Г.), времени, которое дает разным режиссерам, вне зависимости от состава их крови, право по-своему ставить классику. Времени, когда повернуло на «ясно», когда все хорошо! И в такой момент докладчик, к моему удивлению, бросает в зал некий мрачный литературный SOS». И еще — из первого из тех двух ораторов, что от «зашифрованного Палиевского отреклись»: «Среди левых на Западе распространено представление, будто патриотизм — последнее прибежище негодяев. Против него всегда выступала

русская культура». Тут уж, согласимся, вполне хорошо, не правда ли? Так откуда же тоска, не только тогда меня охватившая, но и нынешняя, в совсем будто иной год?

Она, тоска эта, не от слов, и даже не отдельных знаков смысла либо без-смыслия, а от склада этих слов, от их звучания, от рекущих уст. Конечно, по былой мерке, той, с которой в жизнь вступил и в ней существовал многие годы, — по той мерке все ясно: кто здесь ретроград, кто — прогрессист. По той мерке — да. А если и сама мерка сдала, треснула, и от нее отваливаются уже не какие-нибудь второстепенные слова, а корневые, заглавные? На чью сторону встать? И может, этот «мрачный литературный SOS» именно тем, что SOS, оказывается ближе мне, хотя и вовсе не из близких уст раздается?

И одно место из того текста особо запомнилось. Оно даже не место, а вопль, и хотя на бумаге вопль от шепота не отличишь, но именно таким оно врезалось в память, отделяясь и от натужных громкоговорящих, и от вслух отмолчавшихся. «...Начиная с первого выступления, меня начало трясти. Второе было продолжением первого. Если эту линию не прервать, то третье будет чудовищным... Ваша воинственность замешана на чем-то дурном... Опасно, опасно играть такими вещами. Я молюсь на наше время за то, что оно перестало играть такими вещами». Помогли ли ему (и нам) эти молитвы, смахивающие на заклинание, на самовнушение? Сегодня вроде бы и ответить нетрудно, и в ответ войдет судьба молившегося, злокозненная судьба, какую также в одну рубрику не загонишь. Это человек не знал тогда, что ему осталось жить считанные годы. Имя его уже упоминалось выше, он тот самый режиссер, с постановки которого жена другого, ныне весьма активно существующего оратора уходила, не прерывая рыданий в течение пятнадцати минут, какие отделяют их дом от театра... И его, того режиссера, речь, речь-стон, звучащая ныне как завещание, она для меня — где-то рядом с тем «мрачным литературным SOS», и это уже не он, покойный, а я, еще живущий, спрашиваю: отчего же рядом, а не вместе — стон и SOS?

Понимаю, что никак им вместе не быть, но почему-то вопрос этот не уходит, бередя старое, незаживающее. Оттого бутылка в море — не игра, а всерьез. Как весть о пропавшем,

кто не дождался спасения. Как боль за тех, кому грозит гибель заживо... Что остается сказать? Хотя я слегка сократил прежний текст, но изменить его строй, его лексику уже не в силах. Не в силах очистить его от темных мест, будто закодированных ссылок на события и людей. Доверься, читатель, — не от цензуры спрятаны они. Так писалось. Писалось как раз для внецензурного свободного московского журнала, который назывался «Поиски». И *«сей журнальный лист»*, упоминаемый в начале статьи, — это именно поисковский, тогда преследуемый, с уже заведенным на него уголовным делом...

Вероятно, столкнувшись в тексте с «блаженным академиком», читатель без труда опознает в нем Андрея Дмитриевича Сахарова, уже ушедшего от нас, уже потерянного нами, но боюсь, что в «безумном генерале» не все узнают уже отбывшего также на тот свет замечательного человека наших Шестидесятых - Семидесятых Петра Григорьевича Григоренко. Впрочем, уверен — все станет на свое место — раньше или позже. И никого не удивят, например, слова о Лобном месте, ставшем «заново — из музейного историческим». Демонстрация 25 августа 1968 года, устроенная там, напротив Спасских ворот в честь Александра Дубчека и его сподвижников, устроенная несколькими женщинами и мужчинами, будет отмечаться вселюдно как символ неутраченного гражданского достоинства, как один из предвестников нашей общей победы — над страхом и над бессилием. Да оно к тому и идет, мучительно, правда, но идет, — разве не так?

Сегодняшний день подстрекает: исключи неоправдавшееся, риторические вопросы с мрачным оттенком. Ведь тот «безумный генерал», что не проторил дорогу крымским татарам к домашнему очагу, все-таки достиг этого, хотя и посмертно. А Дело «блаженного академика» дало и всходы, и даже зрелые злаки уже при жизни его: и «холодная война» (с ядерным запалом!) пошла на убыль, и опустели лагеря, предназначенные для узников совести. К чему же те строки в тексте, публикуемом спустя годы? Соображение очевидное: вымарашешь одно, подчистишь другое — уже не тот текст. Быть правщиком собственного духовного опыта, каков бы он ни был, — роль незавидная. Но есть и доводы посильнее. Когда

к жизни возвращаются ее права, не дремлет и смерть, обновляясь на свой лад. Я не о естественной смерти, даже если приходит досрочно, тяжело рана живых. Я о смерти-убийстве, об основоположном грехе. Человек — убийца от роду, но и человек он — в меру того, что преодолевает заложенное в нем. Не единым разом, а — эпохами, поколениями, работою духа. Преодолевает, ибо не защищен от возвратов. Ныне в самом разгаре — новый возврат и новый труд преодолевания. Везде, и у нас дома также. У нас сегодня в особенности.

И оттого порыв — предать гласности старый текст. С нескромным желанием: может то, что мучило меня в конце 70-х, найдет отклик не только в согласных со мною, но и в несогласных. Хотя бы в одном из них.

...К первоначальному тексту я добавил посвящение Инге Баллод. Она была мужественным журналистом, неутомимой защитницей гонимых людей. Я убежден: проживи она еще немного — полностью раскрылось бы и ее писательское дарование. Была она настоящим другом. Ей нравился этот текст. А так как была редкостным жизнелюбцем, она убеждала меня в самые тяжкие годы: поверьте, время придет, Вас напечатают и поймут. Я не уверен в последнем. Но лучшего способа отметить память Инги, чем посвятить ей эти страницы, у меня нет. Отпущенные же сроки сокращаются.

30 января 1990

* * *

Для иного наблюдателя все явления жизни проходят в самой трогательной простоте и до того понятны, что и думать не о чем... Другого же наблюдателя те же самые явления до того иной раз озаботят, что (случается, и даже нередко) — не в силах, наконец, их обобщить и упростить, вытянуть в прямую линию и на том успокоиться — он прибегает к другого рода упрощению и просто-запросто сажает себе пулю в лоб, чтоб погасить свой измученный ум вместе со всеми вопросами разом. Это только две противоположности, но между ними помещается весь наличный смысл человеческий.

Ф.Достоевский

Александр Иванович Герцен!.. Разрешите представиться... Кажется, в вашем доме... Вы как хозяин в некотором роде отвечаете...

Изволили выехать за границу?.. Здесь пока что случилась неприятность...

Александр Иванович! барин! как же быть?! Совершенно не к кому обратиться!

О.Мандельштам

Припоминается, что Россия реалистическая страна.

П.Палиевский

Вспыхнул и отшумел спор, который, впрочем, не спор. Спор значит — спорящие налицо, а где они? Нынче — где? То есть вроде бы есть: о двух ногах и с речевым аппаратом без выраженной патологии. Но спорящие ли?

Не узнавши, как продолжить? Однако что, собственно, и узнавать?

И без того известно. Ежели диалог, то две стороны, сторона же — это люди, у каких на лбу не написано: «прав», «не прав». Без инаких, несхожих, к чему и сам спор, тот ли, этот ли? Можно и без залы для поисков, и без журнального листа с той же целью. Но это только так, прибаутки вроде: ни залы, ни листа. Поелику без них никак; для спора также пристанище нужно, и для самого спора, и для равенства в споре. Одно дело самому себе доказывать, самого себя спрашивать, и совсем другое — вслух, разные голоса в ответ различая, голоса и доводы, голоса и сомнения. Но как раз тут у нас и неувязка. Зала-то есть, и не одна, но не для разных голосов, и выходит, что чистый мираж она, и даже в таком, самом что ни на есть привилегированном месте, как знаменитый Союз при Литфонде, где допускаются и «экспериментальные дискуссии», и иные эксперименты, спланированные и вовсе беспланные, почти самозванные, — так и там мираж, именно там-то и мираж.

И оттого сей журнальный лист, пожалуй, единственный не-мираж, чреватый... и обязывающий. К прямой речи, к открытому забралу. И к будто противоположному, перо само выписывает — к терпимости.

Но — нет. И не потому, что не наше это дело, не так воспитаны; пора б и подвоспитаться. По совсем иной причине — мало этого. Вчера вроде достаточно бы было, если б было,

а сегодня смотришь — недостаточно, и недостаточность эта — западня из самых скрытых, самых коварных.

Уступить бы рады, но что и ради чего?

Согласиться всем нам, чего бы лучше, — но на чем?

Однако при чем тут все-таки действо, разыгранное на подмостках ЦДЛ? По всему видно, не дискуссия, не диалог, даже не сшибка ответов, а уж о вопросах и говорить неуместно. Не то занятие, не те слова. Развлечение в кругу избранных, маленький светский скандалчик, не первый и не последний дебош «у Грибоедова», неизвестная главка из романа блаженных Тридцатых годов, столь милых сердцу Петра Васильевича Палиевского, — разве не так? Разве больше чем эпизод, на какие особенно щедра наша публичная жизнь? И шум-то из-за чего?

...Классика и мы. Вечная тема. Вечная, а по нужде и дежурная. Неизменные страсти, которые, впрочем, и симуляцией их готовы стать. В самом деле — что более относительно из безоговорочного, чем классика? Назад глядя — в единственном числе, сомкнутая в общий ряд (слева направо, справа налево — равняйся!) Но так ли? Факты вопиют: не так. Чужие факты и свои, свои даже больше: виднее, больней. Пушкин и Тютчев — идиллия? Знаем, что нет. И недоумеваем: что помешало им быть «современниками»? Возможно, в самом вопросе ответ. Пришла пора совпадений во Времени, пора небывалой близости. Потомков с предками. А стало быть, и предков друг с другом...

Так и породнились сегодняшним днем Пушкин с Тютчевым. И разве только они? Школьник не спутает: Достоевский со Щедриным и жили и писали в одно и то же время. Но чем измерить их родство в противоборстве? Тематами, «предметами» или силою сердечной и умственной боли? Взаимными прозрениями или также взаимным бессилием ответить на конечные вопросы, а еще — всего больше — невозможностью уйти от них, конечных, раздробив на сиюминутные, частные, прикрепленные к своему стану, обособленные «своей» Россией?

Сквозь век Деятнадцатый к Двадцатому — великие односторонники, каких не знала, вероятно, ни одна из человеческих цивилизаций. Великие односторонники, раз-

бившие душу и ум о непостижимость целого, что лишь значитя отечеством в отечественных границах, на деле же и шире и дальше... Но не до безграничности ведь, а если и в самом деле — без границ (вся человеческая вселенная!), то как постигнуть ее, безграничную, чтобы не потерять ее же — в людях: читающих, внимающих, способных внять (не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра); а вместе с ней — не потерять бы ненароком и себя, а с собою... опять-таки ее, все-таки ее — ту Россию, какой несть числа в верстах и людях, великую и страшную, близкую и чуждую, узнаешь ли загодя — кому она ближе, кому чужей?

Размолвки, разрывы, одиночество, секты, вражда... Что породило Блока и Мандельштама, Маяковского с Есениным — смерть или также последнее слово перед смертью, последние муки слова, и снова неподвластность смысла, и вновь измены его?

И потому, и вопреки сказанному — не классики. Классика. Из этих мук и различий — одна, единственная.

Так ведь и это не вполне так. Совсем недавно как будто и в самом деле была она одной-единственной, сегодня же вновь в дележку пошла. Сегодня заново: чья она, классика? Спрашивается — кому принадлежит, а подразумевается — кому принадлежать не вправе. И потому не случайность, не оплошность, не привычкой к расхожим этикеткам: «Классика и мы». В самую точку: мы. И не в том загвоздка — жива ли она (будто может жить и ожить сама по себе), а в том — *живые ли мы?*

Как ответить, чтоб не соврать, даже наедине с собой (особая ложь, очень облегчающая ту, наружную). Даже наедине — как признать: *не живые*. Не мертвые и не живые. Посередке; временно ожившие — и середка эта на всю оставшуюся жизнь. Оттого, верно, и с классикой у нас отношения ни на кого не похожие. С одной стороны любовь и почтение, можно сказать — без удержу. И к собственным, своей эпохи мертвецам отношение сильно улучшилось; даже совсем недавних, досрочно умерших — в классики, и без промежуточных возводящих инстанций. Зато с другой стороны... О, другая сторона эта велика и обильна, со множеством ликов и личиков. Тут и сокрытие заговариванием, и

забвение посредством телебюстов и юбилейных венков; и, разумеется, охрана. Охрану — к классике! Да понадежней! Анкетой, понятно, в таком деле не ограничишься, старшины сверхсрочной службы тоже не ко времени — огрубят, да и сгребут при первой угрозе. Нет, здесь верные нужны, на верность испытанные. Тут... как не вспомнить невянущее: «прогрессивное войско опричников». Метлы в ход!!

Глядишь, и сама классика как-то изнутри сплачивается. Олимп тесен. Рука зудит — чистку бы там. Случайных, не по чину выдвинутых, не оправдавших доверие и просто не своих — вон! Классике просторнее, и нам сподручней. Мы ей подмогли, она к нам на выручку, при случае и дубинкой сподобится стать. Притом не просто дубиной, опять-таки — не те времена. По нынешним — она вроде без сучка и задоринки, всяядная, что ли, едва не универсальная: ею и «обыкновенный марксизм», и самое рядовое мракобесие, и оно же рафинированное, все в арабесках, — и те, и другие, и третьи пользуются, а иной раз и вовсе смыкаются в одну нестройную колонну.

А авангардизм, а модернизм чем вам не дубинка? А их будто в ход не пускали, а если и не пускали в их настоящую силу, то все еще в нашей власти (коли власть — мы), надо будет — запустим, самнистрировав для того предварительно, — и тоже по темечку, по темечку. Может, и без летального исхода обойдется, но уж одним-то эти дубины и дубинки (классические и неклассические, ГОСТовские и самоделки) всегда наградить готовы: немотой.

Особенной — *нашей*. Говорим, а немые. Шумим, заглушая иной раз друг друга, а слов — человеческих — не слышно. Онемели на те самые слова, которыми бы к тому самому смыслу пробиться, что вроде бы и наличный, но нет его. Присутствует отсутствием. Ухватили было, однако удержишь ли, коли руки дрожат? А как не дрожать им, коли ум измучен и снова — все вопросы разом? Либо один, остальные в себя втянувший...

Подходит ли: что делать? Пожалуй, нет. Репутация у вопроса неважная. Делать что-то, разумеется, нужно, вот как нужно, но самое деланье под вопросом. Может: как жить? Так и жизнь уточнения требует, и не просто данная, а сама

по себе — Жизнь. Скорее: *кто мы такие и что же мы такое?* Откуда — и зачем? Мы все. Здесь. И ответ будто рядом, совсем рядом с тем, чтобы «просто-запросто пулю в лоб», однако знаем, что не по-человечески это, против естества, и одним маршем к «трогательной простоте», которой и вопросов этих треклятых не нужно, и слов особенных, на худой случай одними междометиями перебьется. Трогательная, она и есть немая.

Тогда решиться — и заговорить! В споре, спором!!

Спору приоритет, поскольку в спорящих нужда. Им — в «Доме Герцена» тот спор впрок, и нам. Спор — переспоривание. Жизнь идет, продолжение следует. Так. Но...

Запах смущает. Чем-то смрадным, дурным потянуло. У обоняния своя память. И она нынче лихорадочно перелистывает календари назад. 1963-й? Эрнст Неизвестный, Манеж и Хрущев? Нет, пожалуй, страница не та, она сама не своим отрыгивает. Еще назад... 1952-й? 1949-й? 1946-й? Да, здесь. Мы на месте. Мимо не пройдешь. Чересчур много примет. Меньше, правда, много меньше крестов и безымянных могил, чем в 30-м, 37-м. Но скованных уст, но раздавленных душ, но сызмальства совращенных — меньше ли?

Последних особенно. Совращенных у порога так называемой сознательной жизни; тех последних, кто у нас сегодня кандидатами в первые, их черед подошел (закон природы!), а что без совести они (именно: не бессовестные, это уже второй очередью, и тут свой ранжир, а без совести — за неприложимостью ее, а раз неприложима, значит, и ненадобна, и это уже поголовное, неперемненное, селекцию направляющее), то опять-таки не их тому вина, а давнее, проклятое время виною. Оно — и Он. Он, что также был на пороге — своей ли смерти или общей, вселюдной? Впрочем, 46-й, 49-й — лишь преддверие. Лишь вступление к 52-му, которому также бы быть прологом или уже развязкою?

Анафема Зощенко и Ахматовой, отлучение Василия Гроссмана — это все-таки лишь отработка сценария, *репетиция главного акта*. «Холодная война» — она ведь по самому зачину своему в горячую рвалась. Извне вовнутрь — оно вроде бы заметней (и надо было, чтоб заметней!). И изнутри вовнутрь — тут какова цель?.. Ждал пополнений Архипелаг.

А может, уже и не сам Архипелаг, а особое, вновинку и в устрашение всем, заполярное гетто? А может, и это мы так говорим лишь потому, что дальше воображение не пускает, «экстраполируя» привычное; дело же шло к н е п р и в ы ч н о м у (даже для Него), к неподконтрольному — ни для кого в державе, ни для кого на свете.

Началось же, помнится, тогда с этого самого: «Классика и мы». И не на тех ли самых подмостках началось? Или ЦДЛ нынешний еще не отстроен был после безобразия, учиненного Коровьевым с Бегемотом, не оправился? Да нет — расцвет. Старые имена снова цвели, новые распускались, самое время препятствия цветущему убрать. Почему б впрямь А.А.Фадееву не порадеть за обижаемый формалистами или даже антиреалистами, едва не масонами, Художественный театр? Гордость наша, наша классика, и если даже охромела, то позволительно ли было, вторя уже небывшему Михоэлсу, подразнивать *чайкой*, якобы навсегда улетевшей со старого заслуженного морозовского занавеса? Что же касается способа, к которому прибегнул Александр Александрович, то тоже изобрел ведь не он, интеллигенты всех толков по сей день пользуются, когда на мозоль наступят (или когда заветное слово надо произнести): «Москва, Кремль, Имярек». Куда выше? Потому и за последующее в ответе уже тот, кого выше нет, по крайней мере в наших пределах и в данный момент. В защиту же тогдашнего главы Союза писателей заметим, что и он, искушенный, вряд ли знал, чем окончится начатое уже не вполне им, и для начала не столь уж незаурядное дельце, не слишком невыносимое для совести. Нет, скромное, частное. Всего лишь безымянная статья в «Правде», и посвящена-то была «одной» (!) группе театральных критиков.

Много ли? Не разбиваться же в лепешку из-за нескольких, да еще, возможно, не вполне невинных? А дальше... дальше разверзлась инициатива снизу — правда, по спискам, спущенным сверху, но опять-таки не ордера же на арест спускали. То есть — не спускали сразу. Согласно обычаю нашему (а мы бережем обычай), и это действие эшелонировалось. С перерывами, чтобы перевести дух, чтобы гонители и гонимые освоились с новыми ролями. Чтoб и те и другие вошли в роль!

Да, и гонимые тоже. По мудрому рецепту государственного ума человека, без пяти минут гуманиста и уж, во всяком случае, патриота без сучка без задоринки — незабвенного Порфирия Петровича: «Да пусть, пусть его погуляет пока, пусть; я ведь и без того знаю, что он моя жертвочка и никуда не убежит от меня! Да и куда ему убежать, хе-хе! За границу, что ли? За границу поляк убежит, а не он, тем паче что я слежу да и меры принял. В глубину отечества убежит, что ли? Да ведь там мужики живут, настоящие, посконные, русские; этак ведь современный-то развитый человек скорее острог предпочтет, чем с такими иностранцами, как мужички наши жить, хе-хе! Но это все вздор и наружное. Что такое: убежит! это форменное; а главное-то не то; не потому одному он не убежит от меня, что некуда убежать: он у меня психологически не убежит, хе-хе!»

Вроде бы деталь, заострение стиля и еще — приемчик, дабы преступника расколоть, не вполне обыкновенного преступника, убийцу без корысти, хотя и не без расчета, а какой расчет — не сразу поймешь, не поняв же — к признанию не принудишь. А тут все дело-то в том, чтобы к признанию принудить, к раскаянью, какое с УК совпало бы, а если б и не совпало с тем кодексом («уголовным»), что есть, то другой, какому еще быть, явило бы, оправдало б собою.

А может, и вовсе не в этом дело, может, совсем в другом оно. Может, и убийства-то не было. Не то чтобы чистая видимость, но и не то чтобы очевидность. Не то тут и не другое. Лишь намеренье. Наваждение. Фата-моргана. Вот тут-то и не проморгать. Момент не пропустить. Сей позыв и довести до собственной его полноты, поскольку преступник-то как раз сам и не доведет, и не то чтоб до исполнения, так и до замысла не доведет. И даже не на замысле споткнется, а *на замысле замысла*. Оттого и надобен нам с Порфирием Петровичем (и с тем, чтобы упредил, и с теми, кто вслед ему), — надобен обратный ход: сначала злодея соорудить и лишь затем, душу его ухватив, до замысла злодейского ее и довести. Ею самой и довести. Исступлением до преступления.

Собственно, государственное здесь как раз и начинается. Профилактика, профилактика! Иначе нельзя. Россия ведь. И не в том только дело, что велико пространство и людей немало; как усмотреть за всеми, чтоб не отклонялись, чтоб все на одно лицо были — для удобства управлять. Но не вся суть в этом, а в том она еще, и в том особенно, что развитие есть, и это-то развитие, оно не столько в учреждениях специальных, в них-то его немного или совсем мало, и даже не в слове изустном, хотя им-то прежде всего другого и движется оно, им клокочет, в смятение сердца и умы приводит... Так даже не ими самими развитие это самое на этом самом пространстве себя заявляет, да еще к особности тянется, на исключительности своей настаивает. Но ежели не ими, не ими самими, то чем — сверх? Смешно сказать: человеком. Голеньким. Одна только видимость высокопарная — субъект. Посмотришь же, что у него за душой, кроме древними придуманного и отечественным, с позволения сказать, Искандером повторенного: *omnia mea mecum porto*, — так истинно: только то и носит, что самого себя, только с тем и носится, что с собою. Весь из гордости с манией реформаторства впридачу. Гордится тем, что лишний. А потому и лишний, что гордый. Потому и ненужный, что всем себя навязывает. Ему, видите ли, мало себя и себе подобных, на всю Россию притязает, на все пространство — людское; лишь отъявши его у тех, кто суть держава Российская, обещает не-лишним стать, на меньшее не согласен. Умствует: *Пространство это на Время обмена*. Не может в толк взять, что и то и другое у нас, как у всех, неотделимые, и если чем от других и отличаемся, то тем только, что друг от друга неотделимые, они и от власти не отделяются. У кого пара, а у нас троица: Пространство, Время, Власть.

Сказано ведь: умом Россию не понять. Классикой-то и сказано, и хоть после тысячу раз повторено, но, по всему видно, не всеми освоено. Выучить выучили, а смысл пропустили. Смысл же этот не в России, которую будто не понять, а в уме, какому понять не дано. Вот этому-то, на особность, на исключительность притязающему, как раз и не дано. Рубикон. Перешел — и России нет. России нет — ум потерял... А развитие-то, оно в таком случае чье? Кому

принадлежит? Ежели России, то опять глазомер нужен. Такой, чтоб одним глазом всю ее охватить, и Тихий океан и Кушку наперед исчислив, и чтоб Воркута с Магаданом в нужное место и в нужное время вошли. Глазомер этот опять-таки — Власть. Наша, с любой несхожая. И в том именно смысле несхожая, что недолжному развитию способна должным развитием предел положить. Им держится, поелику им держит. Отчасти, правда, видимостью его, однако и видимость эта и головы и усилия требует, а то и вовсе наоборот: не для показухи оно, должное развитие, а для дела, и опять-таки — державного, всея Руси... И эта-то часть особливо нуждается, само собой, не в ухищрениях, не в рефлексиях разных, а в рвении и еще — в таланте служить, в воображении для исполнения; тут бы этого голого человечка — и к делу указанному, вицмундиром наготу его прикрыв, так ведь не хочет, в клочья рвет, *за насилие принимает и грозится насилием же ответить*. С таким каши не сварить. Совсем иной нужен. Надо б особую породу вывести, а как выведешь, когда матерьяльчика нет, а тот, что есть, — порченный. Отроду порченный. Всякими там преданиями, клятвами на каких-то горах, барской праздностью, тягой неистребимой — к изгойству, к отщепенству, к вселенской панибратчине, а вкупе такой гибридик, что ни лаской не проймешь, ни силою не урезонишь... «А нервы-то-с... вы их-то так и забыли-с!» Кто забыл, а Порфирий Петрович помнит. У него все на учете — и предания, и клятвы, и панибратчина эта, и нервы, и желчь от гордости и ненужности. «Да ведь это, я вам скажу, при случае своего рода рудник-с!»

Случая — не ждать! Лучше, надежней того: самому этот случай сотворить. И не раз, и не два. Творить и творить!

Далеко вперед глядел Порфирий Петрович, куда дальше своего времени. Прямо в наше. И в полно-кровные Тридцатые, и в пусковые Пятидесятые. Куда убежать, скажем, ветерану Октября, хотя бы это уже не призвание было, а просто звание, и не столько обязывало, сколько позволяло? В этом-то последнем случае и вовсе не к чему убежать, но и в первом, остаточно-чистом, непритворно-чистом случае, — к чему убежать, с чем и зачем?

В глубину отечества, что ли? Так ведь не спрячешься ныне, все как на ладони. Сам себя не свяжешь — другие свяжут. И хотя вроде совсем не та эпоха, но не оттого ли «современному-то развитому человеку» не спрятаться в собственном-то развитом отечестве, в той же глубинке те же люди живут, каким не до Родиона Раскольникова и его, раскольниковского, «дикого и фантастического вопроса», не до спасения униженных и давимых — всех до единого и единым махом! Впрочем, почему это им не до, это еще доказать надо, ибо есть и от противного доказательство, то бишь от истории. Там, правда, Родин Раскольников прямо не фигурирует, он и его вопрос, он и Сонечка Мармеладова, без которой и не тот роман, и не тот вопрос, поколения мучивший... Но ежели пристальней — в историю: ближнюю, нашу, — и опять-таки зрочком классическим, платоновским ли, мандельштамовским ли, шаламовским ли, то как раз в этом ближнем пристальном случае снова тот же вопрос, и вновь не прямо, еще подспуднее, — и в том ли тайна, что врозь они стали Родион Раскольников и Сонечка Мармеладова, а если тайна (тайна!), то что самое тайное в ней, как не помеха к встрече их, как их непересекаемость: судьбами, душами?

Если это поймешь, то считай — в самое сокровенное проник: России и Мира, мира России,.. расплатившись за это. Не расплатившись, не проникнешь.

Вот он где — *смысл*. И опять-таки не в метафорическом значении, а в самом непереносном, от какого ход и к хлебу насущному, и к той самой земле, что для мужика всюду Земля, в России же в особенности; смотришь, и проблема проклятая — «в глубину отечества убежит ли?» — каким-то другим боком поворачивается, тем самым, по какому история свой маршрут и прокладывала. В нашем отечестве и прокладывала, то заявляя его, глубинного человека, хозяином этой самой земли — Земли, — то во имя его же, глубинного, отнимая ее начисто. Или только так грезилось, что «во имя», а на самом деле подмена состоялась, и как состоялась, то уже по иному (не Порфирием ли тем же подброшенному или только в ход пущенному) сценарию все пошло, и от раскольниковской «дикой, фантастической» идеи лишь то в него, в этот окончательный сценарий, попало, что соседней, кровнород-

ственной — наполеоновской ли, ротшильдовской ли, батыевской ли — идее соответствовало, какая позволяет ту же кровь, но ради власти размахом в Мир?

Нет, от этого — и после этого — не убежишь, как раз в остаточном-чистом, непритворно-чистом случае менее всего убежишь. В отечестве — «социалистическом» — укрытия нет, а вне его тем паче. И впрямь: с чем и к чему *туда*? Чтобы *оттуда* к прежней чистоте воззвать, ее предъявив Миру как вызов домашнему нечистому? Один-то воззвал, как не вспомнить, да еще один, ныне в память возвращенный, и еще, не столь приметные, но все-таки не в том только суть — сколько их было, *оттуда* воззавших, а в том, что ответила бы им «глубина отечества», если б даже и дошел их голос... Тем же, у кого на *убегать от себя* — запрет, какой выбор оставался? Ту самую «пулю в лоб, чтоб погасить свой измученный ум вместе со всеми вопросами разом»? А если не это, если не успел кто, если не решился, а если и места уже нет для «всех вопросов разом» и от бывшей изначальности осталась лишь «трогательная простота» (простота преданности, простота рвения), — то ею что выберешь или уже не выбор это? Нет его уже, выбора, ни вне тебя, ни в тебе самом. *Ни в тебе самом* — вот где твой «рудник»...

А другому человеку, кто вроде бы и от раскольниковской и от батыевской идеи за версту, а к этому сценарию прикосновенный — так лишь по временному увлечению, а больше по нужде, какую, однако, закон той жизни (весь свет включающей и избавляющей) в добродетель переименовал, в добродетель перевернул, — и вот она пошла, пошла добродетелью на разные лады и манеры: тут и гомологической добродетели до поры до времени местечко нашлось, и яфетической, и звездоплавательной, а об атомной и говорить нечего, тут уж не до поры до времени, а на веки вечные вместилище, — впрочем, как и тем, кто в «инженеры человеческих душ» произведен был и утвержден. Этим, *особо произведенным и утвержденным*, — куда? Уже обывкшим, уже незаменимым?

Психологически не убежит, хе-хе!

Не правда ли: превосходная тема для диссертации, лучше бы для докторской (кандидат, пожалуй, не потянет),

либо для симпозиума — внутреннего, но попредставительней, а для научно-практической конференции так краше темы и не сыщешь. Одна беда — необозримая она. Не поймешь — где ей начало и быть ли концу?

Для удобства хорошо бы сузить. Сказать себе: пройденный день, поскольку отчасти уже и разрешено убежать, в главном же — «психологическом» — разрезе сами себе разрешили. И никаких больше добродетелей этих, что утопиями именуются. Сыты ими по горло. На этих самообманах и самообманчиках жирную точку поставили. Как раз на том, собственно, и сошлись, точкою этой и соединились ныне. Чем еще?

И ведь не по своекорыстию сошлись, а, если угодно, из сознания долга: перед собой и перед жизнью, перед всем, что хлебом насущным зовется; и хотя понятие это весьма расширительное, и сказано даже: не хлебом единым, — но когда о нас, нынешних, речь, то и буквальный смысл кстати, он-то прежде других. И тут уж не до земли, что Земля — одна на всех и для всех. А о той речи, что просто земля, и для того просто человеку дана, чтобы родить ему же — и хлеб, и речь, по которой только и узнаешь: кто ты и откуда. Околица, не околица, но свой предел. Предел — то бишь граница. А ежели кому-то невольно, что граница эта с той совпадает, какую предки нас наделили, то прощения просим. Не по пути. Не по пути-с.

Хорошая вещь — ясность. Ради нее и пострадать не грех. Когда бы ясность! Если б не крючок с наживкой, заглотнешь и каюк, — воздуха нехватка. Кому-то Раскольников по ночам с топором окровавленным является, а к кому-то Порфирий со сладкой улыбкою и со словами умильно-жалостливыми: *«Припадочек у нас был-с!»*

Был-с... и весь вышел-с? Точно не скажешь. Про нас, здесь, не скажешь, пока не пробил час. И чему час не угадаешь, но есть знамения. И хотя больше тех, в последнее время как раз больше тех, что сулят не добро и не-милосердие, но ведь и иные знамения есть, какие не то чтобы сулят и даже не то чтобы обещают заслонить от тех, что сулят, однако же...

Сохранило ли Дубчека Лобное место, заново — из музейного — историческое? Не сохранило, не уберегло, да и могло ли? А раз не могло, то стоило ли тому событию быть,

что ни в каких календарях нынешних не отмечено? И опять-таки в не шульном смысле — «стоило ли?», а именно в историческом, поступательном, прогресс сулящем. Вопрос иронией отдает, но в чей адрес она? В тех ли, кто в памятный день на том памятном месте «правила уличного движения» нарушил; так об истории ли думали, на сохранение ли Дубчека рассчитывали? Нет ведь. Проще, проще. Совсем просто: по-другому не могли. Не они, конечно, те танки двинули. И против танков опять-таки бессильные, однако же... Ниточка незримая протянулась — от Высочан к Лобному, а от Лобного к... Не вполне ясно, куда, к кому?

Ответишь ли, не испробовав сызнова, не рискнув? И не одними напастями сроков в добрую часть жизни, но и совестью — выдержит ли, когда на начале нить эта и прервется, как уже бывало в истории нашей не раз и не два (и 19 февраля на памяти, и те судебные уставы, и многое другое, что после, что, начавшись, в обрыв пошло). С другой же стороны... С другой, сдается, лишь на один зубок нам, теперешним, и былой прецедент утраченный, и даже ближняя эта «пражская весна». Что-то *сверх* требуется — неведомое, неназванное, и чтобы опять-таки уместились в этом *сверх* и «исконные» земли, и те, что уже веками в «присоединенных» ходят, и те, кого при нашей жизни в лоно вернули (и еще с прибавкою), — все они, да и нынешние «вольные» Воркута с Магаданом.

Разгадкою всем загадкам нашим это самое *сверх*: отечественное и всесветное — врозь и вкупе.

В знаменитом пушкинском стихе, или притче, или покаянии с сказкою — там сначала бес-одиночка, и не очень страшенький — так, забудьга, дебошир, пересмешник, любитель розыгрышей. Сначала один — и лишь затем во множестве, считать не пересчитать, и уж иного свойства они. «Бесконечны, безобразны, / В мутной месяца игре / Закружились бесы разны, / Будто листья в ноябре». Бесы разны — какое из слов в курсив просится? Кто-то «бесы» тремя чертами подчеркнет и пальцем укажет... Мы же — разны. А как иначе? Как иначе, когда: «Все дороги занесло»? Бесы-то, они все-таки производное. Истоком же, причиной причин — все дороги занесло.

Это не признавши, выйти ль на большак? А может, не нужно — большака? Может, иначе: разными тропами... И каждый — сам по себе. Сам себе хозяин, распорядитель судеб. Так нет ведь; и не потому только, что из распоряжения выйти значит у нас — вовсе вон! Есть загвоздка и посильнее, покруче. Хоть и разными тропами, но — куда? И сойдутся ли тропы или так и останутся, и уже не разными, а одинокими и от одиночества безнадежными? Внутри себя уйти, то и туда, помятуя былое, войдешь ли сам по себе? Без других, без «чужих» войдешь ли, не запнувшись, не ушибшись — об них? И не горесть или сладость от этих ушибов, а опять-таки: без этого ты не ты... А тем, кто после нас, им что оставим: душу ли, ничем не запятнанную, или ту, что вся в ушибах? А они, кто вслед, от чего свой счет поведут — от нашего ли чистого безнаследья или от спотыканий наших, каким счет потерян?

От того ли *безумного генерала*, который, как ни бился, не проторил-таки дорогу крымским татарам — к дому-родине? от того ли *блаженного академика*, что ни мыслями своими, ни страданиями не остановил-таки ни ядерный марфон, ни лагерный?

Старый русский спор: одна простота против другой простоты. Сколько «эпох» между пушкинским ясным восходом и рассветом во тьме Федора Достоевского? Нашей Минервы сова вылетает безумной, блаженною...

Спасти ли, заслонить ли одного, одну, оставив неспасенными, незащищенными остальных — без единого упущения? Сомнение в этом. И взлеты и падения от этого же. И раньше и позже — ненависть, «раскольниковская», задыхающаяся ненависть к Петру Петровичу Лужину, к прекраснодушному попечителю, к рыцарю избирательного спасения, что всегда не без выгоды, и главною выгодой сама избирательность; согласись, руку протяни — слопает, улыбаясь, по головке поглаживая, сердечным союзом награждая. «А любопытно, есть ли у господина Лужина ордена; об заклад бьюсь, что Анна в петлице есть...» Впрочем, не в Лужине одном напасть. Лужины — нуль без Дунечки. «Ведь она хлеб черный один будет есть да водой запивать, а уж душу свою не

продаст... за весь Шлезвиг-Гольштейн не отдаст, не то что за господина Лужина». Чем же берет Лужин-то? Жертвенностью Дунечкиной, для какой, однако, иметь нужно — чем поступиться. Последним остатком комфорта, обиходом человеческим — мало ли?

Ответом, да не ответом вовсе, а ударом — в душу и в мозг: Сонечка Мармеладова. Вечная, «пока мир стоит». Пока стоит Мир. Пока Мир стоит... Чтобы ее сохранить — не те слова нужны и даже не те дела. Слово. Дело. Единственное, до какого не добраться ни единому Петру Петровичу Лужину... Нет этих пресловутых золотых середин — и благо, что нет! Одни полюса на свете — и благо, что одни! Сдвинуть их! Сдвинуть ими! И вот уже в отставке стоячий Мир расписанных обстоятельств и ролей. Отныне быть всеобщему броунову движению: исканий и воли, рвущихся к абсолютной — между людьми — гармонии. В каждый данный момент! В каждый, ибо иначе всякий «момент» — ложь, и любая истина — ложь, поскольку за чей-то счет.

«Понимаете ли, понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже некуда больше идти?» Это Мармеладов, пропащий человек, вопрошает, настаивает: «Надо, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти...»

Куда-нибудь... Русское, российское Здесь. Место, которого нет, если не в пути все. Но еще и время, которого нет: замерло, омертвело — в тех, кому некуда идти. У-топос. У-хронос. Простор б е з в р е м е н ь я.

Какими же силами перевести БЕЗ в МЕЖДУ? Кто — поводырем к обездоленным дорогою?

...Мутно небо, ночь мутна.
Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне...

С юности множество раз читанное, а вдруг задело. Третьим, последним «блоком» и задело. Неожиданной переменою, хотя как будто не из чего б ей и взяться. То же небо мутное, те же ночь и бездорожица, и бесы, что едва не отняли у путника рассудок. В самый бы раз им торжествовать,

праздную победу над человеком. Так нет же, все иначе. Уже не на снежной равнине они, а в полете. Стенающие, скорбящие...

Кто же даровал им эту вышину беспредельную? И Слово, пушкинское, отчего и их участью мучимо?

Загадка. Искать ли ключ в ней в окрестных стихах, в собственных, автора, напастях и тревогах? «Перелом в существовании» — словами лучшего из биографов Пушкина. Позади вольная жизнь, впереди — семейная и государственная. Добровольная несвобода... «Отец мой, ради бога, оставь меня!.. Спаси тебя господь!» От «Бесов» до «Пира во время чумы» — два месяца и два дня, а от Болдина до Черной речки — неполных семь лет. И еще полтора столетия, вопрошающих, уясняющих: кто же погубил Поэта, кто и чем? Вроде бы уже докопались — кто. А ч е м не уходит, втягивая в себя и новые имена, и свежие строки. И заново возвращая к одной, к его судьбе: не добровольною ли несвободой погублен, и той именно, «николаевской», своей, без какой не быть бы и вершинному Пушкину, а стало быть, и всему на Руси, что после?

От тех «Бесов» к бесовщине — так ли? Корень общий, а смысл? Сказано некогда и во все прописи вошло: две культуры. И впрямь две, только не те, что в «цитате». Ибо — культуры. Одна дворянская, другая — разночинская. Различие же не сословное только (дворян и в разночинской не счесть). Не это в глубине. Там иная смена — облика речи, строя поступка, стили жизни. Не шлагбаум, не пограничье. От декабристского равелина, от каторжной общины «падших» — к Мертвому дому, к той России, какая вся — преступающая... Вот откуда она — бесовщина. Не отменой нравственности, это вторично, это затем. А первичное: абсолюте ее! И вериги и диктат. Диктат и диктующие — себе и другим. В с е м. Всем в собственном Доме, и оттого он уже не просто Дом, а домашняя Вселенная, неперемнное *русское человечество*.

Дерзость ли помыслить — Пушкин против Достоевского? Мера против безмерности?! Не окончилась ли первая с первым, все переживши, что было у нас и с нами; но и вторая не отступает, приступ за приступом, в неразъемной схватке чудищ добра и зла — для других, сдается, тут и места нет. И хотя не поймешь — века ли прошли или вчерашний день

напрямую ломится в завтрашний, но спор этот, встреча и схватка — меры с безмерностью (и добровольной несвободы с земным чистилищем?) — сквозь все, что культура и что много больше, чем она: *жизненный обиход*, наш *человеческий нрав*.

А нынешние мы — на каком перегоне у этого спора, либо сам спор уже устарел? Либо по-другому: застряли. От безмерности — былой — откачнулись, а к мере — собственной — не пришли, ибо неясно, что она нынче, в чем и в ком? Не исключишь, что передвижка произошла. И меру, ее как раз ищи в безумных, в блаженных, а *бесовщина* — она к тем перебралась, в тех вошла, кто ею инаких судит, с них взыскивая, чтоб не смели ни колебнуться, ни оступиться, не обязательно, правда, к Мертвому дому шагаячи, но и не уклоняясь от него...

Да ведь и соблазн велик — снова, и по доброй воле, преступить. В безмерность впасть, душу в нее вложить и заложить. На всесветных прилавках — муляжи мучеников и пастырей. Сличай с собою, примеряй! Вещай, пиши, учи!.. Но где место тому, кто тщится свести нечистую совесть (а если чистая, то к чему она — совесть?), свести ее с предвечными словами, — свести в поступке, который из чистоплотности не соглашается передоверить никому?

Однако в 46-м, когда только началось*, и даже в 49-м, когда стало разворачиваться, не те все-таки сны снились. Не Раскольников с топором, не Порфирий со сладко-жалостливой улыбкой. Не преступление, не наказание. Не тем вроде жили. Не к тому вроде бы и наяву шло... Всего-навсего очередная идеологическая приструнка. Просто: дискуссия широких кругов общественности с литературными отщепенцами, а затем — их же, широких кругов, полемика

*Начало-то это, конечно, не изначальное, у него своя предыстория, в которую если не столетия входят, то по меньшей мере десятилетие — от рубежа 20-30-х, с их первыми заявками на коммунистическую «*Россию для русских*», к каковой уже придатком (коминтерновским, антифашистским) полагался «остальной» Мир; поставив перед каждым из коммунистических прилагательных «квази» и «псевдо», мы, конечно облегчили б себе душу, оставив нетронутой суть.

с кучкой безродных космополитов (и хотя пополнение списков допускалось, но лишь до определенного предела, иначе — не кучка). Не попал в список — живи, рождай, дерзай!

Да и кому, кроме испытавших страшное и угадавших неискоренимость его, пришло бы на ум, что возобновление — за дверью. «Если верить пифагорейцам...» Хотелось не верить; даже тем, кто догадывался, хотелось не верить; что уж говорить об остальных — среди оставшихся жить, среди вернувшихся в жизнь. Кто из них, едва снявших шинель либо только оторвавших с нее погоны, — кто и в какое зеркальце глядя мог узреть себя ж, одним махом превращенного из сильного, уверенного, блаженно-счастливого, безмятежно-открытого (всем, всем!) — в постыдно-слабого, в мучимого и в мучителя, и без всякой ворожбы, безо всякого колдовства, даже без особого понуждения.

Один только списочек к началу... Тайна, тайна из тайн, и пока не разгадали — глухие, даже когда говорим, и слепые, когда разглядываем: кто-то, к примеру, с трибуны ЦДЛовской сидящих в зале, а сидящие — трибунов, рифмотворцев или тех, у кого звучное имя «критики»; и, кажется, раздайся вновь свисток... А может, он и раздался уже, но не расслышали, может, есть такой, ультразвуком, слышимый лишь посвященным?

Нет, как ни толкуй о беге времени, что ни говори о разительности всесветных перемен, существует вчерашний человек: один на другого непохожий, как все мы, теперешние, непохожи на того послевоенного (и прическа, и штаны, и меню, и прочая семиотика вовсе другая), а колупни, а случись, а замаячь не беда даже, а маленькая беденка, смотришь: вот он — вчерашний.

Но впрямь ли он? Или все-таки лучше того: памятливей, совестливей? Или хуже, но иначе: изворотливей, выученней, самодовольнее? А тот — кто ж он был? Позволивший себя, победителя, в грязь втоптывать, позволивший себе, победителю, топтать — победителей же?

Во всем этом, конечно, был свой неблизкий, но и не очень далекий прицел. И не то чтобы смысл, совестно как-то

о смысле говорить, памятью и то, что было, и то, что могло быть. Не смысл, но и не бессмыслица — очевидная, банальная. Именно банальная, банальностью зловещая и непонятная. В «фасаде» той экспериментальной дискуссии, тогдашней «Классика и мы», смысл-оборотень. За слегка высунувшейся вершухой толща айсберга с обманчиво прозрачными краями. Погибнешь ли от толчка или захлебнешься в ледяной воде — конец один, но от чьих рук? Рук нет. То есть, конечно, есть они — руки. И те, что подтолкнут, и другие, что разомкнутся в этот самый момент. Но чьи? Как опознать — по мозолистости либо, напротив, по ухоженности? Не тот теперь признак, устарел, как и соответствующая графа в анкете; ведь не нос они и даже не уши, самое главное-то у рук не узнаешь. Руки — это тоже «форменное», такой же вздор, как и «убежит». Не руки чьи-то — стихия. Своя кровинка, родная речь, по которой себя узнаём и от других отличаем, — и все остальное, без чего не больше мы чем беспачпортные бродяги в человечестве (и кем сказано: умри, Виссарион, — лучше не напишешь, а если что иное писал, то теперь — не к месту; к тому ж блуждал, разным Западом соблазняемый, совращаемый).

Оно, конечно, все это — вчерашнее и даже позавчерашнее, нетрудно бы списать его, благо есть на кого, и объяснить вроде бы несложно, благо есть объяснители.

Объясняющие есть, а вот объяснение не дается. И если бы еще только тем, кто жил тогда, жил, а значит, видел, слышал и... молчал. И не вовсе лишенный чувств, и не то чтобы вне сознания, но с каким-то специальным устройством ума, наперед готового объяснить, а объяснивши, успокоиться — на том, что объяснимо и, стало быть, не поперек законов истории, а если не поперек, значит: так и надо. И ведь не только тем концы с концами связать не дается, кто тогда жил и повязан тем, что жил и выжил, — но и следующим за следующими; и факты вроде почти все налицо — главная тайна, она уже не в тайных архивах и даже не в спецхранах (хотя и там, конечно), но — *тайна ли?*

Кто-то в ужасе отшатнется, когда услышит: не менее всемирен 1930-й, чем 17-й. Не менее всемирен 1937-й, чем 21-й, а 1939-й — чем 45-й. Не менее всемирен 1968-й, чем 56-й. Кто-то отшатнется в ужасе, а кто с ухмылкой, с

презрением: а разве могло быть иначе? Чего добивались, то и получили. По заслугам. *По заслугам-с.*

Что опасней — на месте стоять либо решиться на самый трудный, на самый рискованный шаг: опознать и принять прижитого совместно уродца с генетическими задатками Голиафа?.. Чем свирепей бьет — неудачами, потерями, дурными приметами — окрестная жизнь, то самое бытие, что не обойдешь, не обскачешь, тем сильнее гвоздит сознание безумная мысль, отечественная наша беда — и беда и дар. Ею, быть может, мы не беднее, не исключишь, что и богаче других. Не зарыть бы, не погубить это странное, это страшное богатство, не затоптать, не заплевать бы его суесловием (обычным и навыворот), экстравагантностью — на вынос, перстом указующим для согласной паствы.

Не погубить, а отстоять: спором, делом.

Пока не поздно. **Не разучившиеся жить по сценарию не попали бы в новый...**

Спокойней, спокойней. Поучимся этому, например, у автора со столь благополучной судьбой, как Михаил Афанасьевич Булгаков. Писал в собственный стол, умер в собственной постели от собственной, отчасти даже по наследству доставшейся болезни. А сейчас читаем, обсуждаем, даже цитируем. *Классик* — без лишних слов. И главный труд его не только не опоздал, а можно сказать, в самую пору пришелся, раньше б и не нужно.

Оно, конечно, жалко, что автора нет, что умер досрочно. Но возлагать вину на «кого-то», тем более на время, на эпоху, — не мелко ли? Теперь как раз эпоха его именем, в ряду, разумеется, других имен, будет именоваться. Она, скажем, и булгаковская, и шолоховская, и... а этих двух разве мало? Не числом ведь, а уменьем, как исстари повелось. Примеров — достаточно. Опять-таки николаевщина, уже упомянутая, сколько в себя вместила — от Пушкина и Гоголя до нечаянной смертью прерванного Лермонтова, до недострелянного Достоевского, не считая Белинского и прочая и прочая; каждое из имен не прочее, а величина, самобытность, прорыв народности в самые верхние этажи художественного узнавания и освоения. Те 30-е, те 40-е — и наши, восьмерку на девятку поменявшие, разве не схожи?..

Кто-то морщится, а кто-то даже с места рвется, восклицая: вот именно схожи — себе и нам на пагубу! Что ж, есть кому среди нас принять этот вызов, поелику бояться совпадений (история ведь) — занятие, простите, для кисейных барышень. Да и классика сама не на том ли выросла, себя закалила, что от собственного прошлого не отворачивалась, вообще в раж не впадала, зная, что раз Россия жива и вопреки всему живой осталась, значит, и впредь живой будет, а раз она, то и мы — те, кто она...

Булгаков как раз это и знал. И нам поведал. Того ради и знаменитый роман свой написал. Сомневаетесь? Напрасно. Зрите, внимайте...

«Он весел, беспечен и мил во всех описаниях шайки, за которой следит чуть ли не с репортерским удовольствием. Его тон спокоен и насмешлив. Отчего это? Первая мысль, естественно приходящая в голову, — от отчаяния. Ударил себя в лоб, как пушкинский Евгений, и «захохотал». Но, кажется, здесь никакой истерии не слышно. Речь быстрая, но ровная и четкая. От равнодушия? Может быть, это уже безучастный смех над тщетой человеческих усилий, с астральной высоты, откуда и Россия-то — «тлен и суета»? Тоже как будто не так. <...> Отчего же тогда?»

Эти весьма занимательные строки принадлежат примасу новой «экспериментальной дискуссии» Петру Васильевичу Палиевскому. * Статья его — «Последняя книга М.Булгакова» — помечена 1969 годом: первым после памятного предшественника. Однако долой намеки! Дата как дата. Написалась статья, и слава богу. Наше же право — предположить лишь, что нынешняя позиция автора находится хотя бы в некотором логическом отношении к его былым высказываниям. Поэтому нас не может не заинтересовать ответ, который он дает на им же поставленный вопрос. Булгаков, читаем мы, совершил странный поворот, — странный для «серьезной литературы XX века», которая привыкла уважать дьявола. А автор «Мастера и Маргариты» уважением к нему, к дьяволу этому, не страдал. «Он (Булгаков. — М.Г.) смеется над силами

*Цитируем тут и ниже программный сборник «Пути реализма. Литература и теория», вышедший в издательстве «Современник» в 1974 году.

разложения вполне невинно, но чрезвычайно для них опасно, потому что мимоходом разгадывает их принцип». Принцип же этот весьма несложен, каким только и мог быть у шайки — спянной, хорошо вытренированной, но все же не больше чем шайки. Этот принцип — подражательство. Во-ланд со свитой вторят, утрируют, влезают в чужие роли, квартиры, одежды; им невтерпех — у всякой такой гастроли есть свой срок, — и потому они нагромождают одно похождение на другое, одно наглей другого, набивая себе цену в растленном воображении обывателя. На деле же их сфера предельно узка. «Заметим: нигде не прикоснулся Во-ланд, булгаковский князь Тьмы, к тому, кто сознает честь, живет ею и наступает». Итак, нечистой силе, как бы ни изголялась она, не ухватить у «подлинного» его начал. И значит, всем своим коварством только чистит, выжигает его слабость. «Безжалостное исправление того, что не пожелало само себя исправить. Собственное же положение ее остается незавидным; как говорит эпитафия к книге: «Часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Все разоренное ею восстанавливается, обожженные побеги всходят вновь, прерванная традиция оживает и т.д.»

Ну, разумеется, так. Именно и только так, как объяснил нам критик. Оно, конечно, под «прерванной традицией» должно понимать здесь нечто весьма положительное, тем паче что «обоженные побеги всходят вновь». Не вполне ясен только источник вышеприведенной сентенции — вытекает ли она из «недосоставленной книги», как именуется булгаковский роман автор вышеназванной статьи, либо это собственное дополнение к этой книге, хоть отчасти восполняющее ее обидную «недосоставленность» (восхитительное же «и т.д.» лишь вносит штришок в ставший отныне полным и разъясненным смысл романа). Читатель однако — в недоумении. По своему простодушию или благодаря собственной «недосоставленности» иное вычитал и за педагогическо-гигиенический комикс никак не хочет принять прочитанное. Уперся этот влюбленный читатель, зачитавший до дыр журнальные номера (нет хода в «березку» иль недоступен тебе черный рынок — на книгу не рассчитывай), уперся и даже позволил себе рассердиться на именитого критика. И по той же простодуш-

ной склонности к вопросам так и сыплет ими!.. Куда ж девался у вас сам Иешуа, он и его дотошный верный Левий, где приткий изменник и нетерпеливый любовник Иуда, где всадник Понтий Пилат и опекаемый им Ершалаим, великий город, который накрыла тьма, пришедшая со Средиземного моря («Пропал Ершалаим <...> как будто не существовал на свете»)? Где это все — то, без чего, как полагает читатель, и романа нет, а есть лишь некий огрызок его, осевший то ли в архиве известного литературоведа, ныне покойного Латунского, то ли в какой-то редакционной россыпи, то ли просто один из фрагментов с феноменальной протокольной точностью воспроизведенный (по памяти) менее известным и как будто еще непокойным Алоизием Могарычем? И уж, конечно, это кто-то из них (либо уже дело рук цензуры?) выщипал из экземпляра, доставшегося П.В.Палиевскому, страницы, какие одни могли бы сделать бессмертным булгаковский роман, — страницы о любви, о единственной спасительнице гонимого и травимого, заживо убиваемого художника.

Прошедший школу Шестидесятых годов, читатель наш может прямо-таки обрушиться на ни в чем не повинного критика: отчего о гонителях он ни слова, почему к убийцам внимания нет? Где ж, завопит этот «оттепелью» подмоченный читатель, в каком именно месте, уважаемый и даже многоуважаемый Петр Васильевич, происходит восстановление разоренного и оживление прерванной традиции, как изволи-те выражаться, имея в виду (из текста вашего следует!) свидания Мастера с Иваном? Образцовую психушку профессора Стравинского за Литинститут принимаете либо даже за заповедник, где воскрешение особое производится — из бездомных нелюдей в человеки, у коих почва под ногами, твердь на веки вечные? Не дурно ли: психушкой к тверди, психушкой — к вечному?!

И даже за шайку готов заступиться этот чрезмерно буквальный читатель. Чем-то она ему любя — своими ли набегам на Торгсин и «Грибоедова», своей ли неуловимостью, завидной неуничтожимостью в схватках, каким и быть бы не должно по нашим нравам и обстоятельствам, — а может, не уходят из памяти поэтические строки финала, в свете которых и слово «шайка» как-то произносить неловко, да и покружнее слова в этом ряду, вроде как мафия, клан кем-то

избранных, чем-то отмеченных, имеющих вход «наверх» и выход отдельный, — так даже эти слова на языке застревают, чем ближе к развязке («На месте того, кто в драной цирковой одежде покинул Воробьевы горы под именем Коровьева-Фагота, теперь скакал, тихо звеня золотой цепью повода, темно-фиолетовый рыцарь с мрачайшим и никогда не улыбающимся лицом. <...> Ночь оторвала и пушистый хвост у Бегемота, содрала с него шерсть и расшвыряла ее клочья по болотам. Тот, кто был котом, потешавшим князя тьмы, теперь оказался худеньким юношей, демоном-пажом, лучшим шутком, какой существовал когда-либо в мире. Теперь притих и он и летел беззвучно, подставив свое молодое лицо под свет, льющийся от луны...»).

Видно, в том все-таки раздор между этим нашим читателем и этим нашим критиком, что неспокоен читатель и автору полюбившегося романа готов отказать в том самом спокойствии, которое столь обрадовало и прямо-таки воодушевило критика. Не замечает этого самого спокойствия, упрямятствует читатель, и заново — к книге, беря и врачюя ею себя. Всей — от начала до конца и от конца к началу, в конце ища не столько разгадку, сколько надежду. За Начало (за собственное человеческое начало) беря булгаковский исход, булгаковскую коду — с ее тревожной непонятностью, с ее нарастающей от такта к такту серьезной торжественностью, с ее окончательными расправами, обоснованность которых не столько подтверждается, сколько перечеркивается прощанием навсегда.

Прощанием с жизнью, какая она есть, в чем-то самом главном неисправимая — и неповторимая. Прощанием со словом и даже со звуком («Слушай беззвучие <...>, слушай и наслаждайся тем, чего тебе не давали в жизни, — тишиной»). Прощанием с Городом, со вторым ли Ершалаимом, с третьим ли Римом: с городом, «который ушел в землю и оставил после себя только туман»...

Не раздражайся, читатель. Тревожься, совестись, за счет погасшей души художника оживляй собственную, но не сердись. Критик ведь тоже человек. А раз человек, то, значит, вправе иметь свои привязанности и свои неприязни, любимые

и, наоборот, нелюбимые страницы. Свое поле зрения. И хоть не классик он, но все-таки тогда лишь читаем и уважаем нами, когда мы замечаем в его «поле» то, что в наше не попало; не исключено, что и попасть не смогло б, если бы сначала не замечено было бы им. Вот мы с тобою, к примеру, наслаждаясь романом и переходя не раз, не два от смеха к раздумью, удивились бы тому, что переходим — так легко и без всякой задержки, без внутреннего сопротивления — от этого раздумья к этому смеху («над чем смеетесь, над кем смеетесь?..») А критик остановил нас, привлек внимание, разъяснил, уверил: потому именно нам так легко, что не о нас речь. Мудрость великая в том и состоит, что смеемся не над собой, а лишь над тем в себе, что не-наше, извне внесенное, и смехом же освобождаемся от этой застрявшей в нас «слабости», укрепляясь в подлинном, разложению не подлежащем «начале» («Классический русский смех», — разъясняет наш критик). Странно, правда, замечает читатель, что выправляется Коровьевским или Бегемотьим нагличаньем то, что «не пожелало само себя исправить»? С чего бы это *не пожелало*, если подлинное? И почему это Воландовой шайке, эпигонам этим, этим шутам гороховым, плагиаторам, перевертышам, дано то, что нам — с нашей подлинностью — не дано? (Впрочем, еще Макс Волошин, коктебельский кудесник, внушал молодой Цветаевой, чтоб никогда не произносила: «подлинное». «Почему? Потому что оно похоже на подлое?» — Оно и есть подлое. Во-первых, не *п*одлинное, а *п*одл^нное, *п*одл^нная правда, та правда, которая под *л*иньк^ами, а *л*иньк^у — те ремни, которые палач вырезает из спины жертвы, добываясь признания, лжепризнания. Подл^нная правда — правда застенка»).

Оно сомнительно, конечно, чтоб П.В.Палиевский из этого исходил. *Подл^нное* у него именно и только *п*одл^нное. То есть действительное, то есть истинное, другого он (критик) не знает и знать не желает. Как человек сведущий, (не один год русской словесностью занимается), о *л*иньк^ах, разумеется, слышал и вовсе не за *л*иньк^у стоит, а уж чтоб из собственной его кожи вырезали, то наперед, осмелимся предположить, исключает, не для того она ему отпущена — кожа... Не за *л*иньк^у стоит, а за народ. За неискоренимый, единственный. Здесь — единственный, а «там», за кордоном,

свои единственные. И каждый раньше ли, позже ли, но линьку и иные напасти, из коих линьку еще не самые страшные, одолевает, отодвигает; однако не все сам, не всегда сам, и тут особая роль у тех, кто вчера линьками распоряжался, сегодня же, историей выученный, действует по возможности более цивилизованно. Ими-то, собственноручно ими, или по заданию, по команде ихней, наши слабости и выживают! Больно, но для здоровья — народного — полезно. И на месте выжженного — цветенье заново. По закону природы, как говорил все тот же неумирающий и неутомимый Порфирий Петрович...

В согласии, видно, они, Петр Васильевич с Порфирием Петровичем. А почему б и нет? Кто запрет на это согласие наложил? А может, в согласии этом и заложено то самое *начало*, которое и подлинное и истинное, поелику истории соответствует, тем, собственно, и отделяясь от разных интеллигентских забав и смут, от этого мельтешения зряшного, бросков из крайности в крайность — от чванства (мы-де готовы «построить все иначе, без народных иллюзий») к амикошонству самому что ни на есть вульгарному, в обнимку с любым бродягой... Историю же то отличает (и согласие упомянутое как раз на этом и держится), что она, история, не мельтешит, не чванится, не бродяжничает и даже когда раздирается надвое, полюсами сшибаясь, то не к пресловутой середине идет, тоже гомункулусами придуманной, исподтишка навязываемой, а к «центру» — устойчивому, непоколебимому. Слушай, читатель, хоть и из другой статьи, но того же автора излюбленные мысли, слушай и на ус мотай: «Эта «середина», которую никак нельзя путать с межеумочной, — основа. Она не середина, а центральное: и это центральное в шолоховском мире есть. Мощный ствол, соединяющий в целое, казалось бы безнадежно распавшееся, восстанавливающий с помощью пробившегося вперед передового общий рост».

А ты, читатель, неужели не за общий рост? Или сомневаешься, что так история шла — от будто безнадежно распавшегося (подставляй, если хочешь: революцию, войну гражданскую, подставляй, но знай — ответственность на тебе...), от этого, казалось, навсегда разделившегося на

станы, классы, — к возрождению: и не просто там единства, о котором каждый в любой газете напишет и прочтет, а к возрождению мощного ствола?! Мощный ствол сам себя восстановил, правда, опять-таки не вполне сам, а «с помощью» передового, какое, как пробилось вперед, так с тех пор впереди и находится, вперед себя ставя тех, кто еще родней стволу (и этим выгодно отличается от изначальных передовых). Закон природы-с. Этим-то мир и держится, любой — человеческий. Булгаковский и шолоховский. Шолоховский и фолкнеровский.* Да и как иначе, не против же естества им, всем трем, идти, не против того, что вечное. Вечное, но не неподвижное. С непререкаемым строгим движением, где компасом безотказным — народный характер. «Эта безмолвная сила, неуклонно разворачивающая свой план, производит самое странное и в то же время очень реальное впечатление. В каждом характере, изображенном им (Фолкнером. — М.Г.), она доказывает — как он выразился об одной из своих героинь — ”безразличие природы к колоссальным ошибкам людей”».

Вот он, вот он — *ключ*, разом и к истории и к классике. Вместе с П.В.Палиевским мы на пороге разгадки: не частной, а всеобщей и оттого применимой к каждому отдельному казусу. Еще шаг — и булгаковская веселость, булгаковская беспечность, его «репортерское удовольствие» станут нам до конца понятными; да и сам он со своим едва ли не единственным героем, с Иваном Николаевичем, сбросившим в психушке клоунский наряд Бездомного и вернувшимся в человеческий, народный облик Понырева («нового Ивана»!), займут подобающее им место во всемирном классическом ряду. И тут уже не родство даже (Булгакова с Шолоховым, с Фолкнером), а полное единство, едва ли не тождество. Уместна поэтому еще одна выдержка из Петра Васильевича, из статьи его «Мировое значение М.Шолохова» (написанной спустя четыре года после отклика на булгаковский роман): «все мертвое горит, выгорает до пепла, и языки этого пламени задевают, коречат живое. Но как будто для его же пользы; в исправление того,

*Каждому из этих писателей посвящены статьи в названном сборнике П.В.Палиевского.

что оно *не могло или не пожелало само в себе исправить...*» (курсив мой. — М.Г.). Не правда ли, слово в слово? Что о Булгакове, что о Шолохове... Может, кто-то заподозрит нашего критика в бедности лексикона. Напрасно. Писать он умеет, и очень складно, и если на дословность сбился, то оттого лишь, что идею свою хочет покрепче в читательское сознание внедрить, дабы иные, пустяшные или вовсе ложные идеи, это сознание не соблазнили, не заполонили.

...Поставь, читатель, здесь дату — 1941, отступи от нее к поздней осени 29-го, а потом отсчитай еще пять лет — до декабря 34-го и еще без малого пять до дня, когда «ненападением» назван был вход в Войну, и неужели не станет у тебя все на место, и в делах, и в поступках, и не в последнем счете — в настрое. Спокойствие придет, вера в завтрашний день и в то, что если, не дай бог, вновь «критический момент» возникнет, то с честью выйдем и с поднятой головой, и если даже не сразу с честью и не непременно с уцелевшей головой, то в последнем счете только так. Неужто во имя одного этого не претерпеть, что «языки... пламени задевают, корежат живое»?!

Тут бы и кончить, но читатель недоволен. Чем-то ему не удружил критик. Мало сказать: не удружил, крепко насолил. Не только к спокойствию не привел, но окончательно из равновесия вывел. Чем же? Тем, что в один ряд Шолохова с Фолкнером поставил? Либо тем, что о каждом из них написал как-то избирательно: в Америке Фолкнера, в фолкнеровском космосе Юга опустил негритянскую тему (разрушающую «белую» душу и возвышающую ее же встречей с «черной» душой, — встречей, про которую не скажешь, в последнем счете как раз не скажешь, — состоялась ли она или еще призвана состояться: полной-равной); а в оде Шолохову упустил финал «Тихого Дона», вносящий, что ни говори, резкую диссонирующую ноту в столь крепко выстроенную критиком концепцию благодетельного центра, торжествующего народно-государственного «ствола»?! Однако все же не прямо это вывело из равновесия нашего читателя, хоть и не прошел мимо, отметил авторскую избирательность, даже собрался написать о ней, в эпитаф внеся из Фолкнера же: *только проблемы борющейся души рождают достойную литературу*. Даже первую строку написал: критика

тоже литература и также требует человеческой души, сражающейся с собою и за себя... Написал и запнулся, бросил. То ли безразличность одолела, когда вспомнил о смерти «в виде нянечки» («...смерть у Шолохова — это какая-то метла в жизненном доме. Так и представляешь ее не с косой, как столько раз рисовали, а в виде нянечки или уборщицы»), то ли побоялся на фельетон сбиться, выясняя с критиком нашим, как при наших-то обстоятельствах ее, досрочную смерть, лучше изобразить: «нянечкой» либо уборщицей без всяких сантиментов, которой и метла, выметающая жизни, больше подходит; да и как весь «жизненный дом» наш представить, чтобы был он и дом и «ствол».

Не исключено, что и по другой причине запнулся читатель. Озноб его одолел, когда о «прерванной традиции» задумался, и реализм всеобъемлющий П.В.Палиевского как-то иначе глядеться стал. И реализм — и народолюбие, которое тем больше любие, чем больше «центрального» в названном доме-стволе.

«Революционный сдвиг создал аппарат, рассчитанный, подобно клеткам человеческого мозга, на долгое заполнение вперед». Сколько тут восклицательных знаков ни ставь, а вроде недостаточно. Об отмирании «аппарата» в пору говорить сейчас лишь в шутку, а если всерьез, то не в психушке ли, и уж, вероятно, не в такой, как у профессора Стравинского: пожестче, построже, голоднее, больнее... «Аппарат» этот, правда, не давнишний, но со вчерашнего дня в самом расцвете: и материя он, и сознание, и этика, и эстетика, и вся прочая гуманитария. Наш космос. Без границ — в границах. И ежели веру в народ блюдешь, как святыню, то путь один: в «аппарат», в тот самый, что подобен «клеткам человеческого мозга». А порукой, что всему этому прочность и даже вечность обеспечена, она — Россия: «реалистическая страна»!

Как не понять (ведь так хорошо Петр Васильевич растолковал нам), что и писатели — подлинны — сплошь реалисты, и именно в упомянутом смысле, только в нем, строго в нем. И автор «Мастера и Маргариты» лишь в этом самом смысле — подлинный, подлинно русский. «...Булгаков никогда не думал, что мы гибнем». «От превращения Бездомных в Поныревых слишком многое зависит, чтобы автор мог

отнестись к этому несерьезно...» «А трудности своей судьбы он умел преодолевать...» Взъярился в этом самом месте читатель, вспомнив из биографии М.А.Булгакова те «трудности судьбы», про которые принято говорить, что вопиют; сообразил даже под Фагота реплику: «Поздравляю вас, гражданин соврамши», — но тут же скис, снова в озноб ударился. Галлюцинации одолели. Себя вспомнил — в незабываемые Шестидесятые. И как открыл впервые Булгакова, и как захлебнулся им. И как с Иешуа породнился. Как Иуду задним числом проклял, как влюбился в Маргариту и Мастера оплакал. Как повторял убежденно, уверенно: рукописи не горят, не горят!! И уж, конечно, такими же убежденными, в себе уверенными были те наши (уже в прошедшем времени) Шестидесятые; миловать ли им было Пилата, кто в иную эпоху — Людовик XIV, а если поближе, то Дантес, как пояснил тогда в самом читаемом журнале самый прогрессивный критик. Ясно без лишних слов: какая там Голгофа после XX съезда...

И еще вспомнилось читателю (как льдинки друг на друга — полувявь, полусон): детская надпись в посетительной книге на Мойке: «Жаль, что Пушкин не дожил до наших дней». Вот бы славно! Но нереально. А Михаил Афанасьевич — по законам природы — вполне смог бы. И после XX-го — в президиум «у Грибоедова», кандидатом на госпремию, а то и полным лауреатом, а в конце, если бы конец на эти годы пришелся, — бюст в том самом ряду, что начинается лучистым Никитой на черно-белом постаменте, а кончается Твардовским. Славно бы, да нет. Загрустил читатель: и это, ближее, нереальным представилось ему. Подумал: и без Черной речки загубили бы. Либо собственной борющейся душой замутился бы, как тот — последний в том новодевичьем ряду.

«Помоги, Господи, кончить роман. 1931 г.» Думал написать Евангелие от Мастера, а выросло, выписалось Евангелие от Пилата... Читатель наш даже во сне от удивления вскрикнул: о Пилате-то молчок (на критике зациклился, статья его из читательской головы не выходит). И впрямь — молчок. Но вроде бы и не обзывался о всем, о всех. Вроде бы и не к чему Пилат. Вот если бы какую роль мог сыграть он в обновлении, в перерождении — Бездомных в Поныревых, вот

если бы появлению «нового Ивана» посодействовал!.. Так нет, проходящая фигура, почти что лишняя в «недосоставленной книге». Что ж, а ведь по-своему прав он, Петр Васильевич, в логике ему не откажешь. Истинно: в «реалистической стране», где у Порфириев Петровичей хлопотам ни конца ни края, — там не до Пилатов. «Ведь этот мир ни секунды не колебнется перед таким понятием, как личность. Не отвергает ее и, без сомнения, чтит, *но, если надо, свободно перешагивает*». (Признаюсь, и тут курсив мой, не выдержал!) Вот он — реализм, и не на подножном корму. Вот она — мудрость, превзошедшая пустопорожнюю, к делу неприменимую совесть. Личность не отвергаем, так сказать, с порога. И даже чтим (что мы, хуже других?!) Но чтобы колебнуться «перед таким понятием» — это уж слишком. А если эта самая личность «ствол» задумает оспорить, на «аппарат» покушаться? А если — и того опасней, недопустимее — сам «аппарат», рассчитанный «на долгое заполнение», начнет заполняться такими, которым невмочь свободно перешагивать? Беда! Смута! Тогда уж и аппарат не аппарат, и ствол не ствол, и не заметишь даже, как Россию растеряем... Не оттого ли этот самый Рим погиб, что запнулся о личность, дрогнул, увидев ее воочию, Пилатом-то и обмяк? Прав был великий инквизитор: сначала цари единые, и тогда уже помыслим о всемирном счастье людей.

Но по всему видно, Михаил Афанасьевич на т о г д а не соглашался. Деления этого не ведал. Конкретный вроде бы человек, знал, казалось, цену всему земному, а искал нечто — земное же; всю жизнь подряд искал его и терял. Нечто приходило Образом и уходило Образом, чтобы вернуться и не уйти — до последнего вздоха... Сквозь всю жизнь — мост. Обыкновенный мост, а на мосту трое. Один в кровавом хмелю изничтожает другого — потому что не-свой и еще оттого, что безропотный, жалкий. Но есть третий. Он видит. Видит, чтобы не забыть: тех двух — и себя. Не забыть кровь и безропотность. Не забыть собственный страх. Сквозь всю жизнь они — мост и страх. Память о них. И искупление словом. Но дано ли избыть словом страх, — страх перед человеком и за человека?.. «Лишь оказавшись за помостом, в тылу его, Пилат открыл глаза, зная, что теперь он в безопас-

ности — осужденных он видеть уже не мог». «Мы теперь будем всегда вместе, — говорил ему во сне оборванный философ-бродяга. <...> — Раз один — то, значит, тут же и другой!» «Кто это сделал? <...> Это сделал я. <...> Этого, конечно, маловато, сделанного, но это сделал я».

Так почему же не продолжить э т о, почему бы не продолжиться э т и м?! Мысль-надежда (пушкинская, булгаковская): о власти добра над властью. Глядел кругом, содрогался — и надеялся: на то, что кровь взойдет добром — изнутри, внутри. Взойдет человеком власти. Никто не безнадежен, даже мертвые. «Михаил Александрович, — негромко обратился Воланд к голове, и тогда веки убитого приподнялись, и на мертвом лице Маргарита, содрогнувшись, увидела живые, полные мысли и страдания глаза». Даже к мертвому Берлиозу возвращается — вместе с мыслью — и способность страдать. Неужто не дано сие живым? Крупица человечности у того, чья власть безмерна, *может сотворить чудо*. Слово открывает дверь, близость к тому, кто всевластен, делает его человечней и... Мольер многому научил Мастера. Но есть еще свой, родной кудесник. *И горний ангелов полет, и гад морских подводный ход* — не по отдельности ведь, не врозь. Узнаешь ли наперед, что в этом Мире, в мире России, что тут самый верхний верх, а что — самый низкий низ?

Не исключишь, что создатель Евангелия от Пилата, всматриваясь в Сталина, вспоминал веру предка во «второго Петра». Неудавшееся тогда — не удастся ли теперь? Ради этого стоило жить и творить, творить — и расплатиться жизнью. Измучивший себя Мастер не выдержал этой пытки, — надеждою, да и пронизательная критика (были ведь в Тридцатые пронизательные критики) недаром травила его пилатчиной...

Придется вспоминать того, кто, полный сил
И светлых замыслов, и воли,
Как будто бы вчера со мною говорил,
Скрывая дрожь предсмертной боли.

Не время ли возвратиться к спору, который не спор, к схватке, какая не столько на сцене, сколько за кулисами ее (и даже не схватка еще, а лишь разминка)? К аукциону особому,

где в распродаже наследство?

Вперед — на плечах предшественников! Вперед — по трупам их! А в конце — мир между оставшимися в живых. Равнодействующая. Загробное единство. Так было — так будет? Либо уже так нельзя? Либо начинать нужно, уже сегодня начинать с *равнодействующей*: равной и действующей?!

Начинать ею — с себя. Не в особой чести ныне письмо, с каким чембарский разночинец, ставший столичным критиком, обратился к вчерашнему своему кумиру. Может, и прав был, но форма, форма... «Кто поверит, что, когда Белинский писал его, он был уже не прежний боец, искавший битв, а напротив, человек, наполовину замиранный и потерявший веру в пользу литературных сшибок, журнальной полемики, трактатов о течениях русской мысли и рецензий, уничтожающих более или менее шаткие литературные репутации», — свидетельствует П.В. Анненков, наблюдавший внутренний перелом в критике, который судорожно и страстно искал «новую правду»: истину общественного долга, долга ничем не стесненного слова, свободного и от произвола и от всякой узости, пророческой нетерпимости, менторского очернения «чужого». «А что же делать? — сказал он (Белинский Анненкову — первому слушателю знаменитого письма). — Надо всеми мерами спасти людей от бешеного человека, хотя бы взбесившийся был сам Гомер».

Тяжко читать, а надо. Но не для мелкого сплетничанья, не для дешевого осуждения. Читать, двигаясь вперед и назад. От письма Белинского Гоголю к письму, которое хоть и адресовано другу Боткину, но писалось-то себе. Многократно цитированное, вроде известное — строками, абзацами, фрагментами. И не самиздат николаевский, бери с полки том в тисненном переплете, читай... Почитаем же сплошь, без выпусков.

«В прошедшем меня мучат две мысли: первая, что мне представлялись случаи к наслаждению, и я упускал их, вследствие пошлой идеальности и робости своего характера; вторая: мое гнусное примирение с гнусной действительностью. Боже мой, сколько отвратительных мерзостей сказал я печатно, со всей искренностью, со всем фанатизмом дикого убеждения! Более всего печалит меня выходка против Мицке-

веча, в гадкой статье о Менцеле: как! отнимать у великого поэта священное право оплакивать падение того, что дороже ему всего в мире и в вечности, — его родины, его отечества, и проклинать палачей его, и каких же палачей? — казаков и калмыков, которые изобретали адские мучения, чтобы выпытывать у жертв своих деньги (били гусиными перьями по <...>, раскладывали на малом огне благородных девушек в глазах отцов их — это факты *европейской* войны нашей с Польшею, факты, о которых я слышал от очевидцев). И этого-то благородного и великого поэта назвал я печатно крикуном, поэтом рифмованных памфлет! После этого всего тяжелее мне вспоминать о «Горе от ума», которое я осудил с художественной точки зрения и о котором говорил свысока, с пренебрежением, не догадываясь, что это — благороднейшее гуманистическое произведение, энергичский (и притом еще первый) протест против гнусной расейской действительности, против чиновников, взяточников, бар-развратников, против нашего онанистического светского общества, против невежества, добровольного холопства и пр., и пр., и пр. О других грехах: конечно, наш китайско-византийский монархизм до Петра Великого имел свое значение, свою поэзию, словом, свою *историческую законность*; но из этого бедного и частного исторического момента сделать абсолютное право и применять его к нашему времени — фэй — неужели я говорил это?... Конечно, идея, которую я силился развить в статье по случаю книги Глинки о Бородинском сражении, верна в своих основаниях, но должно было бы развить и идею отрицания, как исторического права, не менее первого священного, и без которого история человечества превратилась бы в стоячее и вонючее болото, — а если этого нельзя было писать, то долг чести требовал, чтобы уж и ничего не писать. Тяжело и больно вспомнить! А дичь, которую изрыгал я в неистовстве, с пеною у рта, против французов — этого энергичского, благородного народа, льющего кровь свою за священнейшие права человечества, этой передовой колонны человечества au drapeau tricolore — проснулся я — и страшно вспомнить мне о моем сне... А это насильственное примирение с гнусной расейской действительностью, этим китайским царством материальной животной жизни, чиновлюбия, крес-

толюбия, деньголюбия, взяточничества, безрелигиозности, разврата, отсутствия всяких духовных интересов, торжества бесстыдной и наглой глупости, посредственности, бездарности, — где все человеческое, сколько-нибудь умное, благородное, талантливое осуждено на угнетение, страдание, где цензура превратилась в военный устав о беглых рекрутах, где свобода мыслей истреблена до того, что фраза в повести Панаева — «измайловский офицер, пропахнувший Жуковым», даже такая невинная фраза кажется либеральной (от нее взволновался весь Питер, Измайловский полк жаловался формально великому князю за оскорбление, и распространился слух, что Панаев посажен в крепость), где Пушкин жил в ниществе и погиб жертвою подлости, а Гречи и Булгарины заправляют всю литературу, помощью доносов, и живут припеваючи... Нет, да отсохнет язык, который заикнется оправдывать все это, — и если мой отсохнет — жаловаться не буду. Что есть, то разумно; да и палач ведь есть же, и существование его разумно и действительно, но он тем не менее гнусен и отвратителен. Нет, отныне для меня либерал и человек — одно и то же; абсолютист и кнутобой — одно и то же. Идея либерализма в высшей степени разумная и христианская, ибо его задача — возвращение прав личного человека, восстановление человеческого достоинства, и сам Спаситель сходил на землю и страдал на кресте за личного человека».

А теперь немного вперед — от 1840-го, от 1848 к 1855-му. Герцен в Лондоне впервые печатает в «Полярной звезде» переписку Гоголя с Белинским. Заметьте: переписку, все три письма (два гоголевских, одно — Белинского). К публикации — сжатое примечание, стоящее того, чтобы воспроизвести его слово в слово:

«Обстоятельства, давшие повод к этой переписке, известны нашим читателям. В 1847 году Н. Гоголь, бывши за границей, напечатал в России свою «Переписку с друзьями». Книга эта удивила всех. Дух ее был совершенно противоположен его прежним творениям, которые так сильно потрясли всю читающую Россию. Была ли это внутренняя психическая переработка, один из тех болезненных возрастов развития, которыми человек достигает окончательного совершеннолетия; было ли это следствие физического недуга, негодования,

долгой жизни за границей или просто кружение ума? Во всяком случае, обнародование такой книги великим талантом должно было вызвать сильную полемику.

Почитатели Гоголя, принимавшие за правду мнения, ярко просвечивавшиеся в его сочинениях, были оскорблены его отречением, его защитой существующего, его принижением — по выражению неославян; они подняли перчатку, брошенную им, и на первом плане, разумеется, явился боец, достойный его, — Белинский.

Он напечатал в «Современнике» сильную статью против новой книги Гоголя.

Отсюда переписка. Давая новую гласность этим письмам, всякая мысль осуждения и порицания далека от нас. Пора нам смотреть на гласность глазами возмужалого. Гласность — чистилище, из которого память умерших переходит в историю, в единственную жизнь за гробом.

Ничего не надобно скрывать; в гласности — покаяние, страшный суд и неперемнное примирение, — если примирение есть. Сверх того, и нельзя ничего скрывать; забывается, пропадает без вести одно безличное, пустое.

Вопрос весь в том: Гоголь и Белинский принадлежат ли нам как общественные деятели на поприще русской мысли? »

Не худо бы поучиться. Ведь — *классика и мы*. Неужто не сподобимся, как они? Неужто не способны — хотя бы не ниже?

Ради России, какая одна на свете. Такая ли или сякая, но одна. Но и свет этот, именуемый Земля, тоже один. Такой ли или сякой, но один.

Не согласуются? Вот он — предмет спора. Спора признающих наперед спора — равенство в споре. Сознających, что если этому равенству не быть, то не быть не только спору.

Не быть и спорящим...
1978-1979

DER ALTER JUDE

[Интервью корреспонденту «Московского комсомольца» Юрию Зайнашеву (апрель 1992), не увидевшее свет.

Историк Михаил ГЕФТЕР: Отучитесь от «красно-коричневых»...

«Один из наиболее ярких умов, независимо следующих в России XX века историсофской традиции Чаадаева, Герцена, Маркса», – так представляет издательство «Прогресс» своего автора – Михаила Яковлевича Гефтера.

– Михаил Яковлевич, надеюсь, Вы не обидитесь, если скажу: Вы пишете «темным» языком, употребляя непривычные понятия, держа в памяти неназванные факты. А говорите также?

– Немножко обижусь, вероятно. Но оправдание – словами Окуджавы: каждый пишет, как он дышит. Вероятно, я «темно» дышу...

Цитата из Гефтера: «Как будто бы очевидная вещь – будущее всегда впереди. Перевернул лист календаря, и вот оно. Я думаю, что это заблуждение. Ибо будущее – не пролонгированное настоящее. О будущем мы вправе говорить, пока существует прошлое. Следовало бы даже слить эти два понятия в одно: будущее прошлое.»

— Когда Михаил Гефтер был московским комсомольцем, он верил режиму?

— Звучит — в случае, — да!, если не прямым осуждением, то по меньшей мере предполагает что-то несуразное. Вера... режиму? Может ли заключенный верить решетке? А если верит ей, то оттого ли, что слеп, либо противоестественным образом прикипел к ней душой и умом?

Сегодня и я бы сказал — кафкианская ситуация. Но тот «я», что возвращается воспоминанием юности, отклоняет нынешние слова. Там, где у Вас «режим», у него жизнеустройство. *Жизни устройство*. Которая не может не быть лучше прежней, лучше всех прежних. Непременно будет такой, а стало быть, есть. Перевернутая лестница. Двигайся сверху вниз — от искомого к «бывшему»! Кругом земные люди, нужды, утехи, а для тебя лишь пролог или даже *пролога*.

Самообман? Прежде чем согласиться, спрошу: разве в любой вере, в любом притязании на истину (которая всегда единственна!) не таится самообман? Изымите самообман из истории, сохранится ли самая история?

Несовпадение в словах — зазор между эпохами, разрыв поколений. Но и связь между ними не где-то, а в осознании этого несовпадения. Именно здесь.

— Однако несовпадением одним сыт не будешь. Вы сами разве не начали бы жизнь иначе, ежели бы родились, скажем, на полстолетия позже?

— Мальчиком я считал, что рожден там и тогда, где и когда следовало родиться. Но, как ни странно, теперь, на склоне лет, выбрал бы то же место. И, полагаю, не оттого, что старовер. А из убеждения, что это «место», которое корчит-ся сейчас в самопотерях и сведении вековых счетов, — самое планетарное на Земле. Средоточие всех нерешаемых проблем, всех человеческих вопросов без ответа.

— Вы неисправимый интернационалист?

— Точнее — космополит. Хотя я долгое время не употреблял этого слова, даже не знал его. Не ведал, что оно во мне сидит — может быть, генами, а не исключено, что в нем родовое начало скрестилось с чем-то глубоко личным, питаемым гибелями иллюзий и людей, самых близких.

— И как жилось этому личному за железным занавесом?

— Ощущение, что ты закупoren живьем, поразило меня в достаточно зрелые годы. А до того — Мир, весь *Мир* у тебя дома. Детство — это Китай, Кантонская коммуна, студенческие годы — Испания, австрийские шуцбундовцы, потом — перелом, где рядом сомнение и надежда: безмерно далекая от коммунизма Англия в единоборстве с «тысячелетним райхом». Но чем дальше, тем трещины глубже...

Железный занавес надо было сначала опознать — и не внешние только препоны человеку, но и внутренние. Особенно — внутренние. Не обмануть, сказав: я выросел не одноразовым сенсационным отрицанием, а поисками возможностей удерживать замысел человечества, освободить его от крови, спекшейся в каноне. Свободы я, видимо, не достиг. Быть может, застрял в добровольной несвободе, наивно полагая, что она не лишняя для тех, кто после. Так или не так — время покажет.

Но я и сегодня принимаю на свой личный счет поражение всех попыток вменить людям, втеснить в них вселенское единство. У меня нет модной аллергии к красному цвету, впрочем, как и желания размахивать флагом с серпом и молотом.

«Из благополучного погубленного поколения»

— Гефтер — из Симферополя. Год 1918 — чехарда меняющихся властей, страсти братоубийства. Детство же мирное: известный в Крыму пионер. Но всеобщее неблагополучие не минует и этот дом (безотцовщина, ранняя болезнь, след которой, вместе с будущей военной контузией, — сквозь жизнь). Из школы — в столичный университет. Сталинский стипендиат. Последний госэкзамен — 23 июня 1941. Затем комсорг студенческого батальона на строительстве противотанковых рубежей, доброволец-рядовой в отдельном истребительном батальоне Красной Пресни. В это время нагрянувшие в Крым немцы уничтожили его мать и брата. В боях за Ржев — два ранения. Награжден солдатским орденом Славы. После Победы — профессиональный историк. Четверть века, до вынужденного ухода

после «проработок», — в Институте истории Академии наук. 1970-е: в самиздатских «Поисках» и альманахе «Память».

Генерал КГБ СССР Филипп Бобков: «Михаил Яковлевич Гефтер не был диссидентом — он инакомыслящий».

Журнал «Век XX и мир» (Г.Павловский): «Гефтер любит ясность, и он ясен. Он не любит простых ответов, поскольку вообще не любит лжи; а на судебные повестки он отвечает трактатами, которые следователи, не читая, подшивали к делу».

— Я принадлежу к «благополучному» п о г у б л е н н о м у поколению. Большая часть его полегла в 41-м, 42-м. Где же источник гибели? И мимо ли оно благополучия? А это последнее — что оно, какого свойства?

Не ответишь односложно. Ибо каждый ответ — биография. Мы — дети разных родителей, но, как правило, не испытывавшие конфликта с «отцами». Не знали мы уже и заданного — родословной и революцией — раскола в собственной среде. Сплотила не бедность, а *срединность*. История застряла в нас на пороге Выбора. Его можно назвать и мирным, памятуя о начатых в середине 1930-х (и оборванных тогда же) переменах внутри, и антифашистским, что было внешним лишь по «адресу», но не по сокровенному смыслу. Что-то зрело вокруг нас и в нас.

Гибель же была упреждающим ответом на это еще неизвестное «что-то». Гибель не за один присест. Сталинский террор имел свое «разделяй и властвуй». Кто миновал эту волчью яму? У Колымы со Ржевом — побратимство судеб...

— *Ваше поколение так и угодило бы целиком в эту яму, если б не война?*

— Вы хотите сказать, что война оберегла нас от бесчестья? Страшно признаваться в этом, когда перед глазами лица, улыбки, когда раскрываешь снова фронтные треугольники и, разбирая стершиеся строки погибших, ощущаешь уже невозстановимую чистоту их помыслов, и дума приходит: а ведь то самое *«что-то»* не улетучилось. Не исчезло вовсе. Смерть — великая хранительница. Она будит память и,

подобно голограмме, придает эпизоду отчетливость непродуманного целого.

Вот крохотная весточка из нашего былого. Мы пришли в университет в 36-м году, сразу после расстрельного процесса Зиновьева-Каменева. Бесконечные собрания, персональные дела... Слушалось «дело Евгения Мельничанского» — его отца, бывшего профсоюзного лидера, арестовали. Женя внезапно покаялся: «Однажды я был на елке у Томских». Мы заступались за него... Поднимается один *персонаж*: «Однокурсники защищают Мельничанского, а ведь он находился в тесной связи с врагом народа Томским!» И комсомольское собрание грохнуло в смехе. Женя остался в комсомоле, в университете...

Как назвать это? С одной стороны — чудовищное: по доброй воле раскрывать душу общественному сыску. А «решка» — вызволение товарища (случай-то не единственный). Двоедушие? Пожалуй. Ведь не доверяй мы происходящему (в целом), и для солидарности вслух не нашлось бы места. Вот оно, минное поле, — доверие. Не рейтинг, не референдум. Меньше, много меньше... и — больше.

— *Но что, собственно, переменилось — не в судьбе Евгения Мельничанского, а в судьбе вашего поколения? Дали распорядиться собою — расплатились жизнями, брошенные под гусеницы немецких танков...*

— Трудно гадать, что было бы, если бы. Не так бы началась война, не столько бы жертв... От доверия властвующему «целому» (*жизни устройству!*) переходят не к недоверию, а разом — к Сопротивлению. Те мои сверстники, которых давно нет, еще не испортились карьерой, «необходимостью» пресмыкаться и теснить других... Отчего им, нам так пришелся Василий Теркин? В 41-м сопротивлялись смертью! Виднее, Гитлеру. Но подспудно — Сталину... Скажут: красивые слова, однако — спорные. Что ж, пусть рассудит Третье тысячелетие. Исключишь ли, что оно назовет это благополучное погубленное поколение «сораспавшимися» и тому primero, от коего счет, и себе.

Из письма Гефтеру от подруги университетских лет: «Читая и перечитывая некоторые страницы твоей книги, я всякий раз вспоминаю пережитое и невольно ставлю тебе разные вопро-

сы. И опять же главный из них: почему, почему мы оказались послушными?.. Ясен ли ответ на этот вопрос — тебе? Может быть, как философу — да. Но уже как человеку? В чем ты видишь долг «живых аборигенов Атлантиды» (выражаясь твоим словом)?»

Времена не выбирают,
в них живут и умирают

Гефтера тоже не минуло «персональное дело» — посадили дядю. Но тут случился очередной зигзаг: январский Пленум ЦК 38 года, призвавший выявлять двурушников, которые делают карьеру на трупах честных советских людей. Волна отхлынула, и Миша Гефтер отделался «легким испугом». А сорок четыре года спустя, в 82-м ветеран 52-й Московской коммунистической дивизии, писал Генеральному прокурору СССР, настаивая, чтобы тот, следуя своему конституционному долгу, вошел в Верховный Совет с предложением амнистии «всем без изъятия советским гражданам, преследуемым за инакомыслие». И еще через четыре года — Генсеку: «К счастью, Вас не били до утраты сознания в лагере строгого режима. Но если бы Вы слышали об этом из первых уст, о чем подумали бы? И что сказали бы, узнав из сводки важнейших событий, что в Чистопольской тюрьме голодает арестант Марченко, надеясь добыть свободу всем, кого именуют политическими заключенными?». Говорят, Горбачев прочитал это письмо.

— Тоталитарная система страшна даже не тем, что может уничтожить множество людей. Самое страшное — их собственными руками. Самое опасное — способность ее спровоцировать род человеческий на самоубийство. Возвращая в человека убийцу, удерживать в нем и жертву: соавтора всеобщей гибели. Однако не удастся. До конца не удастся. Никому. Ткань жизни идет в надрыв, съеживается, замирает, чтобы затем распрямиться новыми побегими. Покойная Виктория Чаликова была стократно права, протестуя против самого выражения — «тоталитарная личность»...

— А в наше лихолетье жизненная ткань идет на убыль или все-таки в рост?

— Вы, Юра, намекали: я, мол, выражаюсь заумно. Вот сейчас последует пример, лишь затем — рассуждение.

В декабре 1979 года у меня был обыск, долгий, четырнадцать часов... «Они» открыли дверь своим ключом в восемь утра, а поздно вечером двое с Лубянки поволокли в прихожую мешки с книгами, рукописями, письмами. В комнате же собирала свои бумаги молодая сотрудница Прокуратуры. Уходя, она оглянулась: «Простите нас, если можете». Она ведь рисковала. Не жизнью, но рисковала. Хотела утешить нас, а сотворила добро для себя. Как этого не запомнить!

Теперь «абстракция». Судьба нашей родной Евразии — три пространства. ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ: империя и Союз — держались выравниванием, потребовавшим при Сталине такого насилия, какое вряд ли знала людская история. Это пространство обречено. «Единой, неделимой» больше не быть, как бы не звали к реставрации. Ушли в независимость громадный кус Европы, немалая часть Азии. Заново возникает Россия — такой ее никогда не было. Не в смысле границ, а по сути: *страна стран*. Изнутри растут страны! Не убегают, а самоутверждаются, и в их числе — русские страны... В этих же пределах второе, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ пространство. В значительной мере — искусственное, возвращенное на монополии. Не мертвое, но полуживое. От него к рынку — прямой ли путь? И опять-таки — к единому рынку ли или к рынку рынков, для которого нет готового рецепта... И, наконец, ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ пространство: мозаика «клеточных» связей, которые трудно поддаются инвентаризации. Сегодня бьют в глаза кровь, противоборство на месте придуманной идеологами госдач «исторической общности» по имени советский народ. Что же на смену? Есть ли шанс у Евразии сохраниться в людях?

Думаю, что есть. Не упустить бы только, покаившись потомкам: «Простите нас, если можете»... Это человеческое пространство не вне родословных, но и не новый мегаэтнос. Оно и в памяти, и в культуре — в силу и в меру обособления их от власти. Оно — в «невидимых колледжах», бескорыстно наводящих мосты между собой. Сегодня эти связи еще не

заметны, их голос заглушают политики и политиканы. Но усики свежих «горизонталей» тянутся навстречу друг другу. Бывшая провинция вырастает в интереснейшие очаги жизни. Не сегодня, завтра они заложат основание и гибким, пластичным «вертикалям».

Новый идеализм? А почему нет? Чрезмерная ли дерзость сказать: мы исчерпали XX столетие, а с ним историю, главным помыслом которой являлось ЕДИНСТВО во всесветном масштабе, добываемое и мирно, и насильственно. Убежден: в следующем веке деятельность людей направится на взаимное поддержание, взаимный вклад в различия. Прежде всего в это. От новых, продуктивных ВРОЗЬ — к новому, планетарному ВМЕСТЕ.

Мир миров! Каждый мир — проекция Мира, а последний не сумма, а интегральная величина — со своим кругом дел и обязанностей, из которых ведущая — экология, но не в охранительном только смысле, а в качестве эврики, толчка к творчеству, к возвышению чеховских, «астровских» будто малых дел в великий смысл. И прошлое — уже не ристалище, где схватываются «почвы» и метрики, а ОПЫТЫ всех, принадлежащие всем...

Цитаты из Гефтера: «В нынешний наш домашний спор вовлечены — по сути — все эпохи российской истории. И не просто вовлечены. Они, эти эпохи, оказались равно присутствующими вопреки хронологии. «Вертикаль» перевернулась в «горизонталь». И уже неясно, было ли, например, крещение Руси раньше или позже Октябрьской революции».

«Переначать себя в качестве полигона? Либо — прочь всякие полигоны. Скромнее и ответственной: узаконить свое действительное призвание — всего лишь одного из многих миров в Мире!

Всего лишь один из... — может ли быть цель человеческая и практичнее, неопробованной и достойнее?»

Гоненье на Москву?

Гефтер — человек действия, а не старичок-лесовичок, каким может выглядеть на фото. Его голос незлобив и

ненавязчив. Но если на митингах звучат «истины», то на страницах гефтеровых книг — лишь нащупы ответов. Разумеется, не случайно оказался он в числе создателей и постоянных авторов самиздатских «Поисков». И эта же страсть вопросов продиктовала ему и уход на пенсию «до срока», и отказ от членства в КПСС на шесть с половиной лет раньше нашего президента.

— *Михаил Яковлевич! Ваш давнишний сподвижник 70-х годов, ныне — директор информационного агентства, раз сказал мне: мол, в последние три четверти века наш город возглавил и довел до конца уничтожение России. А Вам, космополиту, Москва по нраву?*

— Вы не читали дневник Януша Корчака, великого педагога, добровольно ушедшего в смерть вместо со своим Домом Сирот? Это удивительный памятник человеческого духа, полный смятения и ясной мудрости. Там, между прочим, Корчак вспоминает, как ему однажды было сказано, что еврей может быть хорошим варшавянином или краковцем, но никак не поляком. Корчак же не отрицал. Он ответил, что его не волнуют Львов и Гдыня, Беловежская пуца и Висла под Краковом. Но варшавская Висла, но сама Варшава... «Это мой город, я — часть ее».

Мне это близко. Необъятные просторы можно ведь любить только по указке школьного учебника... Признаюсь: я не то, чтобы забыл свой Крым, скорее память отторгла вместе со страшным и любимое, только сейчас оно возвращается. А вообще судьба приговорила быть москвичом. С судьбой же не спорят. Правда?

— *И как Вам наш общий дом? Эта 9-миллионная деревня, эта гремячая подземка, пыльный центр, наконец, площадь Дзержинского?*

— Но здесь же много дорогих мне людей. Этого достаточно.

Да, Москва создала империю, потом СССР, она и тогда, и после была выразителем гнетущей, неподатливой евразийской громады. Да, в этом качестве она гнула мысль, давила людей... Но теперь символика «Москва-Кремль» уходит в небытие. И нашему мегаполису еще предстоит стать городом в точном смысле, то есть общиной местных граждан,

имеющих предметом деятельности этот самый Город. И не исключить, что нынешний тяжкий надлом столичных привилегий — на благо москвичам.

— *Есть ли в Белокаменной места, где вы раскованны и благодушны?*

— Старинный дом, верней — остатки его, что на Герцена 5: там был наш довоенный истфак, там, если верить в призраки, Сергей Трубецкой встречается с павшими в 41-м начинающими декабристоведами... Консерватория — лица тут всегда особенно человечные... Библиотеки, чего стоит только отдел редких книг в Ленинке... Ну и, само собой, дома друзей, многие из них, правда, уже опустели... И еще есть куда мне удалиться в мрачный день, — в мой отчий дом — в русский Девятнадцатый век.

Das ist der Mann

— *С Ваших слов (помнится, Вы сослались на Андре Морюа): Бисмарк, встретившись с Дизраели сказал: «Der Alte Jude, das ist der Mann» («старый еврей, это — человек»). А что, если к Вам сие применить?... Простите великодушно, но Вы часто в собственной жизни нарывались на жидомордство?*

— Об этом грешно мимоходом. Давайте отложим до следующей встречи. Речь-то не об обидах, об этом вслух какой смысл? И даже не об антисемитизме как таковом. Речь все-таки не о болезни и как ее лечить, а о больном человеке: прежнее здоровье ему не вернешь, но ведь умной и опрятной терапией можно привести его к «третьему состоянию» — выздоровлению. Так — можно или нет? Дано это или уже ушло?

Антисемитизм во всем мире одинаков. При различии мотивов схож контрапункт: тяга вычеркнуть нечто неудобоваримое, чуждое близостью. Что-то не дается из самого кровного. Что же? Карьера? Достаток? Жизненная энергия? Нюх на новое?.. Это, но одного его мало. Бери выше. Человечество! Не термин, не данность. А — заявка, «проект». Сквозь два тысячелетия к Третьему. Ныне особенно близки к нему, рукой можно дотронуться. Но нет. Чем ближе, тем дальше. Чем вещественнее его присутствие в жизненном

обиходе, тем явнее неосуществимость его. «Шарик», как говорил Хрущев, тесен. Теснота пугает, стравливает, пробуждает в человеке убийцу, рождает кровь.

Нагорный Карабах это тоже еврейский вопрос. И Югославия. И Ирландия. И Пенджаб. Что уж говорить о Ближнем Востоке.

— *Россия же, как и положено ей, еще впереди?*

— Есть какая-то большая связь между пространственной теснотой России и комплексом придавленности, обделенности, казнимости русского человека. Эта нездоровая связь и питает юдофобство. И не только бытовое. В русской культуре она парадоксально рядом с состраданием, с позывами державного просветительства и даже имперского гуманизма. Мне кажется, мы недостаточно откровенны в суждениях об антисемитизме, сами загнали проблему в нижние этажи сознания. Боимся признать: **еврейский вопрос — русский вдвойне.**

— *По плечу ли фронту «Память» однажды взять верх?*

— Спросите у социологов-опросников: за кем завтра придет очередь? Это соедините с еще одной, явной и потаенной неопределенностью. Мы, кажется, недоучитываем факт огромной важности — исчерпание «холодной войны». Стойкость ее нравов, ранимость последствиями. Россия навсегда ушла к себе, в себя. А это значит, что она уже больше никогда не сможет свои внутренние невзгоды извергать вовне. Безусловно, не сможет. Но ограждены ли мы этим от тени Суворова в самодельных эполетах?

Что же противопоставить? Только право на высказывание, только диалог на этом, пропитанном кровью, месте. **Отвыкнем от кличек вроде «красно-коричневых».** Интеллигентский изоляционизм — вреден и опасен.

— *А кем, Михаил Яковлевич, ощущаете себя Вы: русским, евреем или русским евреем?*

— Честертон как-то заметил, что люди делятся на три категории: первая — это просто люди; их больше всех и они лучше всех. Разве русскому еврею не найдется среди них место?

АНТИСЕМИТИЗМ – ПРЕДРАССУДОК? ИЛИ ЗАМКНУТОСТЬ В ДУХОВНОМ ПОДЗЕМЕЛЬЕ?

[Фрагмент разговора с немецким историком Маркусом Матюлем (Гамбург) 26 сентября 1994]

М. Матюль: Как Президент центра «Холокост», ставите ли Вы своей задачей противодействие лавине антисемитизма, захлестывающей Вашу страну?

М. Гефтер: Ответ я бы начал с необходимого отступления.

В Центр «Холокост» меня пригласили в году 1991. Его идея уже существовала к тому времени. Двое молодых людей Елена Якович и Илья Альтман как-то пришли ко мне домой и на кухне мы занялись обсуждением, каким же должен стать первый в России подобный центр.

Был начальный период, трудный да и мрачноватый, когда идею хотели перехватить люди нечестные. Но речь не об этом.

Итак, есть Центр, который уже о действует, провел симпозиум, выставки, имеет публикации, контакты и т.д.

И есть проблема, которая одним этим Центром не разрешима и вообще в целом решается не самым лучшим образом. Тут надо иметь в виду вот что. На территории бывшего Советского Союза убито нацистами по не вполне точным, но достаточно определенным подсчетам — свыше 2

миллионов евреев, не менее трети из всех загубленных евреев. Были они уничтожены в Прибалтике, на Украине, в Белоруссии, Молдавии и на оккупированных областях России. Особенность состоит в том, что хотя и вывозили потом евреев в лагерь, в Освенцим в частности, но основную массу убивали здесь, путем расстрелов сразу после занятия немцами городов и местечек. Были гетто, где уничтожение шло не тотчас, но тем не менее производилось и там.

Тут три момента.

Евреи и их судьба.

Второй — люди других национальностей, которые, рискуя жизнью, спасали евреев. Такие были. Их надо разыскать, их имена должны стать известны.

Третий — сопротивление, которое имело место вопреки лживой легенде, что его вовсе не было. Может, было недостаточно сильным, но надо иметь в виду, что все мужчины, которые могли бы участвовать в нем, были призваны в армию. Сопротивление могли оказывать в основном старики, женщины, дети и в небольшом числе молодежь из числа непризванных в армию и не угнанных на работы...

Вот три действующих лица. Наш долг — память. Наш долг — собрать сведения обо всех.

Теперь — об отягчающих эти задачи обстоятельствах. В то время как Европа, Америка и государство Израиль длительное время переживали Холокост, занимались им как проблемой, мы оказывались в стороне. У нас на эту память — вето. Она — в зоне умолчания. Только теперь учимся говорить. И вновь — свои трудности.

Нельзя не учитывать, что ужас Холокоста здесь затронул гигантскую территории ПОСТОЯННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЕДСТВИЯ. Выделение этой трагедии в качестве исключительной — хотя она исключительной и была, — очень непростой вопрос, если, конечно, не замыкаться в узкий круг еврейской беды как таковой и переживать между собой то, что случилось. А ведь это проблема, затрагивающая Россию, касающаяся русских как большинства России, я уже не говорю о бывшем Союзе: Украине, Белоруссии особенно...

Только последние два года, примерно с 1992-го года, общественное мнение у нас стало как-то поворачиваться лицом к этой проблеме. И если б Вы бывали у нас, то мы проводили поминальные вечера в дни восстания в Варшавском гетто (этот день отмечается во всем Мире или, точнее, в той его части, где отмечается). В начале и у нас собирались немногие, а в прошлом году большой зал Дома ученых был полностью забит людьми, которые пришли туда по доброй воле.

Нам надо создавать Музей Холокоста, что требует помещения и денежных затрат, достать их сейчас нелегко. Во всяком случае Центр «Холокост» сейчас слышен и виден здесь.

А проблема все равно гораздо больше, глубже. Я бы в ответ на Ваш вопрос заметил, главное — освоение. Переживание этой трагедии чревато трудностью, с которой надо считаться.

Только сегодня это началось. Но проходит на фоне взрослых всякого рода атавизмов, исторических мистификаций... Среди них антисемитизм занимает, конечно, далеко не последнее место. Я не считаю, его единственной фобией, уникальным предрассудком. Нет, вовсе не один он сейчас вышел наружу в обществе, которое живет не по указке, а значит, может говорить вслух то, о чем хочет сказать. Другой вопрос — готово ли оно к этому, и как пользуется этой возможностью.

Но очевидно: всякого рода переживания, чувства, предрассудки, которые непосредственно вроде бы не должны провоцировать антисемитские настроения, на деле их вызывают — по правилам сложного перехода от закрытости к открытости.

Скажем, люди стали жить своими родословными. Это общее явление. Раньше были все — советский народ, теперь у каждого своя и отличная от других генеалогия. Активизация наследственной памяти вызывает спутанный клубок эмоций, противостояний, самонахождений, в ряду которых — и взрыв антисемитизма. Но повторяю: выделение его в качестве отдельной проблемы, обособленной от других,

ошибочно и может иметь не лучший результат. Такова, кстати, позиция центра «Холокост».

— *Я поражен откровенностью антисемитизма в современной России. Чем Вы объясните причины этого в добавление к тому, что Вы уже об этом сказали.*

— Дорогой мой, откровенность, если не иметь в виду именно антисемитизм — наше обретение. А то, что выступает не в лучших формах, — естественно. Человек, который жил со спертыми эмоциями и непроясненными мыслями или даже до-мыслями и не мог их вывести наружу, теперь вроде свободен от этого. Но вот ведь закон: элементарное чувство и элементарная мысль выходят наружу легче, быстрее, проворнее.

Кроме того произошел распад Советского Союза. Появилась новая Россия — страна, какой раньше не было. Возобновилась проблематика русской идентификации, которая в очень непростой связи (по крайней мере с конца 18 века, в сущности же с 19 столетия, особенно с 80-х годов 19 века, когда заметным стало участие евреев в революционном движении, в народничестве и стала появляться еврейская интеллигенция) с проблемой, — КАК ОТНЕСТИСЬ К ЭТОМУ КОМПОНЕНТУ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ...

Проблема по наследству передана и нам. Не только в том дело, что в России было много антисемитов, прежде страшившихся Лубянки (якобы борющейся с антисемитизмом), нынче же не боящихся ее. Нет! Открытость — это некоторый признак теперешней жизни. И этим моментом легче пользуется все поверхностное, банальное, связанное с подкоркой человека. В том числе чувства, которые гнездятся в душевном подземелье, — оно есть в каждом из нас! К этому нельзя относиться равнодушно, но — с пониманием причин.

— *Согласны ли Вы что антисемитизм провоцируется и позициями партий и группировок так называемой национал-патриотической оппозиции?*

— Бесспорно. Считаю ли я так или нет, от факта не уйти. Поскольку нынешняя Россия попала в двойной переплет проблем самоидентификации и нахождения заново

своего места в Мире, постольку эта двойственность особенно трудна для человеческого сознания. Как я уже сказал, простому, грубо-вульгарному, банальному, управляемому инстинктами, легче выйти наружу и заявить себя, чем взгляду более сложному. К тому же наше демократическое сознание крайне не развито и не идет навстречу острым проблемам.

Оно либо требует применения закона по отношению к погромным антисемитским высказываниям, либо ограничивается общими декламациями на тему, что это, мол, — фашизм.

Применительно к закону требование вроде бы правильное. Закон должен стоять на страже общественного спокойствия и той элементарной нравственности, которая запрещает всякую публичную ненависть. Но я уже несколько раз говорил, в том числе выступая по телевидению, что всякое избирательное применение закона в условиях, когда он вообще не действителен, когда в стране фактически атрофирована судебная власть, результата дать не может, либо чревато действием противоположным. Когда очевиден призыв к насилию, закон должен сказать свое слово. Но надеяться, что он сможет помешать насильникам и их трубадурам, если он не прорастает в основание всей жизни, а исполняем лишь по принципу избирательности, — бессмысленно. Более того, это может способствовать тем, кого мы с основанием можем назвать (да и сами себя именуют) фашистами. Вопрос же о партиях и элементах антисемитизма у них должен рассматриваться конкретно в каждом случае. Вы можете к Зюганову относиться, к примеру, как угодно, но антисемитизма у него нет.

— *Но ведь он-то и говорит, что есть всемирный космополитический мировой порядок.*

— Тут надо различать несколько аспектов. Поскольку я космополит, могу с Вами совершенно спокойно обсуждать этот вопрос, причем, космополит я убежденный и давнишний, а не то, чтобы стал им сейчас.

Был такой негритянский писатель Джеймс Болдуин, яростный враг расизма, человек, болезненно переживавший

всякое унижающее негра отношение со стороны белых американцев. Его современница Маргарет Мид, очень известный американский антрополог, прекрасная женщина, в отношении которой Болдуину и в голову не могло б придти, что она негрофобка. У них как-то случился откровенный разговор, и Маргарет Мид говорит Болдуину: «Если соберутся в кружок люди, у которых много разных страданий, и будут рассказывать, как им плохо, отчего они страдают, обязательно в центр выйдет негр и скажет: мне хуже всех! Так вот, — не надо!!»

Эта идиотская идея о всемирном заговоре космополитов вовсе не обязательно имеет антисемитский характер. Дело в том, что существуют люди в разных странах, которые мыслят действительно масштабами Мира. Для них нет различия принципиального между домашними страданиями и страданиями в другом месте.

Немало, к сожалению тех, кто в разных идеологических и спекулятивных целях говорит о космополитическом заговоре. Так что ж? Надо отрицать космополитизм как таковой? Но он имеет право быть. Вы можете отнестись к этому сочувственно, нейтрально или враждебно. Но он есть. Это и вызывает определенного рода реакцию. Другое дело, ЧТО означают все эти разговоры о космополитическом заговоре здесь и сейчас. Либо они носят националистический характер, связанный с тем, о чем я сказал выше (что России приходится решать проблему самоидентификации и заново находить себе место в мире). Вся сложность взаимоотношений с миром, прежде всего с Америкой и с другими странами — особая трудность, поскольку требует разрешения целого ряда проблем, притом разрешения концепционного и практического. Нередко они интерпретируются с прямолинейной и не очень развитой точки зрения как элемент ЗАГОВОРА, которым кто-то управляет и направляет специально в сторону ущемления места России на мировой арене и ее же прав.

Я бы считал так, что с людьми, которые не являются слепыми ненавистниками, надо полемизировать. Человек, осознающий себя космополитом, не должен заявлять: «Я не

такой, как Вы думаете. Вы клеветаете на меня». Лучше сказать: «Да, я — космополит, почему, собственно, Вы можете исповедывать свои взгляды, а мне в этом отказываете? С чего Вы взяли, что у этого умонастроения нет права на существование?»

— В Германии разделяют современный антисемитизм и анти-иудаизм, опирающийся на враждебное отношение к евреям в историческом контексте. Современный антисемитизм, тяготеющий к объяснению нынешнего окружающего мира, базируется на расовом мифе и корнями связан с эпохой индустриализации Германии конца 19 века. Есть ли аналогичные тенденции в России с конца 19 века или позже, которые демонстрируют новые свойства антисемитизма, то есть враждебного отношения к евреям, основанного на расовом мифе и стремлении с таких позиций объяснить устройство окружающего мира?

— Интересный вопрос, предполагает, однако, долгий разговор. Для короткого ответа я бы сказал так: антисемитизм в России сначала носил локализованный характер, поскольку вообще еврейская проблема здесь возникла века с 17-го, в пору восстания Хмельницкого и погромов, которыми сопровождалось движение Богдана Хмельницкого, имевшее итогом присоединение Украины к России.

В 18 веке, после разделов Польши, когда значительная часть польских евреев переместилась в пределы России, возникла черта оседлости. Тем самым заявила о себе еврейская проблема. Появился новый и существенный элемент жизни. Отчасти локализованный поначалу, более широкий характер он получил с конца 19 века с активизацией евреев в революционном движении России и заявкой их на соучастие в развитии русской культуры...

Заметим, кроме простонародного, бытового антисемитизма, существовал — нельзя отрицать — и государственный, и антисемитизм интеллигентский. И то, и другое, и третье имеет совпадающие точки и различия.

О государственном мы сейчас не говорим, вопрос особый, он имел место в царское время, особенно в XX веке, когда Николай II активно и открыто поддерживал Союз

русского народа, черносотенные погромные организации. Государственный имел место и при Сталине.

Все виды антисемитизма — бытовой, государственный и интеллигентский — переплетены между собой. К интеллигентскому приходится относиться с более пристальным вниманием. Понимание причин его непростое. Существует, как я уже неоднократно писал, своего рода РУССКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС, который затрагивает судьбу евреев, отношение к ним, но также связан с вопросом о судьбе русских и пониманием ими своего менталитета, национального самосознания и т.д. Вопрос к тому же заостряется из-за очевидных фактов активного участия евреев в Октябрьской революции, гражданской войне, достаточно высоким процентом их (хотя и не исключительным) в органах ГПУ и в последующих вариантах чрезвычайной комиссии, притом что с середины 30-х это идет на резкую убыль с усилением государственного антисемитизма и позиции Сталина. Завершается в годы 50-е подготовкой Сталиным карательных мер против всех советских евреев. Я об этом писал, теперь найдены в архивах документальные этому подтверждения.

Является ли антисемитизм в России расовым? Исторически, думаю, — нет. Или не вполне, потому что все-таки было дело Бейлиса и подобные, расовый элемент в них несомненен... Сейчас этот компонент усилился. Ваше соображение о том, что вся эта проблема связана с пониманием МИРА, — правильное. Несомненно, связана. Тут есть острый момент, вековой пункт. Он — заноза в человеческом сознании.

Заноза может являть себя вульгарно в расистском духе, может — более сложно. Чтобы это понять и проследить, надо бы опуститься в древность. Она тут непременно присутствует. (Сейчас и здесь не касаюсь позиций православной церкви в прошлом и сейчас, это уже особый вопрос).

Есть к тому осложняющие моменты, которые Вы должны иметь в виду. Они относятся уже ко времени перестройки.

Проблема, которую вряд ли знает какая-то другая страна кроме бывшего Советского Союза, — евреи, РЕШИВ-

ШИЕ НЕ УЕЗЖАТЬ. К ним особое отношение и тех, кто уезжает. Государство Израиль, к примеру, рассматривает почти всех евреев в нынешней России как ВРЕМЕННО ЗАДЕРЖАВШИХСЯ. А вместе с тем идет рост на новой молодой почве еврейского исторического, культурного, художественного самосознания. Опять же существует еврейская прослойка тех, которые являются во всех отношениях просто русскими, если бы их только не считали евреями, да и они себя в какой-то степени евреями не осознавали. Как решится их проблема? До известной степени это один из важных моментов будущего России... Какой она выйдет из нынешних своих коллизий и нынешних своих духовных передраг? Станет ли страной, осознавшей себя частью Мира, призванной внутри себя выстроиться как МИР, а не просто в виде отдельной нации, отдельной унитарной страны среди других мировых держав? Как сложится? От этого зависит многое. Еврейский вопрос занимает далеко не последнее место. Не последнее... Поэтому те люди, которые ПРОТИВОСТОЯТ антисемитизму, должны понимать, что они тоже решают проблему Мира, отношения к МИРУ, устройства МИРА, проблему поддержания природы человека, шансов человека выжить на Земле. Иначе они проиграют эту борьбу и поставят себя в положение людей, которые все время призывают власть: примените силу! И тогда им уже безразлично, какая по сути эта власть, лишь бы давала обязательство силу употреблять, допустим, против антисемитов. Но в таком случае не удивляйтесь, если власть будет плохая.

Я несколько сбивчиво отвечал Вам. Сам же вопрос задан правильно. И это очень серьезная тема.

— Почему антисемитизм не исчез после Октябрьской революции, с созданием Советского Союза со всеми его интернационалистскими призывами?

— Первый момент. Отвечу словами Эйнштейна и многих других людей, которые так думают: пока существуют люди, будет и антисемитизм. Это тень, отбрасываемая древней трагедией на все существование людей. Не исключая. Я не такой пессимист, но не исключая. Многое из

раннего, первозданно-человеческого как ТЕНЬ сопутствует людям многие столетия. Может, с этой тенью надо уметь обращаться, но ликвидировать ее, уничтожить — проблематично.

Второе. После Октября антисемитизм был категорически запрещен. Один из первых после революции судебных процессов был над Виппером, прокурором в «Деле Бейлиса» 1913-го года. Его судил Высший трибунал военной республики и приговорил, как помнится, к содержанию в концлагере до полной победы мировой пролетарской революции или что-то в этом духе.

Тем не менее не потому только, что был запрещен, а в общей атмосфере доктринального и бытового интернационализма, которым проникнуты первые десятилетия после Октября, антисемитизм шел на убыль.

При этом, как все запретное, антисемитизм не мог исчезнуть сам собой. Запретные вещи вообще никогда не исчезают до конца.

Почему произошел поворот к государственному антисемитизму сталинского образца и отчасти пост-сталинского? По многим причинам. Во-первых, это один из сопутствующих моментов внутрипартийной борьбы, если иметь в виду национальный состав большевистских верхов и особое место, какое занимал Троцкий.

Во-вторых, с какого-то момента сталинская политика, направленная на максимальную унитарность, на вытравливание всех различий, должна была себя идеологически оформить как державная политика и, естественно, она ориентировалась на старую великорусскую державность, на старое великорусское имперское сознание.

Естественно, немалую роль сыграла война. Само уничтожение нацистами евреев не могло восприниматься однозначно, тем более оставаясь наглухо закрытой темой.

А поскольку в условиях монопартийного правления кадровая политика была не просто частью жизни, а такой, которая определяла ее, ВСЮ, недопущение евреев в те или иные сферы означало, что данный элемент является нормой жизни. Не учитывать этого обстоятельства нельзя. К началу

50-х годов государственный антисемитизм достиг своей кульминации, особенно в связи с холодной войной. Он имел и мировую установку. Главным же противником признавались США, что идеологически оформляло мотивы нарастающего внедрения в холодную войну — вплоть до возможности превращения ее в «горячую». Тут момент кульминации связан с заявкой на МИР, с территориальными и миродержавными поползновениями сталинского режима, хотя носил и откровенный антисемитский характер. Антисемитизм — личная фобия Сталина. Дело шло к развязке замышленным процессом против врачей. Только смерть «отца народов» ее отклонила.

Практика сталинских лет создавала паталогическую коллизию для человека: функциональную заданность его системой — от рождения до смерти. Человеку «предписывалась» жизнь как роль, притом роль при режиссере, не допуская вольных отклонений. Антисемитизм был некоторой иррациональной компенсацией. На эту тему можно было бы специально поговорить. Думаю, что и в литературе это наблюдение имеется.

В целом же это не короткая тема, если ее обсуждать всерьез.

Тут надо иметь в виду еще ряд моментов. Распространено не вполне верное представление о пост-октябрьской жизни, как однородно развивавшейся в единственном же направлении. На самом деле она была более сложной. Процесс превращения сталинской системы в нечто, абсолютно определяющее жизнь людей, был асинхронным, отдельные элементы оказывались уже достаточно представленными, например, внутри партии, в идеологии, в то время как в сфере искусства, художественного творчества или в самодеятельной жизни людей еще шли и другие процессы, начатые революцией или ускоренные ею. Вот это представление о сплошном ходе пост-октябрьской истории, собственное и Солженицыну, и другим авторам, вводит в заблуждение. Его длит и иное бессмысленное утверждение, что все — до определенной даты в календаре — было хорошо. Не понимая, что всегда жизнь была очень сложной,

асинхронной. В ней оставалось место взросшим или просочившимся контр-тенденциям, иным вариантам. Была, например, война, во время которой произошла стихийная десталинизация, когда человек на грани смерти и выбора собственной участи становился в этих тяжелейших условиях внутренне свободным. Выжившие сберегли элемент этой внутренней свободы, чем и объясняется идеологическая реакция конца 40-х начала 50-х годов. Она была сталинским ответом на обретенное человеком в условиях войны ощущение внутренней свободы, возможности выбора, принятия решения... Поэтому Ваше наблюдение должно быть рассмотрено в некоем историческом контексте. Ведь что-то уходило вперед, что-то догоняло, пока система, казалось бы, не подошла в конце 40-х годов к своей полноте. И тотчас вступила в фазу агонии, антисемитизм же остался и продолжает свою историю...

РОССИЯ КОНЦА XX ВЕКА – КАКОЙ Я ЕЕ ВИЖУ?

Вероятно, чтобы ответить, даже с риском ошибиться, надо прежде решить: какой она быть не должна. Прежде всего — о неисключенных бедах, о тупиках, в которых можно надолго застрять, и даже о катастрофе, о которой нельзя не думать — ради того, чтобы её предотвратить.

Не от нуля мы идем. Не от нуля, но с Начала. За спиною — исторически необратимые превращения старой, традиционной России и непомерная цена, уплаченная за них. Цена, которую доступно выразить данными статистики, но прежде всего заключенная в человеческих потерях, в досрочных обрывах жизней, в опустошенности душ. Не следует строить иллюзий, что счет этому закончен в 1953 году. В иных формах он длится и позже, достигая дня сегодняшнего.

Текущие дела заслоняют от нас более дальнюю перспективу. Можно оправдать это насущными нуждами, потребностью действовать, не дожидаясь того, чтобы созрели в полном объеме благоприятные условия. Да, далеко не идеал — запрягать телегу впереди лошади. Но часто или даже чаще всего так делалась история. Однако сегодня мы ощущаем с нарастающей резкостью: дальше так нельзя. Метод проб и ошибок вряд ли подходит людям, завершающим свой XX век: столетие, которое придвинуло Мир к краю бездны. Человечество пока спасалось. Оно отстояло себя от бешеного натиска фашизма, от новой — термоядерной схватки, от угрозы коллективного самоубийства. Но нельзя не видеть, что призраки былого не покидают Землю. Поистине они многонациональны. Россия, разумеется, не исключение. Можно

сказать, что она подтверждает правило с избытком. Наши домашние призраки, правда, переучиваются, меняют лексикон, хотя не отказываются и от позавчерашней словесности, от ложных посулов и истовых изобличений повсюдных врагов, изменников, «агентов влияния» и т.д. и т.п. Тоталитаризм чересчур глубоко въелся в мнения и нравы, чтобы освободиться от него единым махом, очиститься сполна прилюдным покаянием.

Опасность — и немалая состоит в том, что *люди с законченной биографией* норовят ныне прикарманить проблемы, обращенные в Завтра. Они-де, поборники единства России, они же — защитники труженика, больно задетого прологом экономической реформы, а вдобавок — радетели сильной российской державы, с которой нельзя не считаться в любых мировых делах. Спросят: а что, собственно, здесь плохого? Разве не к этому призван стремиться всякий политический деятель, ощущающий ответственность перед соотечественниками и потомками?

В этот вопрос следует внести предельную ясность. Названные проблемы не кем-то выдуманы. Они жизненны. Но решать их можно по-разному. И в этих-то различиях — суть. Я не стану сейчас рассуждать о демагогах, сияющих возвыситься посредством высоких слов, приобретающих в их устах черты шаманского заклинания. Я обращаюсь к тем, кто искренне заблуждается, кто движим воспоминаниями жертвенной молодости, кто всей своей жизнью кровно связан с Россией и не собирается искать благополучия бегством от нее.

Им я говорю, опираясь на наследие русской мысли, на испытание судьбою, которые не минули и меня, как и моих сверстников, и тех, кто старше, и тех, кто моложе.

С полным убеждением говорю им: как ни важно единство России, оно — не самоцель, а условие **возвращения человеку достоинства**: права и возможностей самостоятельно и нестесненно распоряжаться своей судьбой. Стоит ли напоминать, что между великодержавным единством, покоящемся на силе и выравнивании, на вытаптывании различий, составляющих человеческую жизнедеятельность, между этим единством «сверху-вниз» и добровольным сожительством народов и людей — не просто несовпадение в употребляемых словах, а пропасть, через которую не перекинешь мостки.

Сегодня речь о том, как соединить ВРОЗЬ с жизнью **ВМЕСТЕ**. Трудности и в монополярной экономике, еще только

слегка потревоженной реформой, и в идеологизме, который многими десятилетиями препятствовал и еще препятствует самобытным проявлениям человеческого ума и чувства. Да, нас тревожит стихийная дезинтеграция, стремление республик и территорий все выше поднять планку суверенности. Мы не собираемся капитулировать перед крайностями регионализма. Но одно незыблемо: НИКАКОГО ПРИНУЖДЕНИЯ! Нелепо и опасно пытаться задним ходом вернуться к прежнему гиперцентрализму, деля Россию, как предлагают некоторые, на равномерные губернии, отличающиеся друг от друга лишь названием. На это, само собой, не согласятся нерусские субъекты Федерации. Но это также не отвечает действительным интересам великороссов, которые, будучи связанными такой величайшей скрепой, как речь, язык, — отнюдь не представляют из себя однородной безликой массы. Дальний Восток, Сибирь, Урал, «Большая Волга», Предкавказье и русский Север, как и центр России, — это пространственные громады, которые иначе не назовешь, как странами. Да и не в размерах только дело, но и в отличиях, которые носят цивилизационный характер. Есть различия в нравах, в нормах общежития, отличия в рабочей хватке и в навыках землепашца, — различия, проникающие и в будни, и в праздники, приходящие к человеку на выручку в трудную минуту. Сказывают: сибиряк одной спичкой зажжет костер, тогда как «пришелец» употребит для того же канистру с бензином, поджигая ненароком тайгу.

Нет, отличия эти не выскоблишь ножом, не сотрешь канцелярской резинкой. Они постоят за себя! И наше ли дело множить раздоры неумной дидактикой единства? Тут не об уступках речь. И не только о терпении. Тут о много большем толк: о непечатых источниках развития, материального и духовного обогащения. О новом интегратизме, растущем из полнокровия стран: **РОССИЙСКИХ СТРАН В ПРЕДЕЛАХ НОВОЙ РОССИИ**. Трудно перекроить свое сознание, обратив его к признанию этой перспективы и к содействию ей. Трудно, но необходимо. Выбор ясен: либо скатимся по наклонной плоскости, и если бы только в болото полумер, столь характерных для годов 1985-1991, но ведь Югославия перед глазами, да и собственных «горячих точек», нынешних и потенциальных, не сосчитать...

Апрель 1993

...Россия не только размазала русских по лику своему (что и затруднило, и усугубило их существование), но она наделила их какой-то исподволь облучающей и все время бьющейся в собственном проявлении пограничностью, маргинальностью. Маргинальность вовсе не воспринимается как благо. Есть в ней дополнительная нагрузка, какой-то избыточный вес, тяжесть которого трудно переносима человеком.

...Общепризнано: ассимиляция — это одно, окультурация — иное, лучшее. Евреи не ассимилировались, они вошли в русскую культуру, оставаясь собой. Они отчетливо выявляют для меня важнейший компонент — собственную маргинальность, при этом как бы разделяя тяжесть несения ноши, оттягивая на себя пагубы усталости культуры от давления маргинальности российской. Благо? Быть может, но и своего рода вызов. Разделенная ноша не напоминает ли о ее тяжести-непосильности?

Маргинальность по-особому питает собой культуру; в культуре же — свой мартиролог, вероятно, связанный и с этим. От маргинала Пушкина до маргиналов Булгакова и Мандельштама...

Еврейский компонент в русской культуре? Что тревожит более — его подчеркнутость или органичная маргинальность, которой еврейский компонент близок маргинальности российской? Не завязывается ли тут какой-то странный узел...

В иных пределах еврей космополитичен на правах с другими народами. Космополитизм живущих в других странах людей не слишком затрудняет их собственную национальную жизнь. Она, жизнь эта, движется в своем русле, а космополитизм существует и входит на равных в интерьер духа, не стесняя его. Здесь же, в России, он совершает вызов, потому как зовет к тому, что заложено в самом существовании России и что ей в значительной мере обременительно, дается нелегко.

Обременительная ноша, нагрузка маргинальности усиливается отношением к страданию. Жизнь русская наполнена страданием, а русская культура в огромном диапазоне и с невиданной силой страдание это выявила, проговорила, научила выражению и способности быть отрефлексированным... А страдание — располагая одних, других как бы провоцирует на жестокость. Страдание кажется глупым. Тут возникает поле напряженности внутри русскоязычной культуры. А еврейский компонент — как катализатор, ускоритель, провокатор...

Русский еврейский вопрос — еврейский русский. А для меня? Лично? Сейчас понимаю: в русской культуре дороже мне те элементы, которые, будучи совершенно русскими, вместе с тем возвращают меня к древнееврейским пророкам или же к английскому актеру театра «Глобус». Они мне ближе...

Это существенно для меня, это очень личное.

Пройденное в жизни, потери, обретения являют какой-то особый смысл... Во всяком случае я свое никому не навязываю в виде позиции и не требую ни от кого следования моему примеру, но я настаиваю лишь на одном: что сам иду этим путем в качестве человека, для которого в равной мере существует и страдатель и русский, и еврейский вопрос. Вероятно, это не завершится никогда, жить этому столько, сколько суждено быть мне...

ГРОЗИТ ЛИ НАМ И МИРУ РУССКИЙ ФАШИЗМ?

Как я рассматриваю фашизм?

Он – опережение.

Он – украденное поприще, вернее,
– уступленное.

Украденное и уступленное.

Узурпированное и погубленное.

(из набросков к рукописи «Субъективные заметки о фашизме,
антифашизме и моем поколении», 1994)

ПАРАДОКС ЖИРИНОВСКОГО

[От составителя

Январь 1994.

Тогда шли ярые толки вокруг Владимира Вольфовича, умело подбрасывавшего поводы интереса к своей персоне.

Эксцентричный, вызывающе самоуверенный, он эпатировал жестом, словом, выкриком...

Телеэкранная картинка: упруго шагая по коридору, комкая фразы, кидает журналистам: «Мы с Президентом играем в шашки в Завидово, паримся в бане, он каждый день читает мою книгу «Бросок на Юг»... Я во всем согласен с Президентом. Президент меня понимает...»

Факт: миллионы отданных за его партию голосов и помесь опасений с презрительными гримасами у интеллигентов. Но многим - не только у нас - показалось, что потянуло зловещим. Журнал венгерских интеллектуалов решил обсудить ситуацию. Будапештский историк Миклош Кун (у нас вышла его интересная книга «Бухарин: его друзья и враги», М., 1992) для этого выпуска попросил узнать у Михаила Гэфтера, что он думает о причинах укоренения Жириновского на политическом горизонте и возможностях расползания нового коричневого очага в стране, одолевшей нацизм.

Тогда и записано это интервью. В сильно усеченном виде оно было отослано М.Куну, полная же версия публикуется впервые.

— Мы с трудом отвыкали от привычки все именовать «историческим»: будь то съезд, событие, юбилей. Словечко вылиняло и уступило место иному. Нынче все «феноменально» и прежде всего — политические персоны. Но как-то режет слух словосочетание «феномен Жириновского».

А действительно, феномен ли?

— В русском языке само слово «феномен» (особенно применительно к персоне) обретает дополнительные оттенки. Не просто «явление», но — непредусмотренное, неожиданное, сразу что-то переворачивающее в жизни. Внезапностью и переворачивающее. Может, это власть случайности, пересиливающей и канон, и «закон истории»?

Лишь на первый взгляд странно, что в сверхрациональном Двадцатом веке случайности по имени Гитлер и Сталин сумели обрести такую страшную власть над судьбами и душами. У этой тайны глубинные человеческие корни. ПЕРВОЗДАННОЕ ЗЛО ОБЛАДАЕТ РЕСУРСОМ ВОЗВРАТА... Если, однако, не поддаваться чарам мистицизма, все равно налицо то, что как бы превышает положенное отдельному человеку. В лучшую ли, в худшую ли сторону...

Жириновский — скорее не феномен, а парадокс. Правда, сенсационность его избирательного успеха преувеличена, если вспомнить о 8 миллионах голосов, полученных им годы назад на президентских выборах (количество в России вовсе немало!) Для сегодняшнего же дня примечательно даже не крутое возрастание численности его электората, но расслоение людей, опустивших бюллетень: на приверженцев Жириновского и других — разных и вместе с тем совокупных. Что-то вроде расплывчатого, суммарного «анти-Жириновского» или, по меньшей мере, «не-Жириновского». Не симптом ли это кризиса: социального, сдвоенного с политическим?

Новинка — как раз сдвоение. Даже не перегруппировка сил, а их первичный (или пред-первичный) расклад, незримо включающий в себя и перспективу, потребность в выборе пути.

Заново в дорогу! Но — куда? Неясно. Сегодня (в начале 94-го!) этот вопрос на острие ножа. Отсюда, полагаю,

и отчетливый откат от официальной демократии и явственный сдвиг влево — в сторону коммунистической партии Зюганова, Аграрного союза, отчасти независимых.

Но это же совпадение двух поляризаций вводит нас и в возрастающую злободневность проблемы — ГРОЗИТ ЛИ РОССИИ ФАШИЗМ? А если России, то тем самым и окрестной и дальней Европе, и Миру в целом...

— *Борис Ельцин на одной из конференций по итогам недавних декабрьских 93-го года выборов на вопрос, опасаться ли нам фашизма, без тени сомнения парировал: нет, в отличие от Германии кануна прихода Гитлера есть у нас Президент и Конституция. А как на Ваш взгляд, достаточная ли гарантия?*

— Прежде замечу: были, само собой, в предгитлеровской Германии и конституция, и президент — национальный герой престарелый генерал Гинденбург. Но гарантами защиты от фашизма они не стали. Не смогли и не хотели. Быть может, наш Президент, оступившись в фактах, имел в виду иное: что там, у веймарских немцев, не было ТАКОЙ, как у нас КОНСТИТУЦИИ, столь совершенной, а тем более не было президента, ТАКОГО, как у нас, сильного и умеющего идти против течения? Можно (и стоит!) поспорить. Но это все же другой разговор.

А вот что следует обсудить сейчас: верно ли бросаться в крайности — то вовсе отводя опасность фашизации, то объявляя чуть ли не его уже свершившийся приход, персонафицированный в Жириновском.

— *Нельзя ли несколько подробнее о том, правомерно ли столь часто повторяющееся ныне отождествление нынешней российской ситуации и Германии 1933 года?*

— Давайте прежде всего уточним предмет. Фашисты есть везде. Это не открытие. Укажите мне страну на земном шаре, где бы не оказалось их в том либо ином обличии. И о своих доморожденных мы прежде слышали (из отрядов перепоясанного португеей Васильева), и зрели их воочию в октябрьских событиях 3-4 октября в Белом доме, вокруг него, со свастикой и без...

Но ФАШИСТЫ и ФАШИЗМ как реальная сила, к власти рвущаяся (не без надежды на успех), — все же не одно и то же.

Фашизм воздвигается тогда и там, *когда и где людям плохо*. Более того, там, где люди оказываются резко выбитыми из привычного существования, потеряв в одночасье средства к существованию, уверенность, достоинство и надежду. Оскорбленный, униженный человек, не осознающий истинных причин потери жизненной ниши, не успевает осмыслить реальных причин своих бедствий и замещает их злодейским умыслом. Ищет «конкретного» врага. Готов следовать за импровизированным лидером, который не боится злодея (действительного, мнимого? — скорее, мнимо-действительного) назвать по имени, призывая — распни его!

Конечно, нацизм — классический пример. И потому трудно уйти от искуса опознания его примет в нынешней России. У многих с языка не сходят слова «веймарская ситуация». Нередки попытки ставить знак равенства между ТОЙ Германией и НЫНЕШНЕЙ Россией. Есть ли основания?

Действительно многие приметы бьют в глаза. Тем не менее я думаю, что уподоблять ситуации — банальность и упрощение, к тому же небезопасное.

Да, многие у нас, как то было в Германии 30-х, близки к отчаянию, особенно пожилые, а также еще непрочные стоящие на ногах. Но как ни горько, эта беда еще не главная. Главная потянется и к будущему поколению. Ибо «гайдаровская» макроэкономика, обвальная по сути своей, направлена не столько на улучшение финансовой сферы, на аварийные меры преодоления экономической разрухи, сколько на то, чтобы одним ударом вышибить многомиллионную человеческую толщу из прежних способов жизнедеятельности, принудить ее к сиюминутной смене ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ.

Снова революция сверху! И в оболочке огульного отрицания коммунизма — вновь «новые люди». Разом все — в «новые»! Итог: варварский разрыв между богатыми и бедными. Не отказ от господствующего монополизма, а напротив — высвобождение монопольного монстра, которому открылась перспектива присвоения бесхозного государственного имущества. ПРИВАТИЗАЦИЯ ВЛАСТИ, опередившая приватизацию собственности, придав последней криминальный характер.

Есть еще немало других посылок к житейскому трагизму. Это ощущение впустую прожитой жизни. Эпидемия одиночества! Плюс распад СССР, не только оборвавший экономические и человеческие связи, но и вырубивший почву из-под ног человека, который привык чувствовать себя защищенным мировую державой. Все теперь под сомнением, несомненны же вал за валом беженцев, кровь и распри на границах России, грозящие подпалить и свой Дом.

Что же власть? *Она все более опустошается*, замещая деятельную сторону перетягиванием функций и прерогатив, перетасовками в верхах, скоропалительными отставками и отсутствием четко обозначенных АЛЬТЕРНАТИВ. Властвующим демократам вчерашнего, горбачевского дня, не даются диалекты боли. Они упускают проблемы, а вместе с ними и людей.

А кому же — свято место?

К человеку, ежедневно оскорбляемому рекламой собачьих и кошачьих деликатесов, приходит демагог, достаточно искусный, чтобы постучаться к каждому. На авансцене, уступленной ему, имитатор, освоивший памятное умение своих предтеч упрощать сложнейшие вопросы до уровня воинствующей однозначности. Он взывает к страданию. Манерой же, выплеском дозируемого негодования в адрес власть имущих, вмиг разбогатевших коррупционеров, пробуждает страсть, заглушающую проблески мысли. Оскорбленный «человек улицы» не готов к сопротивлению, хотя ненависть в нем зреет. А ему Жириновским явлен эрзац готовности к сокрушению посредством избирательного бюллетеня и к вызволению из бед с помощью произвола, не чреватого наказанием.

— *Да, ненависть и страх подпитывали друг друга в Германии 30-х. Эта «парочка» завладела и у нас не одними душами, но и умами. Так что, все же превалирует близость ситуаций в России 90-х и веймарской Германии?*

— Не будем торопиться с категоричными утверждениями. Но не будем и уходить от типологически близких условий.

В Германии 30-х экономический кризис совпал с более общим надломом тогдашней западной цивилизации. Совпал, — заострив последний, заострив, подпитывал его. Интеллек-

туалы, левый фланг европейского общества были заражены огульным отрицанием всех ценностей, а человек массы переживал по-своему тяжелейший ментальный сдвиг, вызванный неспособностью понять и объяснить истоки того, что выбило из привычного обихода. Случилось нечто подобное революционной ситуации — но без сил, способных воспроизвести классический ли вариант 18-19 веков, неклассический российский 1917 года.

Эти-то моменты более существенны для понимания и сопоставления, чем ссылки на своеобразие Германии, на вроде бы особую расположенность немецкого обывателя к исполнительности, на будто бы чрезмерную тягу среднего человека Германии к расистским предрассудкам, на якобы немалые ресурсы немецкого антисемитизма. Что касается последнего, по верному замечанию одного исследователя, антисемитизм в догитлеровской стране едва ли превосходил аналогичные настроения других европейских регионов. Был же он не столько эмоциональным, сколько концепционным. Именно в трактовке Гитлера превратился во всепоглощающую доктрину, от которой лишь шаг — *до крематориев для живых*.

Итак, для сопоставления важно заметить — тогда появился новый, не вполне типичный для Европы лидер и новая по европейским меркам и традициям партия.

Фашизм в нацистском варианте был яро антикоммунистическим (в муссолиниевском также, хотя, быть может, с меньшей агрессивностью). Так вот, будучи антикоммунистическим, в то же время выступал в роли имитатора по отношению к урокам русской революции, опыту большевизма, заимствуя не столько общий порыв к пересозданию условий жизни, сколько — технологию революционного насилия и овладения-удержания власти.

Из эклектики разнообразных идей, взглядов, самокопаний западной цивилизации, ее самоедства, «большевистского» разрушения старого строя, из предрассудков многих и разных, — из всей разномастной основы, как из строительного материала, — Гитлер создал достаточно цельную взрывчатую смесь. Он этой мешанине придал воинствующее однозначие. И этим, собственно, не говоря уже о

личных свойствах, — обеспечил себе успех. Он выступил как ГОСУДАРСТВЕННИК НИЗОВ, и это тоже было достаточно сильным козырем и фактором его успеха.

— *Даже без ссылок на имена и факты картина определенно близкая к нам. Так что же у нас — Германия 30-х или...?*

— Не торопитесь. Необходимо очень существенно корректирующее П О Ч Т И...

Есть первый взгляд. Он схватывает общее, бьющее в глаза. А потом вдруг все сильнее вклинивается почти.

Чтобы проводить сопоставление нас, нынешних, с Германией пред-гитлеровской, нельзя игнорировать существеннейшее — европейский и мировой контекст. *Тот и сегодняшний.*

Если не учитывать МИР вокруг — то можно оказаться в тисках «метода» А.Янова: когда совпадение некоторых очевидных обстоятельств (к примеру, трактовка веймарской ситуации как того, что мы имеем сейчас) рассматривается в виде совпадения один к одному, и, уже исходя из этого, прогнозируется ход событий у нас. Но ведь вне контекста сопоставление некорректно! Утверждаю: любой такого рода прогноз будет страдать всеми минусами прямолинейного отождествления, либо преувеличениями опасности, сеющими дополнительное замешательство и панические настроения в среде людей, фашизм помнящих (а забыть ли его в России!), либо примеряющих теперь возможности собственной судьбы, если фашизм возьмет верх или даже овладеет властью.

— *Вот он очень важный момент: в чем же все-таки несовпадение внешне родственных ситуаций?*

— В том прежде всего, что Европа и Мир, как и мы, однажды ФАШИЗМ ПЕРЕЖИЛИ.

Пережили его злодейства, жертвы, заплаченные за утрату иммунитета к человеконенавистничеству, к самореализации за счет «чужого». В истоках постнацистской цивилизации — ментальный сдвиг, закрепивший и Словом, и политическими переменами опыт долгого, мучительного изживания фашизма.

Все это ныне — очевидное противоядие фашизму. Но вот вопрос: не чревато ли оно и новыми ловушками-западнями? Ответ не столь прост.

Европа 1930-х переживала не только экономический, но и духовный кризис. Самоотрицание господствующего неравенства достигло пика обезволивающего самоедства. Сейчас иначе. Берет верх, скорее, эгоизм превосходства, чванство единственного образца развития. Не всеобщее свойство, ибо есть и благородное сострадание, желание помочь бедным, застрявшим в пути. Но достаточно ли этого?

Нельзя не замечать и того, что нынешнее время — эпоха нового консерватизма, в котором утвердилось в качестве постоянного составляющего политическую жизнь фактора — социал-демократия. К тому же МИР ныне умеет блокироваться перед лицом опасности. При этом опирается, пусть на несовершенную, но гораздо более эффективную, чем давняя Лига Наций — ООН.

Нельзя, однако, не признать, что вместе с тем это мир, который, хотя и в новом качестве, оказался перед проблемой, с которой столкнулась Европа в пору, когда Гитлер шаг за шагом поднимался вверх. Повторяю: не перед той же самой, но однотипной проблемой. Суть ее: что предложить в качестве альтернативы (тогда — социальному отчаянию людей, терявших почву под ногами), теперь же — ЧТО ПРОТИВОПОСТАВИТЬ НЕСВОДИМОМУ ВОЕДИНО МИРУ. МИРУ, РАЗРЫВАЕМОМУ ВОЙНАМИ, НАЦИОНАЛЬНЫМИ КРОВОПРОЛИТИЯМИ? Миру, который одновременно нарастающе планетарен и столь же, если не в большей степени, нарастающе разнообразен и силится, оставаясь в пределах общего ДОМА, разойтись по собственным национальным, этническим и иным квартирам?!

Сможет ли нынешний Запад в одиночку предъявить альтернативу Миру?

В одиночку никто не сумеет. Доказано давними событиями и совсем недавними — от Залива до Боснии и Сомали. Урок — искать выход вместе!

Тогда, в 30-е годы, фашизм опередил европейскую демократию, левую идею тем, что соединил неотрефлексированную жажду спасения с наследием революционных катастроф, ориентированных на СКОРОПОСТИЖНОЕ РАВЕНСТВО ЛЮДЕЙ И НАРОДОВ.

Сейчас, если фашизм сумеет прорваться к власти в

такой стране, как Россия, то вырвется вновь, и в неизмеримо более оснащенной, всеобще-убойной форме, на планетарный простор. Опередив силы демократии, захватит поприще, на котором только и могут встретиться самодостаточный индивидуум с собою же, но уже личностью, открытой недугам и чаяниям всех людей.

— *Страшно подумать и даже не хочется предполагать, что люди у нас могут поддаться на обольщения Жириновского. Но как не признать: без него едва ли прошел бы проект Конституции... В чем все же наибольшая опасность для России сейчас?*

— Рискну сказать, что мы у себя дома проглядели завязь фашизма. Не уловили момент, когда разрозненные кликушествующие люди стали перерастать в нечто серьезное: и как симптом общей болезни, и как опасность, выраженная не только в символах, но и в псевдоответах на действительно кровные, неотлучные вопросы. Чтобы это понять, окинем взглядом силы, призванные фашизму противостоять.

Демократы у нас тоже есть, вероятно, не в меньшем, даже в большем числе. Но нет демократии, оформившейся, обретшей домашне-планетарную альтернативу и достаточно прочную основу в разнородной человеческой массе. Поскольку нет ее — альтернативы и опоры, то ФАШИСТЫ МОГУТ СТАТЬ ФАШИЗМОМ РАНЬШЕ, НЕЖЕЛИ ДЕМОКРАТЫ СПЛОТЯТСЯ В ДЕМОКРАТИЮ. В этом опасность момента, вероятно, главная.

Истоки же опасности — как в тех, кто насаждает и провозглашает скороспелые лозунги, так и в других, кто вяло отступает, занят домашними распрями — и не способен выйти на альтернативное поприще.

Само существование Жириновского создает некую ситуацию «миража управляемости». Жириновский опасен, — понимают одни — и люди сплываются вокруг Президента. Жириновский угрожает — и Запад более радушен к Ельцину. В конечном счете обманутыми окажутся все, в том числе и Жириновский. Важно, чтоб не поплатились люди, чтоб не пролилась кровь.

Сложность нашей ситуации действительно беспреце-

дентна. Скрестились у нас ныне три процесса — распад последней империи, фиаско практикующего коммунизма и начальная стадия выхода из холодной войны. Явления разнорядковые, разномасштабные, но вместе с тем — сгрудившись — создали достаточно сложную картину со многими трудностями. К тому же в отличие от Германии, почти безоружной к приходу Гитлера к власти, речь идет о ядерной державе, вышедшей победительницей во II мировой войне и способной сейчас многократно уничтожить жизнь на Земле, по крайней мере высшие ее формы. Это принципиально ново. Внешние моменты доминируют, но переход их во внутренние предельно заостряет ситуацию.

Вот я сказал «внешние»... А как рассудить — внешний ли момент — беженцы? А судьба русскоязычного населения в бывших республиках? Внешний ли фактор — горячие точки на сопредельных территориях бывших составных СССР? А судьба ядерного оружия?

Разве не является новым и такой факт, как просроченная конверсия, что усугубила горбачевскую асимметрию — когда изменение мирового статуса Советского Союза не получало подкрепления в органических изменениях внутрисоюзной жизни. На этой асимметрии, собственно, и подорвался Горбачев, хотя сейчас, задним числом, трудно ставить ему все это в упрек — именно теперь ощутили мы неподъемность задач и проблем, о которые расшибся бывший СССР.

Фон же этому — *застарелое отставание мысли*. Разум пасует. Он не говорит внятным языком. Он не отыскал его пока. Не оттого ли речи Жириновского впитываются, привлекают человеческий слух и обволакивают мозг?

Это очень важный пункт — обновление речевого поведения! Открытость, наглость Жириновского могут импортировать как раз в силу желания оторваться от прежних стертых и дискредитировавших себя слов. Что же встречает простой человек у демократов? Языковую анемию, посулы, проговариваемые «серыми» и затуманенными для миллионов речами. Могут ли дойти до сознания? Едва ли.

— *Значит Жириновский взращен слабостью демократов?*

— Не только. Тут еще очень важный момент. Жири-

новский покровительствуем, патронируем — обстоятельствами и людьми. Чтобы вникнуть в это и разобраться — отступим чуть в сторону от главного нашего сюжета.

Попробуем поставить вопрос: на чем споткнулись сначала хрущевская Оттепель, затем горбачевская «перестройка»?

Я бы ответил: *на втором шаге*. Первые шаги и в первом и во втором случае были впечатляющими. У Хрущева — поистине революционные действия. Он распахнул ворота сталинских лагерей, выпустил на свободу оставшихся в живых политзаключенных. Это открыло дорогу свободному слову; в первом шаге Хрущева — в зачатке все его будущее, не только властвующее, но и противовластвующее. В первом же шаге — полувспять: затянувшаяся частичная и лицемерная реабилитация узников тоталитарного режима в стране, в целом бывшей лагерем — один лагерь смотрелся в другой, как в зеркало.

Итак, шаг вперед и отступление. Все остальное, содеянное Хрущевым и при Хрущеве (при том, что были моменты положительные), — может рассматриваться как судорожные поиски равного по масштабу и значению *второго шага*. Они не увенчались ничем, хотя нельзя не признать частичных результатов — опять-таки как положительных, так и негативных. И в завершение — Новочеркасская бойня и Карибский кризис. Вершина Хрущева — падение Хрущева. Второй шаг не дался. Не потому ли, что Хрущев был правоверным коммунистом и далее обновления, возвращающего к незамутненному коммунистическому истоку, пойти не мог?! Остальное — уже личные моменты, тупики, самодурство...

Горбачев, если вдуматься, тоже споткнулся *на втором шаге*. Он в борьбе наверху стал опираться на демократов, и он же стал воздвигать плотину против демократии еще в 1989, с первого съезда депутатов. Вдобавок та асимметрия, о которой я уже говорил.

Как ни парадоксально, Ельцин споткнулся *на первом шаге*. Правда, у него был большой и красочный ПРЕД-ШАГ.

В известном смысле Ельцин более подобен Хрущеву, чем Горбачеву. Чем? Горбачев мало биографичен. Ельцин, как и Хрущев, ярко индивидуален. Этим импонирует стране, в

которой отсутствие устойчивых демократических арматур компенсируется красочностью, самобытностью отдельных персон, выламывающихся из общего ряда безликих. Надо признать, выламывается и Жириновский, этим тоже привлекающая к себе...

Итак, если Хрущев — попытался обновить коммунизм, если Горбачев — его же реконструировал, стремясь удержать систему в равновесии, то Ельцин пошел на разрыв с коммунизмом, стремясь упрочить свою власть посредством а н т и к о м м у н и з м а.

Отсчетная точка — август 1991. Не только в плане политическом (расчистка почвы для перетасовки в верхнем эшелоне власти, упразднение КПСС, а в пределах этого начала — Беловежская пуца и т.д.), так вот не в политическом только, но прежде всего — в ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ. Пришла убежденность: все можно, все доступно. Это-то и означало катастрофу первого шага. Мысль не была готова наполнить содержанием это «все возможно», а вседоступность любого шага делала избыточным и лишним создание и развитие демократических структур. Все шло само собой. Вместе с тем была потребность в принятии решения: куда идти? как двигаться? Асимметрия горбачевского толка не годилась: она дискредитировала себя сменой нерешительных половинчатых мер, конвульсиями отступлений и набираний чрезвычайных полномочий. Так вот — асимметрия не годилась, а для симметрии не было места.

В результате — причудливое якобы движение вперед, предполагавшее искоренение и памяти о революции, и всего, чем она проросла в людях. Пустота поприща неизбежно — по закону повторения, таящемуся в людях, — вела опять-таки к революции сверху со всеми ее приметам и аксессуарами. И в этой же форме — полубессознательно и инстинктивно — шло сотворение «новых людей». В результате — январь 1992. Гайдаровская обвальная реформа, обеднение, о чем я уже говорил.

Отсутствие программы ясного пути и целей реформ вызвало перебор властных функций, которые уже сами по себе стали искать себе же поприще. Далее — стремительное нарастание признаков авторитарного режима, кризис дове-

рия, болезненный для импровизированного лидера и харизматической личности, признающей колебания рейтинга едва ли не самой важной для себя информацией...

При дефиците альтернативного деятельного проблемного поля — сентябрьско-декабрьский взрыв 1993 вернул нас едва ли не в пору диссидентства, когда на первый план выдвигалось наипервейшее — вновь *права человека*.

— *И тут Жириновский кстати, ибо играет свою не последнюю роль?*

— Он паразитирует на отсутствии альтернативы, внятной для действия и достаточно привлекательной для человека. Паразитирует простота, зовущая к агрессивному, однозначному действию. Сложные, непонятные причины нынешних обстоятельств, уводящие в глубины истории и невозможные для осознания вне учета грандиозного контекста мирового процесса, — заменяются однозначными указаниями на врага, на противника хорошей жизни. Прямызна выражений их оскорбительностью даже привлекает, ибо обещает сделать сразу то, что — не исключено — можно было бы сделать сразу, когда бы мы вдруг оказались в мире середины 30-х годов...

Не менее существенно: Гитлер делал первые шаги в стране, где немец сожительствовавал с немцем. Традиционная связь (близость и дистанция!) дала глубокую трещину, которую нацисты раздвинули до размеров пропасти, бросив на дно ее евреев.

Кто же евреи в современной России? Ответ справа отнюдь не оригинален. Супостаты это те, кто мешает русскому быть русским, в том числе и те русские, кто на поверку изменники, «агенты влияния»...

Жириновский — сигнал для нас. Смотрите на него на экране и думайте — *фашизм вновь имеет шанс...*

На месте гитлеровской триады — анти-Версаль, анти-Веймар, анти-коммунизм может быть сооружена нынешняя триада — анти-Беловежская государственность, анти-Горбачевская либерализация, анти-Гайдаровская рыночность. Но и во втором случае будут присутствовать евреи. Или не евреи, а какой-то универсальный враг — не-русские, все, кто своим существованием делает плохим положение русских и за счет кого можно одним ударом свое состояние улучшить. Это и

есть **ФАШИЗМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ!** Заявка на него и предупреждение нам: **осторожно!**

Жириновский не со своего голоса поет, но он вносит в соответствующее либретто особенно пронзительную ноту. Он — геополитик в традиционном смысле, он — архаичен, но все дело в том, что у архаики появился современный резон. Этот резон — *Россия, которая старинна и вновь*. В ее родословной и столетия, и считанные годы. Ее в нынешнем виде, собственно, не было. Она как бы вернулась в век 17-й (с уходом Украины), отчасти — к гражданской войне, когда временно отмежевывались, а после возвращались на разных условиях составные части империи. Но она в других, притом решающих отношениях, — одна из самых молодых и примечательно новых на карте Мира: СТРАНА СТРАН — из тех, что уже страны, и тех, что еще в движении к этому; а в движении как раз *русские протостраны*, которые обозначаются условным знаком «регион».

Наш фашизм, по крайней мере в варианте Жириновского, лишь прикидывается русским. На деле же он — под флагом «ЕДИНОЙ НЕДЕЛИМОЙ» способен осложнить до кровавой крайности процесс становления евразийского человеческого пространства, которое также немислимо без русских, как и обречено на неудачу, если объявлять его «моноэтническим». Вот поистине пробный камень для демократов!

Мое давнишнее убеждение: лишь строя (снизу вверх!) свой мир в Мире, наследники последней империи и коммунистического эксперимента (А МЫ ИМЕННО НАСЛЕДНИКИ ТОЙ И ТОГО!) окажутся способными войти в XXI век вместе с другими. Не на задворках Мира и не в мессианском авангарде.

Это не просто признать. Еще труднее сделать. Но иного выхода нет.

ВЧЕРА, КОТОРОЕ ЗАВТРА?

[Выступление в Театре «Талия» (Гамбург) 30 января 1993 на международной акции антифашистов в день 60-летия прихода Гитлера к власти.

Я позволю себе задать Вам тот же вопрос, который обращаю и себе. Для чего, собственно, мы собрались? Для чего и ради чего? Не правда ли, странный вопрос?

Разве не достаточно полномочий памяти, возвращающей к тем 11 часам 30 января, отдаленного от нас уже более чем полувеком, к этому легитимному эпизоду в жизни одной конституционной страны, к тому событию в мировой истории, которое повергло в пучину страданий, смерти и попранного достоинства десятки миллионов человек? Разве одно прикосновение к названной дате не обязывает нас, оторвавшись от злобы дня, вернуться к ней же, к этой злобной злобе дня сегодняшнего, чтобы разглядеть в ней нечто, превышающее череду разъединенных кровопролитий, от истинного значения которых мы стыдливо увертываемся посредством эвфемизма «горячих точек»?

Все будто возвращается на круги своя. Власть тьмы, гимны и клики, топот ног, стоны падающих. И ближние совпадения, и дальние созвучия. Вздрыбленный этнос. Войны родословных, сотрясающие Землю. Оружие точечного попадания в тех руках, что притягают на Вселенную.

Однако лишь незрячему дано не заметить, насколько изменился Мир. Не станем приговаривать — «к лучшему» или «к худшему». Нет ничего нарочитого и предосудительного ни в утверждении, что «худшее» и поныне однойцовый близнец прогресса, ни в допущении, что именно то, что сегодня более

всего мрачит взор, таит в себе самый существенный задаток перемен, выводящих нас не только за пределы досрочно окончившегося века, но и за рубежи по меньшей мере двух уже исполненных тысячелетий.

Как человек, у которого достаёт трезвости, чтобы измерить отпущенные ему сроки, я все же рискну поделиться с вами некоторыми соображениями, сжатый смысл которых может быть выражен словами: «Третьего тысячелетия не будет».

Не будет — в метафорическом и, тем самым, в доскональном смысле. Не в том даже беда, что Время с избытком заполнено Прошлым. Куда ни кинь, кругом оно — забытыми и отрешаемыми мыслями, ностальгией по утраченным возможностям, тенями досрочно и бесследно ушедших людей. Но ПРОШЛОЕ ли оно?.. «Эпохи», выйдя из повиновения, отказываются становиться в затылок друг другу. Прологи настаивают на входе в будущее такими, каковы они есть: **необратимыми** и **непоправимыми**. Не здесь ли источник последней земной схватки? Не окажутся ли люди погребенными под рассыпающейся храминой всеобщей поступательности?

А может, именно ей — и только ей — пришел конец? Конец истории, но не человеку.

Род ГОМО, наверное, сохранится, совершив непомерное усилие возврата в эволюцию. Жизнетворящее разнообразие малых человеческих миров придаст нестесненную связность большому Миру, заново космическому в земных границах. Идея же человечества, кумир **ЕДИНСТВЕННОГО ЕДИНСТВА**, который веками вдохновлял людей, требуя от них жертв без числа, этот кумир будет даже не сокрушен. Скорее, похоронен с почестями. Идея человечества станет вновь навещать наши сны, уступив (навсегда!) дневную явь **аритмии** повседневных существований, где человек только и способен быть сувереном самого себя.

Я понимаю, это звучит декларативно. И, конечно же, не этими словами доступно остановить бритоголового осквернителя еврейских могил либо импровизированных лидеров, разжигающих страсти организованных скопищ зыком: «Вон иностранцев!», или тех владельцев множительных

аппаратов, которые еще в 1990-м году внушали делегатам партийного ареопага в советской столице: «Нам нужен новый Гитлер, а не Горбачев». Встает вопрос — а допустимо ли вообще в этих, как и во множестве других случаев, полагаться на образумление Словом?

Мы подошли здесь к роковому пункту. Ибо за вычетом слов существует лишь сила. Сила, воплощенная в законе. И сила, превышающая закон. Тогда, в 1933-м году, достало ли бы одного лишь закона, чтобы воспрепятствовать нацистской диктатуре? А если нет, ежели его не хватило бы, даже если б его служители не были скованы бессилием классового эгоизма и геронтологическими страхами, то можно ли, оглядываясь назад, представить себе коалицию Фемиды и ревнителей будущего, притом (не забудем) радикально расходящихся в представлениях об этом будущем?..

Школьные малолетки провинциального города, я и мои сверстники ждали тогда со дня на день сводок о баррикадных битвах на немецкой земле. Сегодня, признаться, я немногим мудрее того четырнадцатилетнего мальчика с пионерским галстуком и значком международного слета в Галле, которым я особенно гордился, хотя и не был там. Я и сейчас не мыслю справедливости, в истоках которой не было бы самоотреченного подвига равенства. Я и сейчас воспринимаю свободу как радостную возможность облегчить участь того, кто рядом и совсем далеко. Но я и узнал немало, что наливает ноги свинцом, а на место прежних упований ставит не оборотней их, не мнимости скоропостижного прозрения, а мучительные и неуходящие «вопросительные крючки», как иронически именовал их Пушкин, впрочем, быть может, ощущая их близость к тем вервиям, на которых вешали людей.

В самом деле, разве в оплату за знание не входят гибели, и кто ведает их счет?

Я знаю теперь, что солдаты немецкого вермахта не только убивали, но и погибали, притом, что гибель уносила и в них разум и совесть. Я знаю, что антигитлеровская коалиция держав в существеннейших отношениях не совпадала с антифашистской войной простых людей и что долгу преданный рядовой Василий Теркин был потенциально опаснее Сталину,

чем герой Московской битвы генерал-перевальчик Андрей Власов. Я знаю, что в единодушной Ялте гнездилась баццилла «холодной войны», а нюрнбергская Немезида оставила неназванной ту скрытую в человеческих сердцах вину, которая, будучи неискупленной, — да и просто непонятой, — сегодня пьет кровь живых и выводит на авансцену мировой жизни жуткую фигуру СУВЕРЕННОГО УБИЙЦЫ ПОНЕВОЛЕ.

Кто отважится доказать, что фашизм века XX это всего лишь атавизм, и что в его человекоубийственных поползновениях не скрыта тайная тоска и отчаяние людей, склонных видеть вокруг себя анонимную опасность, притом направленную против них лично?

Но ведь в сущности это не так уж ново. Европейскими столетиями исторические часы отбивали сроки для всех. Укладывайтесь! Поспешайте!

XX век довел до края и исподволь взорвал эту ситуацию. На наших глазах исторические часы не то чтобы вовсе остановились, скорее — застряли на без пяти минут двенадцать. Уже несколько человеческих поколений вступили в жизнь под знаком стопорящегося времени. А тот непридуманный раскол Земли на два вожделяющих ее мира превратился — в свою очередь — в дуумвират замершего времени, который на техническом аргументе Лос-Аламоса и Арзамаса-16, вашингтонского Белого дома и московского Кремля стал именоваться «гарантированным взаимным уничтожением».

Сегодня со всех амвонов и кафедр слышится отходная «холодной войне». Не торопимся ли? Я не ставлю под сомнение договоры и джентельменские обеты. Даже кроважностью трудно переспорить ныне бюджет и экологию. Меня волнует другое. Справится ли психика человека, приученного к ОТОДВИНУТОЙ СМЕРТИ, к заиндеветшему времени, с внезапным переходом к «просто» жизни, из всех пор которой так легко вынырнуть первозданным страстям и страхам, некогда разогнавшим людей по лону Земли, наделив их самосохранным различием языков и разрешительным убийством любого из «чужих»?

Каков же выход? Завести заново исторические часы? Или отказаться раз и навсегда от вселенских сроков? Либо

что-то иное, соединяющее человеческое «вместе» и не менее, если не более человеческое, «врозь» способами, еще не освоенными, еще не имеющими даже имени собственного? Одно ясно: откладывать нельзя — если не ответ, то вопрос. Он-то стучится в каждую дверь... В начале 1990-х мы приоткрыли щелку ему, если позволительно называть щелкою последствия разрушений и перестановок, которые изменили облик Восточной Европы и российской Евразии, поставив при этом Мир перед отчасти скрытой, отчасти еще не вполне осознанной опасностью захлопнуться в однополюсности «гарантированного уничтожения».

Кто усомнится ныне, что Джордж Оруэлл в своем романе-притче лишь слегка ошибся в датах? Да разве он ушел начисто, этот Мир Новояза, разгороженный по клеткам надзираемого одиночества и намертво связанный в сценарии планетарного столкновения, двухполюсность которого не больше, чем тщательно вымеренная симуляция. Это — Вчера, которое еще в силах заглотнуть Завтра. Был ли автор «1984» безнадежным пессимистом? На этот вопрос я затруднился бы ответить однозначно, тем более, что дистанция, отделяющая меня от этого человека, велика, но не безмерна. Он старший, я младший представитель поколения, которое своими жертвами шагнуло разом в бессмертие и в бессилие. В сердце Оруэлла жила любовь к Испании, из его сознания не уходил ее благородный и печальный урок *страны-жертвы фашизма*. И, увы, также *жертвы антифашизма*.

Я не хочу в этом, пожалуй, самом трудном пункте допустить хотя бы малейший привкус двусмыслия. Если вдуматься, не давая себе снисхождения, то неотвратимо приходишь к выводу: у самых воинственных станов была не только понятная общность людей, видящих друг друга в прорезь прицела. Их также соединяла, — соединяла ненавистью — общая человеческая беда. В 1930-е это было прежде всего социальное отчаяние, охватившее миллионы людей, которых кризис лишил не только достатка, но и жизненной ниши. Человек оказался без защиты — не только внешней, но и внутренней. Быть может, даже более всего без внутренней. Фашизм предложил выход: вернуть человеку «Я», отнятое у

одиночки, радикальным упразднением «Я» как суверенного основания человеческой жизни.

Плагиат очевиден. Еще элинский полис (по остроумию наблюдению Якова Голосовкера) терял силу, гармонизирующую личность и множественность, склоняясь к господству голого «числа». Не множественность, вслушивающаяся в разноголосие мыслей и сердечных помыслов, а множество, легко сколачиваемое в легионы, способные придать пространственность абсолюту равенства.

А что абсолютнее в равенстве, чем отнятие жизни у другого?!

Мир XX века оснастил эту коллизию организацией и техникой поголовного убийства. Гитлеровский *Endlösung* был бы неосуществим без присовокупления циклона «Б» к генотипу эсэсовца, но никакие розыски самоновейших причин и следствий не могут разъяснить нам, почему банальным фюрерам-одиночкам удается подвинуть целые народы к краю коллективного самоубийства.

Горько признать: не сам по себе фашизм взял верх, а антифашизм потерпел поражение. Славные умы, разъединенные оттенками ищущей мысли, художнический гений, вплотную прикоснувшийся к магме и шлакам человекотрясения, не сумели вовремя придти на выручку к обезличиваемой человеческой множественности... Антифашисты 1930-х еще не научились говорить на равных с обманутым, одурманенным человеком. Они и сами дали себя обмануть Сталину, и было бы тревожным упрощением не видеть в заблудившихся словах преддверие Аушвица и Катыни, руины Ковентри и Минска, испепеленное варшавское гетто...

Сегодня мы склоняем голову перед всеми павшими. Мы зачисляем в свою родословную духовные опыты всех. Мы делаем это не из снисходительной терпимости, которая сама по себе не плоха, но по меньшей мере недостаточна, а из чувства ответственного наследия, взыскательного и независимого.

Мы не отрекаемся от страстного гласа нашей молодости: «Фашизм не пройдет!». Мы лишь добавляем к нему: фашизм не пройдет внутри каждого из нас.

Декларация участников международной акции антифашистов

[Написана М.Я.Гефтером в Гамбурге 30 января 1993 и принята участниками международной акции антифашистов.

Мы, собравшиеся 30 января в гамбургском театре «ТАЛИЯ», говорим на разных языках Земли. Мы принадлежим к разным поколениям. Не одинаковы наши взгляды. Среди нас есть верующие и атеисты.

Объединила же нас всех общая память и общая забота.

Человек забывчив и отходчив, это нередко спасает его от призраков содеянного им же. Но бывают исключения. Есть великие запреты на забывание.

Немцы воспретили себе освободиться забвением от того рокового рубежа, когда, отдав себя во власть Гитлера, они вступили в самую мрачную пору своего национального бытия. Трагедия одного народа взломала европейские границы. Кровавый след ее протянулся и на Восток, и на Запад.

Мир живых разделился на палачей и жертв, грозя каждому человеку растоптать его естество. Геноцид обреченных влек жителей Земли к тотальному самоубийству.

Незабываемо: у убийц были союзники и пособники — из корысти, из трусости, из равнодушия и неведения.

Незабываемо: сломлены были не все. Противостояние одиночек выросло в Соппротивление — дерево со многими корнями. Когда Немезида антигитлеровской коалиции еще не настигла фашизм в его логовище, обугленное варшавское гетто уже вынесло смертный приговор народоубийцам.

Страшное испытание помогло человеку заново узнать себя. Но не станем обольщаться: этому опыту не суждено было защитить людей от новых бед. Ядерный гриб явился символом и торжества разума, и его бессилия. «Холодная война», обогащая одних, разоряла всех. Она подняла новую генерацию честолюбцев к вершинам власти. Она продлила сроки многим тоталитарным режимам. Великое завоевание XX века — крушение колониализма -- в условиях «холодной войны» не смогло получить достойного воплощения в регулярной жизни освободившихся народов.

К терминам, обозначающим смертельную опасность человеку, прибавилась экология. Природа межчеловеческих связей и отношений, культура, слово человеческое — оказались также в зоне нарастающего бедствия.

Казалось, вот-вот сбудутся пессимистические прогнозы.

Но человек Земли не сдастся.

Мы — свидетели и участники нового Сопротивления, смысл которого еще в зачатке. Каждая из проблем — первостепенная и каждая — открытый вопрос.

Мировое экономическое, информационное пространство, стягивая все континенты в один узел, рождает ответную реакцию отторжения.

Суверенность, самобытность, независимость — знамения времени. До неразличимости сблизилась глубинные потребности народов и зов предков. Прообраз демократической планетарной альтернативы оказался отягощенным предрассудками, сплошь и рядом носящими эгоистический и агрессивный характер. Войны родословных сотрясают самые разные уголки Земли. Распад Советского Союза изменил политическую карту Мира.

Эпицентром новых потрясений стали Центральная и Восточная Европа, страны Центральной Азии. Уязвимы надежды на мирное изживание апартеида в Южной Африке. Спазмы напряженности не оставляют Ближний Восток.

Под угрозой права человека на жизнь, на кров, хлеб насущный. Сильнее всего страдают дети, женщины и старики. Хаос миграций наталкивается на стеснения, которые, не дотягиваясь до существа проблемы, лишь поощряют националистический и расистский изоляционизм. Ксенофобия вновь набирает силу. Позор погромов заставил вспомнить ХОЛОКОСТ.

Пришел час ВЫБОРА. Традиционные акции протеста и солидарности уже недостаточны. Их надо дополнить деятельностью, направленной на анализ проблем, на поиски альтернативных решений, на сотрудничество умов и движений. Не пренебрегая ни одной из полезных локальных инициатив, самое время сделать важный шаг в сторону

создания неформального альянса поборников социальной справедливости и защиты человеческого достоинства на всем земном шаре.

Сомнения и расхождения во мнениях — не помеха нашему единству, поскольку различия не только будят мысль, но и сами являются предвестниками Мира, свободного от любой монополии на источники жизни и творчества. Сектантская нетерпимость — один из тех атавизмов, с которыми следует поскорее расстаться, как бы это не было больно отдельным людям.

Тяжкий урок давнего и близкого прошлого: реакционеры в XX веке научились опережать, захватывая насущное проблемное поле. Задача — воспрепятствовать этому, чтобы очистить Землю от фашистского человеконенавистничества. Для этого живые должны протянуть руки ЖИВЫМ МЕРТВЫМ.

Наследство неделимо! Мы обязаны удержать его, передав тем, кто родился сегодня и кому предстоит обустроить Мир человеческих МИРОВ: миров-народов, миров-личностей.

Мы расстанемся еще более близкими, чем были до этой встречи.

РОССИЯ ЗАВТРАШНЯЯ: ПРООБРАЗ МИРА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ В РАВНОЙ МЕРЕ — БЫТЬ И НЕ-БЫТЬ

I

На исходе XX века не открытие: Вселенная конечна, не беспредельна жизнь, как и одно из ее порождений — вид *Homo sapiens*. Вопрос времени. Однако что это в сравнении с «текущими» напастями, подстерегающими людей? Добившийся потрясающих успехов в продлении сроков индивидуального существования, человек достиг еще большего в досрочном пресечении жизни себе подобных. Убийство вырвалось из зоны преступления, предъявляя заявку на Землю — всю. Правда, Нюрнберг не забыт. Кто ныне рискнет утверждать, что трупы на пользу, что этнические и им подобные чистки всего лишь проявление видовой гигиены, предохранительный клапан, уберегающий от сдвоенной экологической и демографической угрозы?

Но вровень ли нравственное табу и санкции международного сообщества; а им дано пересилить кровавые схватки родословных?

Вид *Homo* действительно загнан в угол. В существенной, хотя не исчерпывающей мере, сам себя загнал. Пропускаю «промежуточные» соображения и предваряю итог: в составе нынешней предгибельной коллизии не столько недостаточность ответов и предлагаемых выходов из положения, сколько коренной изъян вопрошания. Мы не дотягиваем до *Вопроса*.

Упор на «опасности» (пусть даже «смертельные») вуалирует их природу: **показанность развитию.**

Вряд ли можно счесть простым совпадением, что именно тогда, когда происходит глубочайший сдвиг и «равнодушная» природа в качестве сырья для деятельного развития вида начинает уступать место собственным ресурсам людей, со всей беспощадностью выступил наружу конфликт между планетарным масштабом человекосовершенства и неосуществимостью его в той форме, чье имя ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. Понимаю под последним не просто «все люди», в этом качестве неизбывное, по меньшей мере потенциально присутствующее всегда, но новшество, если брать в расчет миллионнолетний процесс становления Homo, — рубеж в нем или, вернее, подвижную границу — «идеальный» проект, порождающий собственную действительность: *всемирную историю.*

От Голгофы — сквозь Голгофы: финал, который путь. Включающий в себя и разносущностные отпоры «человечеству», и его земную экспансию, которая в XX веке достигла предела. Дальше некуда, быстрее нельзя. И всемирность, едва не достигшая размеров ойкумены, на наших глазах разламывается во всю глубину собственного генезиса. (Продвинемся ли к осознанию этого, пытаясь офлажить открывшуюся за историческую пустоту одним лишь экс-коммунистическим миром-заповедником?)

II

«В начале было СЛОВО». Однако люди говорят на множестве языков. Не исключено, что общий предок наш спасся этим от самого себя, что «момент», когда человек явился в Слове, был одновременно заявкой на творческую **уникальность антропо-различий.** Притом не раз и навсегда данных, а обновляемых циклами НАЧАЛ, а стало быть, и возвратами КОНЦОВ, ими-то прежде всего. Признание этого не затруднительно, когда мы оглядываем предшествующие столетия. Но дело меняется с приближением ко дню сегодняшнему. По понятным причинам современный человек, с удовольствием рассматривающий руины исчезнувших цивили-

лизаций, сугубо иначе относится к издержкам революций «нового» и «новейшего» времени.

Цена (развития!) перестала быть количественной величиной. Под сомнением — сама по себе «частичная» гибель как условие непрерываемого восхождения. Вторичность реформ давно уже не довод в пользу революций. Согласимся: движение «концами» израсходовало себя. Однако следует ли из этого, что исчерпано и движение НАЧАЛ, и что отныне резонанс человеческого существования становится квалифицированное, поддерживаемое и контролируемое *status quo*? Но что в таком случае — *status quo развития*? (Предельное и нарочитое упрощение: «что хорошо «Дженерал моторс», хорошо и Америке», что хорошо Штатам, хорошо и «остальному» Миру? Ну, а если не «...моторс», а «рыночная демократия» по Клинтону? Разница, что и говорить, существенная, но фундаментальная ли?)

III

Историку показано вдвигать проблему в событийную рамку. Для меня предгибельная коллизия связана и напрямую, и окольно с «холодной войной» — с тем, что люди миновали, и с тем, что застряло в них: несвободой ради самосохранности. Поколения, принявшие императив «гарантированного взаимного уничтожения», способны ли выйти на поприще Выбора, не испытав освобождающих конвульсий? Смирительная рубашка, правда, еще в запаснике. Но антракт налицо. И в эту шизофреническую паузу ворвались страсти, у которых в метрике века. Потворствовать этим страстям-векам преступно. Закрывать же глаза на то, что питаются они жаждой равенства (изначального и конечного!), равносильно тому, чтобы заливать пожар бензином. Как совместить современную кару с современной надеждой, доступной всем и каждому? Конъюнктурная ли частность или, напротив, отправной факт, глядящий в завтрашний день: буквальность Мира вплотную соединилась в 1990-х с распродажей и дележом одного из арсеналов жизни-уничтожения и с соблазнами превращения блока-антагониста в универсальную политическую величину?!

Это — реальность, содержащая шанс умиротворения, а равно и шанс умножения конфликтов с их небывалой убойной силой, как и с переменами в положении миллионов людей, теряющих обжитую «нишу». Это — абсурд превращения средств, по самому происхождению лишенных цели, в квазицель, которая, ввергая геополитику в человеческую повседневность, силится увековечить первую и исподволь обезжизнивает вторую. Где же выход?

По моему убеждению, он там, где первописьма человека. Но с кардинальной поправкой. Тот, «первый», обреченный по правилам эволюционной выбраковки, из обреченности же сотворил себя: прорвался (шаг за шагом) в *а-эволюционную историю*. «Изобретя» будущее, им воздвигнул п р о ш л о е. Теперь — иначе. Другая обреченность. И времени не только в обрез, оно иное. С обратным переводом стрелок исторических в эволюционные. Отрекаясь от «будущего», человек уступает и «прошлое» — в терминах и образах преддверия и пьедестала. Все «былые» — ныне вместе и рядом, но не санкционированной однозначностью, а как проблемное поприще, как предмет деятельности. Тем самым Мир искомый сужается до оптимума добровольных и естественных локусов и в каждом из них развертывается в голограмму Земли.

Размер — он же мера. Мера как основной принцип жизнедеятельности. Не «голое» самоограничение, хотя и оно, но эвристика внутри запрета. Новое, экологией диктуемое мировое разделение труда, включающее множественность очагов альтернативного интеллекта. При удержании нынешних делений на страны — превращение меньшинств в норму выживающего развития. В самом широком и поистине всеобъемлющем смысле — передвижка центра тяжести человеческого бытия: от единства, подразумеваемого и производимым, и потребительским прогрессом, к взаимному вкладу всех субъектов Мира в *«ментальные» различия*, какие представляют собою главное богатство вида Ното, но также и источник самых свирепых нынешних недугов его.

Оттого и неизлечимы они (недуги эти) геополитической хирургией. Потому суверенное убийство оказывается содер-

жательней, а не только достижимее в качестве орудия самоотождествления человека... Гамлетовское «*быть или не быть*» прочитывается сегодня как НЕ-БЫТЬ или БЫТЬ?

Повсюду. Но, быть может, ощутиее всего у нас, в России.

IV

Москва, 3-4 октября 93-го: сигнал и вызов. Симптом застарелости корней у новоявленных бед. Вызов, адресованный мысли, которая остановилась перед альтернативным порогом.

И Кремль, и Садовое кольцо — еще не Россия. Казалось бы, очевидно, но отнюдь не просто. Из хрестоматийных тютчевских строк выделим вторую: «... аршином общим не измерить». Ибо — нет общего аршина. В конечном счете нет его. Об это-то и спотыкалась русская мысль, от этих спотыканий — братские могилы.

Разновеликие события в зачине: победа над Наполеоном, «падшие» дворяне-мятежники, одиночное чаадаевское «безумие». Скоротечность российская, таким образом, не календарная. Гибель поколения перводействователей уплотняет сроки, высвобождая мысль, которая отвергает действительность как таковую и одновременно ей же придает всечеловеческий статус. Дальнейшее — череда попыток совместить второе с первым. Дальнейшее — циклы прологов, переходящих в обрыв, — и в возрождение на измененной основе изначальной парадигмы.

Так Россией заявляет себя европейское пограничье. Уже не только импровизация на тему заданности, которая вобрала в себя монголо-татарское наследие и развернула его в дальнейшую колонизацию и экспансию с двумя несопадающими следствиями: мировой державой и едва ли имеющим аналог человеческим пространством. Теперь (с 20-х-40-х гг. XIX века) в двойственность этого итога вклинивается Слово, формирующее — сближением одиночек — среду предваряющего действия, иначе называемую «интеллигенцией». Неопределенность имени — симптом неустойчивости этой среды, то приближающейся к пределам «человеческого пространства»,

то вновь сжимающейся в комок имперских отщепенцев. Можно, конечно, усмотреть здесь черты сходства с исторической классикой. Отличие, однако, превосходит вариант. В то время как Европа территориализовала проект человечества, переводя его (шаг за шагом) на почву наций-государств, «пограничье» с почти маниакальной навязчивостью сосредоточивалось на единственности призвания, в принципе отвергающего границу. Но справедливо ли вменять недуг в вину? Не следует ли с бережливостью наследников из мартирологов, где запечатлены разнящиеся судьбы, извлечь духовный опыт, вне которого непонятны, а потому и непреодолимы напасти нынешнего нашего (и только ли нашего?) бездородья?

В самом деле, удивляться ли тому, что именно «западничеству» суждено было домучить особость пути России и до свободного поступка и до жесткой доктринальной организации («Es lebe die Partei, — даже если б Partei состояла из одного человека» — Н.Огарев), — и что этот-то мысленно-действенный кентавр оказался наиболее приспособленным к радикальной ломке, рассчитанной на участие или, по крайней мере, нейтральность «самобытной» российской толщи? Расплата пришла эпохой: физическими вычерками, но также преждевременной изнашиваемостью. Дрейфом несопадающих и даже антагонистичных течений мысли и идейных станов — от единоборства с себе-довлеющей властью к энтузиастическому покорству ей.

Могло ли быть иначе? Нагромождение оскорбительных случайностей вопиет: разумеется, могло бы. Но их систематичность заставляет прозревать глубинное основание. Оно — негативно — в отсутствии государства. Притом, что «отсутствие» не от дефицита потребности и представляет собою не неизменный минус, а процесс, в ходе которого власть предстает в виде зачинателя и орудия модернизирующих преобразований, чей масштаб требует соответственной ему опоры в людях, но исключает в качестве такой опоры автономное и самоорганизующееся гражданское общество. Прогресс рабства и рабство прогресса! Не новинка, когда в поле зрения изначальность Мира, но в рамках XX века —

заново отправной пункт. Стоит ли в таком случае уклоняться от жесткого вопроса: пришла бы очеловеченная и человеком измороженная Земля к нынешнему «не-быть или быть», минуя феномен Сталина?

Персонафикация — патент на авторство, включающее последователей и ниспровергателей. Человек, обустроивший свою неслыханную карьеру на изничтожении «мировой революции», заразил не одну лишь чернь со свастикой трупным ее ядом, но и антиколониальные эгалитарные потоки, и едва ли не весь левый спектр планеты. Противодействие запаздывало и календарно, и проблемно. Величайший парадокс столетия: победа над гитлеровским райхом не только продлила сроки тоталитаризма, но и резко раздвинула его границы (этим как раз обрехши его на агонию!). «Холодная война» только отчасти вернула к членению Земли на «два мира — две системы». Инерция слов и устойчивость геополитических привязок до поры до времени скрывали перемену смыслов. Ядерная смерть девальвировала идеологизированную гибель. Возникла неизвестная доселе истории патовая ситуация. И хотя из нее не могло быть победного исхода, оставались неистраченными возможности инсценирования такого исхода средствами, одновременно обогащающими и разорительными (включая опустошения в душах и умах).

Оруэлловский прогноз («1984») предупреждал ненарочитым отождествлением обстоятельств. «Старший брат» куда как реален, а «ангсоц» более чем проблематичен. Впрочем, так видится с п у с т я. Начало, середина 1950-х, — рубеж. Сталинскую «систему» все влекло к конечному выбору. Вклинившись в центр Европы и дойдя до азиатских глубин, она принуждалась (ради самоутверждения!) к абсолюту вытаптывания жизненных различий. В ответ накапливался отпор, перетекающий извне вовнутрь. Нужда в обновлении страха превосходила наличные его ресурсы. Удержать ли было планетарную державу, соединив антиинтеллектуальный погром с этническим (заодно перешерстив высшие эшелоны власти за счет новобранцев-умельцев без совести)?

Тоталитарная антиутопия вводит в сегодняшний день. Ее осуществимость — поныне открытый вопрос, как и доста-

точность либеральной препоны. А что вообще может ей противопоставить практикующий разум в союзе с «низовым» здравым смыслом?

V

Сгусток сегодняшних проблем России — время, сроки. Время, нужное для опознания тупиковости как уже испробованных попыток (1953-91) частичного — избирательного — реформирования «системы», непереводимой в принципиально иное состояние, так и длящейся фазы (1992-93) частичного — врозь — разрушения укладов жизни, в такой степени сросшихся с «системой», что глобальный отказ от них с роковой неумолимостью ведет к расчеловечиванию навыворот, жертвой которого становится не только слабый, но и нормально (в перспективе) удачливый, сильный. Срок таким образом заново в субъектах перводействия. Кто же на этот раз? И кому на смену?

Привычный ответ: демократ — взамен номенклатуры, профессионал узкого профиля на смену идеологу, собственник — вместо разгильдяя коллективизма. Такой ответ, не лишенный смысла, не дотягивает, однако, до масштаба бедствий (наличных и стучащихся в дверь). Притом, что в бедствиях этих «внутреннее» и «внешнее» до неразличимости слитны, а поиски реалистичного разведения их упираются не только в живучесть имперских упрощений, но и в неизвестность того, куда идет близкий и мнимо далекий Мир. Жизнь без противников на поверку не менее опасна, чем утрата союзников. (Из уст начальника Генштаба: «Не занимать же нам круговую оборону против всего земного шара»). Обратный путь: из «нам принадлежащего» грядущего Мира навечно домой — не может быть ни чрезмерно долгим, ни лихорадочно скороспелым, а главное — не может не быть возвратом России в Мир внутри себя. Срок — субъект именно этого действия, предельно сложного, чреватого рецидивом планетарной «холодной войны».

Наследство — в помощь *данному* субъекту *данного* действия или вериги на теле его? Нет однозначного ответа. А есть возвращающиеся вопросы. О государстве: злободневна

даже не определенность его политической формы, а оно как таковое. Ему — **не-быть или быть?** В одной упряжке (опять и заново) судьба интеллигенции — с вековым стажем российского прото-общества. Ей — **не-быть или быть?** Призрак самоцельной экстремальности... от него освободиться ли простым «сгинь!»? Или вызволение — в людях, людьми — требует не меньше, чем одного-двух поколений? Но ведь не стихийною отвычкой покоряться силе (соучаствуя в ней) способно придти оно, а деятельностью, какую можно именовать конверсией, но только в том случае, если в ее состав войдут все социальные, этнокультурные, природозащитные проблемы. Конверсия-рынок и конверсия-человеческое пространство — совместимы ли? Им, совместным, **не-быть или быть?**

В предгибельной коллизии вида Ното Россия не арьергард. Она сегодня в правофланговых. Звучит ли это мрачным прогнозом обвала или, напротив, залогом солидарности действенных различий, только и способных вдохнуть энергию в «отдельно взятого» Человека? Я верю в него — *отдельного* в среде *отдельных*. Я верю в *отдельных*, строящих снизу вверх сообщество отдельных: российский мир в Мире.

Декабрь 1993

...Фашизм — не просто ретроградный, суперконсервативный режим.

Он — м о д е р н и с т на свой лад.

Он пытается решить противочеловечными способами те же проблемы, какие не удастся решить по-человечески. Не мелкие, не частные, а те, что вопиют и у которых масштабом едва ли не весь земной шар.

Ежели б не это, как легко бы быть антифашистом. Бери свое «анти» в руки и маши, как флагом.

Не дается...

Слепота, себялюбие, сектантство — плохие защитники.

Ибо фашизм — это и определенный способ жизненного поведения, определенная «шкала ценностей» (Гесс), менталитет, возвращенный XX-м веком в реторте, где отчаяние смешано с чванством, мизантропия с избранничеством, дешевый успех с мертвой хваткой удержания его.

...Преторианцы самоновейшей истории — убийцы ее, поскольку превращают «избирательную гибель» в промысел и театр.

Фашизм — эклектика в упаковке целостности, прикармливание разнородного, и не из отбросов только. Он — упрощение, подгонка, но всегда минус сомнение и сострадание !!!

...Просто отнять у фашизма человека улицы нельзя. Нужно дать ему новое Евангелие — веру в Соппротивление.

ОТГОЛОСКИ ЭХА

Народофобия...

В самом слове нечто тягостное для понимания и оскорбительное. Буквально: ненависть народа к народу, достигающая особого накала в XX веке.

У народофобии три лика. И три проблемных ступени.

Первая: несовпадение этносов, цивилизаций, культур, включая и отдельных людей в этих общностях.

Ступень вторая – непереносимость. Непременно ли несовпадение перетекает в критических точках в непереносимость? Или формируется она как результат податливости, неумения противостоять воздействию популистского слова, а равно наваждению, при котором мастера возгонки в человеке самой страсти несовпадения доводят ее до градуса непереносимости?

Ипостась третья – убийство. Оно – непереносимый послед непереносимости? Или, чтобы пришло убийство, непереносимости нужны дополнительные условия, добавочные факторы, особая интенсивность импровизации, особая сила внушения и дополнительная слабость внушаемых?..

Я ПРИЗНАЮ СЕБЯ ВИНОВНЫМ

I

Август 1987.

В нашем доме случилось ЧП.

ЧП — судьба крымских татар. Беда давняя и общая. Кто не причастен к ней? Только бездушный скажет: не я. Только отравленный шовинистическим ядом изречет: поделом им...

Их ЧП — и мое.

Мое — в буквальном смысле.

Я родился и вырос в Крыму, тогда многонациональной автономной республике. Дружил с татарскими детьми, изучал в школе крымско-татарский язык (кто-то, кажется, сомневается ныне в его существовании). С Крымом связаны и счастливые годы моей юности, и самые тяжкие переживания. Моя мать и брат были уничтожены в первые дни немецкой оккупации Симферополя.

Сказанное дает мне нравственное право настаивать на соучастии в решении вопроса.

К тому же я историк, люди моей профессии — посредники между живыми и мертвыми, погибшими до срока. Историкам известно, как «случайное» и производное в общественной жизни обретает страшную силу необратимости, жаждущую все новых жертв. Так было и раньше, но XX-й век превзошел в этом — быть может, более всего этим — предшествующие столетия. И потому также я призываю

правительство к прекращению репрессий в отношении представителей крымских татар и к возобновлению переговоров с ними на открытой и равноправной основе...

Октябрь 1987.

[Отрывки из дневников времени первого инфаркта. Как писал после преодоления сердечной катастрофы сам Гефтер: «... я понял, что выжить и возвратиться в строй далеко не одно и то же. Врачи исчерпали ресурс умения и доброты, когда на помощь пришел томик Толстого. В душевной палате я глотал горный воздух. Хаджи-Мурат раздвинул стены. Живые мертвые еще раз вернули меня в МИР...»

20.X.1987.

...От «Казаков» перехожу — скачком — к «Хаджи-Мурату», последнему слову и истинному завещанию Толстого. Восемь лет, десять редакций! «Хаджи-Муратом» Тостой расправился с Николаем Павловичем и всей николаевщиной в характерах и душах: с этим принуждением человека быть одним и тем же, НЕ СМЕТЬ МЕНЯТЬСЯ.

26.X.

... «Хаджи-Мурат» зовет. Зверь-человек среди не-людей. То есть не вполне так. В последнем своем творении (в великом «кавказском» ряду русского слова и мысли) ни единой капли романтизма. Толстой не на стороне горцев как таковых. Они близки ему своей страшной, почти не задетой цивилизацией, гармонией природы и человека, неотделимого от гор, — живых действующих лиц. В «Казаках», в сущности, нет горцев, они — враги и жертвы. Они интересны ему лишь как неотъемлемость захватившего его казачьего строя жизни. Тут — иначе: горцы в центре. Все отражено светом их жизни, неизменяемой так же, как обманчивая близость и красота снежных вершин. Шамиль — зверь, и Хаджи-Мурат, геройский и простодушный и вместе с тем умный и тонкий, — тоже зверь. Но их зверство оправдано. Не оправдано же все, что

идет от николаевской России: сам владыка и холопы его «сверху донизу». Единственный просвет (и как это важно для Толстого!) — Авдеев, вырванный из своей естественной деревенской среды. Все остальное — ложь в широчайшем спектре от беспомощной доброты до исполнительского рвения убийц. Ложь, которой живет (сотворяя ее) Николай и которая поглощает, раньше или позже, все иное в людях, которые на поверку нелюди, «живорезы», как говорит кровная (смыслом и духом) Авдееву Марья Дмитриевна, сожительница добродушного пьяницы майора. Жесткая, жестокая, страшная, великая поэма — вызов «Кавказскому пленнику».

Одно место не могу не выписать. Это набег на аул Садо — типический по отсутствию здоровой мысли и крупницы человечности. Толстой «передает» реакцию сокрушенных горцев: «О ненависти к русским никто не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения».

Не только умом, но и большим сердцем я почувствовал эти строки адресованными мне, ждущими от меня неперемного ответа. Вспомнил давнишний (44-го г.) разговор с С.П. Т-вым, его уверенные слова: горцы были главной помехой главному делу — спасению христианских народов, вообще Закавказья, от чужестранного геноцида. Тогда меня это не то чтобы убедило, но заставило сильно колебнуться в сторону от инстинкта и привычного чувства. Не буду вспоминать дальнейшее. Я не настолько туп, чтобы считать себя «исправившимся». Напротив. Все сильнее вопрос (внутри): кто же я, кто — в конце жизни? Кто я — по отношению к России и русскому, к единственному, что знаю душой, глазами, телом, всем существом своим?

Кто же я?

Вопрос точит, не уходит, возвращаясь к ночи, — кто же я в конце концов? Русский космополит? Аутсайдер на собственный лад? А сыны? Понимают ли они меня? Мою трагедию самоискания, самонахождения, самоутраты?

28. X.

...Только что кончил «Хаджи-Мурата» — с неожиданно сильным чувством прикосновения к какой-то особой правде, которая не принадлежит никому в отдельности, никому вообще, а всем людям незаметно для них самих. Это правда жизни, концом которой является смерть. Разная и, несмотря на все ее различия, сближающая людей больше, чем все остальное на свете, соединяющая их поступки, успехи, подвиги и подлости, идеальное и скверное, собирающая в одно — жизнь. Эту тайну Толстой открывал с первых своих шагов и, открывши, не устал открывать снова и снова. И десять редакций «Хаджи-Мурата» не от старости, а от этой неотвязности, неукротимой жажды и силы открывания, которой был он сам как человек, иначе утративший бы смысл собственного существования.

А как жить, доживать, узнавши, прикоснувшись к этому, мне? Как написать хоть что-то, проникнутое в отборе, в думании, в связях фрагментов этим толстовским чувством, которое теперь и мое, которое отныне и я?..

Апрель 1988.

...Сегодня мы не можем отвернуться от заговорившего вслух этноса.

Агония сталинизма — это ведь и треснувшая твердь, в разломы которой вырывается магма, несущая шлаки и грязь. Частные конфликты, вековые распри, территориальные споры трудно, едва ли возможно решить полумерами. На очереди дня — конституционная реформа, а на подступах к ней — открытый референдум, где страдание и даже заблуждение должны получить право голоса, где единственный и категорический запрет: не смей насильничать, не смей звать к насилию. И кровь Сумгаита, и выдержка Степанакерта и Еревана — аргументы: один в пользу запрета, другой — в пользу законной и нелимитированной открытости...

Ноябрь 1988.

...Выборочная память и выборочная правда набирают ныне силу и исподволь совращают души. А совращенные души

— хрупкая защита от самого страшного — от ненависти и возвращенной ею крови.

Какая злоба дня сегодня злее, чем беда, пришедшая в Закавказье, а оттуда к нам, стучащаяся в каждую дверь? Кто вне этой беды? Она поистине всеобща. И эта всеобщность ее была бы на пользу, была бы как раз во спасение, если бы, втянутые в беду, мы руководствовались сознанием и знанием. Одно без другого — пустышка. Сознание требует: факты на стол! А где они?

Конечно, нужно время, чтобы узреть корни. И время и слова. И на это нужно согласие тех, кто ведает печатным станком. И много больше надо, то самое, чеховское: выдавливание из себя раба. И не только раба уже заклеянных нравов и установлений, но и раба слов, доставшихся в наследство. Другой раз подумаешь: а вроде и винить некого. Виновных как будто нет — среди близких, среди похожих. Виновных будто нет, а в и н а — вот она. Изначально громадная и все растущая. Она, правда, не одинаковая, не на один ранжир. Но если живешь в Москве, если тебя отдалают от хроники несчастий Кавказский хребет и еще многие сотни километров, то можешь ли почувствовать себя вне вины? Я отклоняю это преимущество. Я, проживший молодые годы при Сталине и под Сталиным, и еще не утративший памяти о том, что среди поднимавших в знак согласия рук была и моя, — я отказываюсь от духовного комфорта непричастности. Сегодня я в виновных.

...Вчера как не сказать было: мы живем после Чернобыля. Вначале ужаснулись, затем свыклись. Ведь живем — кто жив. По прежним правилам человеческого существования — так. Но правильны ли ныне ТЕ правила? Или другие вступают на место тех и согласно этим, другим — живем, но п о с л е, стало быть, не можем жить, как д о. То есть практически способны, но сама эта способность «радиоактивна», травит и мертва. Сегодня в этот же ряд встал Сумгаит. П о с л е того, что произошло там, н и г д е н е в о з м о ж н о ж и т ь, к а к — д о.

Беды непохожие, а природа их едина. И сказать, что не имеет она отношения к истине, к узнаванию того, что мы в своем доме суть, означало бы уродовать еще до рождения разум тех, кто будет после нас...

...Сумгаит, Нагорный Карабах — на любых картах. А Баку и Ереван и без них известны. Так только ли там действующие лица драмы? Только ли там виновники и прежде всего те — самые опасные — преступники, прямо ответственные за охрану жизни граждан: если даже своими руками не убивали, не насильничали, а «только» режиссировали, уммышленно попустительствовали?

Так только они, ненаказанные, непокаявшиеся, заметающие следы, — в виновниках? Нет, там в Азербайджане и Армении, «задействованы» мы все. Современники и порыва народа к суверенности, и «суверенной» резни в ответ.

Когда люди, потерявшие над собой контроль, идут убивать себе подобных, естественно, — разбою должно противопоставить силу. Тут не может быть двух мнений. Но в воздухе висит вопрос: чего не было сделано за год без малого, чтобы не пришла действительная нужда в танках и бронетранспортерах?

...Закавказская трагедия — кровавая рвота сталинщиною. Правда, кто, не сойдя с ума, станет утверждать, что иначе, по-другому нам не освободиться от сталинской унификации, сталинского и постсталинского дирижирования всеми жизнями и опеки над всеми существованиями?! Можно бы освободиться и иначе. Мирно и совместно. Но то, что случилось, не вернешь. Это — рубеж. А что за ним?

Первое, что приходит в голову, — нужна передышка: перемирие, предшествующее миру. Согласие сесть за один стол, согласие начать неформальный диалог без предварительных условий. Не числом, а умением! Умением н а ч а т ь ж и т ь з а н о в о...

...XXI век уже бросает вызов. Европа отвечает на него 1992-м годом — завершающей фазой интеграции. Есть иные ответы, среди них — великая Делийская декларация о ненасильственном мире, под которой стоит подпись главы Советского Союза. Исполним же ее дома! Прежде всего — у себя дома!

Не время ли от поисков сепаратных решений перейти к проектированию целого? К новому статусу обобществления, при котором оно не только не будет тождественным огосударствлению, но, напротив, сделает доступным и необходимым (и

тем и другим!) государство в строгих границах договорно установленных материальных прерогатив его, как и политических прав и обязанностей. Об организованной многоступенчатости и разнообразии субъектов хозяйствования, распоряжающихся результатами коллективного, семейного и единоличного труда — экономических суверенов, состоящих между собой и обучающихся тем самым и региональному, и общесоюзному (!) счету. О едином фонде развития, освобожденном от бюрократического монстра. О реанимированной культурно-национальной автономии, о «горизонтальных» и «вертикальных» общинных связях. И еще о многом другом — близком и смежном. И такая ли химера наш «общий рынок»!!

Память о жертвах зовет к мысли, добывающей истину. И потому то, что ныне, — это еще и испытание интеллигенции, испытание на разрыв. Среди виновных она по меньшей мере не последняя. Среди «бродящих в темноте» — первая. Сегодня кровью сказано: чтобы убедить хотя бы одного несогласного, надо убедить себя в том, что каждый несогласный не только твой спутник в жизни, но и условие того, чтобы она стала и осталась жизнью.

21 августа 1991, Вильнюс.

«Маленькая страна, великая нация»

То, что в эти дни путча свалилось на нашу голову, еще не закончилось, грозя неисчислимыми бедами и отступая перед сопротивлением неубоявшихся, — принадлежит к пороговым событиям.

Как назвать происходящее? Разные слова из самых гневных и презрительных приходят на ум. Не точнее ли всего — заговор опоздавших? Эти персонажи опоздали не только в ближнем смысле, решившись на захват власти и применение силы за день до подписания договора о радикальном пересоздании Союза. Они опоздали вообще: и по отношению к отдельному человеку, который перестал быть послушным нулем и уже никогда не станет им, и по отношению к Миру, перешагнувшему через обесчеловечивающую конфронтацию взаимного страха. Заговорщики не люди, а ночные призраки.

Однако света недостаточно, чтобы они исчезли — раз и навсегда.

Нельзя не признать: их шансом было крайнее расстройство жизни, нерешаемые проблемы, ожившие предрассудки. А также слабости демократов, среди которых и их пересосредоточенность на взаимных отношениях, и их неготовность к широкому, продуманному и надежно защищенному компромиссу. К счастью, призраки, покусившиеся на распорядительство всеми судьбами, не сумели воспользоваться своими «преимуществами». Они обанкротились и в качестве демагогов.

Надеюсь, уверен: страшный урок подвигнет всех нас к близости. Сегодня день нового родства — народов и людей.

Я пишу эти строки в Литве, к которой вполне применимы слова, сказанные некогда о Голландии: «маленькая страна, великая нация». Ее опыт и уроки, принятые и умноженные Россией, пошли на пользу всем.

Ноябрь 1991 г.

[Ответ на вопрос корреспондента «Демократической России»: «Как Вы относитесь к только что объявленному чрезвычайному положению в Чечено-Ингушетии?»]

— Я решительно против.

И не потому, что считаю исключенным применение силы к насильникам. Но именно к ним, и в защиту незащищенных людей.

Я против меры, главный мотив которой — единая и неделимая, в версиях ли дома Романовых или «Белого дома». Я против показательных экзекуций в назидание тем, кто преступает отмеренный в Москве предел суверенности. Я против диких идей превращения России в геометрическое пространство, разделенное на клеточки равномерных губернаторств.

Я — за согласие, как бы мучительно оно ни давалось. Недавно один из ближайших сотрудников Б.Н.Ельцина не без презрительной ухмылки отверг с телеэкрана «принуждение России к миротворчеству». А почему, собственно? Разве не к этому обязывает все без изъятий наше историческое наследие? Разве не к этому зовет Россию Мир, который ныне в поисках

способов примирить непримиримое — связанность всеобщих человеческих судеб с богатством жизнетворящих различий?!

Я призываю президента России к мужеству своевременного отступления. Иногда оно больше, чем что-либо, высекает в людях искру надежды, и как раз в тот момент, когда, казалось бы, для надежды уже нет места.

25.XI.1991.

Люди, остановим безумие!

Не сегодня, так завтра может начаться война между Азербайджаном и Арменией. Не исключено, что я отстал от событий и она уже идет. Именно война — во всем жутком объеме этого понятия.

Кажется бессмысленным выяснять вину и называть виновных. А почему? Разве уже все потеряно? Разве знание роковых просчетов вчерашнего дня не способно помочь обузданию вырвавшегося на свободу убийства?

Согласен: не время ворошить причины вековой давности. И если еще не вовсе утрачена способность разговаривать языком дипломатии, то тем, на кого возложена посредническая миссия, не миновать табу на симпатию к одним, на гнев в адрес других. Но я спрашиваю: не поощряем ли мы мнимым нейтралитетом безумцев, коих ведет в пропасть голос крови?

Мы — безучастные участники. В Москве, в России. Мы, уже слегка научившиеся действовать в политических передрягах, ведающие не только из преданий и закордонного опыта, чего можно добиться забастовкой, сотнями тысяч, выходящими на улицы, диалогом с танками, в которых не роботы, а люди. Что же, весь этот свежий опыт не работает перед лицом войны народов? Или его надо дополнить, не мешкая, иными средствами увещевания и острастки?

Если уж притязать на правопреемство империи и Союза, то начать надо не только с долгов в долларах и марках, а и с долгов, измеряемых погубленными жизнями в Доме, где еще недавно все мы были прописаны. Но вот вопрос: как взыскать этот долг с самих себя? После ухода из жизни Андрея Дмитриевича Сахарова одинокие усилия — лишь симптом общей нашей беспомощности и разлада в

людях, который не преодолеть, пока карьеры перевешивают судьбы.

От Сумгаита 1988-го года — цепочка к Тбилиси и Баку. И в кровотокащие очаги бьет рикошетом прошлогодний вильнюсский январь. Разные события, что и говорить. Разные зачином, но схожие финалом. Колебания верховной власти вдохновляли насильников и обессиливали поборников демократической независимости. Необратимость развала и крови нарастала от события к событию, а у расследований был неизменный обрыв — на пороге Кремля.

Историку виднее, что нравственность худо уживается с политикой. Некогда сказанное Гракхом Бабефом — «макиавеллизм правого дела» — не потеряло, увы, резона. Подходят ли под это определение усилия М.С.Горбачева во что бы то ни стало сохранить Союз? Может, и подошли б, если бы то, что делалось Президентом при всеобщем нашем потворстве, не достигало прямо противоположного эффекта. И, чтобы не остаться голословным, назову еще одну акцию в этом ряду: недавний фактический отказ от защиты населения Шаумяновского района Азербайджана. Эпизод? Но во имя чего? Ради подписи Азербайджана под ново-огаревскими соглашениями? Конечно же, не малость эта подпись. Совсем не малость. Но ежели сейчас возьмет верх в Баку партия войны, то разве не будет это само по себе равнозначным отказу от места в общей тележке, если только эта тележка действительно в пути, ведущем в «цивилизацию».

Каждый час сегодня дорог. Первое, что, естественно, приходит в голову: к ослушникам мирного согласия незамедлительно применить экономические санкции. Не следует стыдиться признания в собственном бессилии и обратиться за помощью к Организации Объединенных Наций. Голубым каскам — место на границах Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана!

Что же касается людей, взявших на себя бремя лидерства, их следует лишить «права» на оправдание дезинформацией. Ибо в этом случае незнание не лучше прямого разбоя.

Мы запутались. И не в трех соснах. Тут целый бор, и сросшиеся кроны едва пропускают свет. Потребовались годы, чтобы «общечеловеческие ценности», наконец, признаны

были и у нас высшим непреложным критерием. Но ведь и угроза остаться суесловными растёт изо дня в день. Диктатура класса числится уже в раритетах, а суверенный беспредел — с ним как? Все та же мысль точит: упущенное время — множимые жертвы. Не журавль ли в небе политический союз государств? Пока найдена будет форма, устраивающая всех или по крайней мере большинство, безотлагательно нужны временные соглашения, направленные на реальную защиту жизни и достоинства человека, как и обязательства, предусматривающие и кару за их нарушение. И можно ли откладывать создание межгосударственных сил быстрого реагирования?

Насильник должен знать — он не уйдет от ответа!

P.S. Прошли еще сутки. Опасность войны не убывала несмотря на назначенную встречу президентов. Не Воландом ли замышлен сценарий: накануне переговоров — упразднение карабахской автономии? Впрочем, у дьявола, как помнится, были и вполне земные имена, да не нов и прием — задним числом увековечивать свершившиеся факты. Но ныне кого звать — освежите память? Природа беспомощности — всеобщий камень преткновения. Обойти его не удастся никому. Так что же — еще и еще окровавиться совместно, чтобы, наконец, запнулось безумие? Если бы только не мертвые дети и старики...

20.IX.1991.

Ушла в небытие последняя империя, притом не похожая ни на одну из бывших. Ее наследие — открытый вопрос. Прежде всего — об условиях и смысле со-жития. Я употребляю это слово потому, что речь идет о чем-то большем, чем простое сосуществование смежных стран и народов. Впереди — выбор, затрагивающий не только тех, кого история некогда свела вместе. Наш выбор планетарен по сути. Столетия прошли под знаком великой идеи — человечества: единого в своей единственности. Во имя воплощения ее принесены неисчислимые жертвы. Искомый проект оказался иллюзорным, но и неосуществимость его обогатила материальный и

духовный опыт людей. Годы размышлений убедили меня в том, что впереди — либо гибель от взаимной несовместимости, либо переход к другой жизни, смыслом и содержанием которой будет создание различий.

Не просто ТЕРПИМОСТЬ К НЕСОВПАДЕНИЯМ, а особого рода деятельность, требующая принципиально новых установок, формирующая новые свойства человека и новую среду. МИР МИРОВ — и цель, и поприще, жизнь одновременно вселенская и частная!

Для нас, в нашем Доме-Евразии, этот выбор поистине спасителен. И уже не чьи-то одинокие искания, а суровая проза жизни заставляет ныне вступить на путь, где вновь обретенная суверенность способна уберечь себя лишь эврикой взаимности. Нет, полагаю, ничего зазорного в мысли, что осознание отсталости позволяет с особенной остротой провидеть будущее. Поражения часто продвигают вперед с большим успехом, чем триумфы. Достаточно сослаться на пример Японии и Германии после 1945-го года. Нас тогдашняя победа задержала, дав последний шанс сталинской системе. Возможно, я несколько поторопился, назвав один из своих текстов 80-х годов — «Сталин умер вчера». Теперь можно уточнить дату: вчера — это год 1991-й.

1992.

Вопрос, который не может не беспокоить и нас, и людей за нашими пределами — какая судьба ожидает бывшую сверхдержаву? Я говорю бывшую не потому, что, исполненный оптимизма, сбрасываю со счетов ядерное оружие, которого более, чем достаточно для прекращения жизни. Я просто убежден, что истинная проблема — в сроках морального и физического уничтожения этих обремененных неприменяемостью средств. Признаем: величайшей реальностью и гарантом стабильности Мира времен «холодной войны» был абсурд. Не заблуждение, нет. «Гарантированное взаимное уничтожение» поддерживалось разумом и даже гуманностью, не переставая быть абсурдом — тем таинственным свойством человека, которое делает его способным к непредуказанным открытиям и входит в родословную Выбора. С ядерными

сверхдержавами в прошлое уходит и само понятие, и самый статус «сверхдержава». Я думаю, что это относится не только к бывшему СССР, но и к Соединенным Штатам. В Мире миров нет места для наций-планетарных гегемонов. Притязания этого рода способны лишь истощить, обескровить и обесчеловечить. И опять-таки: поставленные в жесткие условия выживания, мы, здесь, можем сделать гигантский шаг, который оставит позади не только хищную химеру «два мира — две системы», но и благородную идею конвергенции, исходившую из непререкаемого раздела Мира надвое.

Я не был бы вполне искренен, если бы ограничился лишь тем, что выше, оставив у читателя впечатление, что я держусь взгляда героя вольтеровского «Кандида»: все к лучшему в этом лучшем из возможных миров. Я просто солидарен с теми, кто полагает, что другого Мира, подобного человеческому, нет и что наша обреченность на одиночество и скорбна, и возвышенна. Я думаю, в конечном счете все, происходящее сейчас, придвинулось к ПОРОГУ, равномасштабному акту творения. Поймут ли это мои соотечественники, обуреваемые страстями минуты?

Не настаиваю. Моя надежда — поколение, свободное от страха и от жажды мщенья заблудившимся предкам.

16 мая 1994.

Народам и Парламенту Крыма.

Дорогие соотечественники!

Я уроженец Крыма, мое детство и доуниверситетская юность прошли в Симферополе. Поэтому я считаю себя вправе обратиться к Вам как к соотечественникам.

Но не слишком ли громкое слово — ОТЕЧЕСТВО, чтобы применять его к нашему полуострову? Мы ведь привыкли мерять родину тысячами верст, представляя эту евразийскую громаду единой и неделимой — в царистском ли толковании, в коммунистическом ли. Только горький опыт, кровь и жертвы привели нас к пониманию того, что единство, основанное не на принуждении и силе, возможно лишь в том случае, когда оно — единство — станет д е л м ы м. Когда протянутся друг другу руки суверенных людей, строящих в

обозримых, унаследованных от прошлого пределах собственную жизнь, которая будет отличаться от жизни других, сопредельных и далеких стран множеством кровных и ничем не заменимых примет: от тепла своего очага до своеобразия современных цивилизационных инфраструктур.

Крым наш древний и вечно юный. Волны истории перекатывались через него, оставляя следы в камне и в человеческих душах. Тот Крым, в котором я вырос, — многоликий и разноцветный. Морской и степной. Гроздь винограда такой же его символ, как и колос «твердой» пшеницы. Тот Крым не принадлежал в отдельности никому. Он был — равно — татарским и русским, а также еврейским, украинским, немецким, греческим, караимским, болгарским, армянским, — всех не перечислишь.

Можно ли вернуться к этому равноправию и равнозначию? Верю, что можно. Можно, пересиливая законные обиды и удерживая себя и иных от поспешных, нерасчетливых действий. Помятуя, что Крым — единственный, как Байкал или Новгород, и также составляет достояние всех жителей Земли.

В памятный день, полвека после того дня горечи и стыда, когда узурпированная одним человеком власть распорядилась судьбами целого народа (в ряду других народов-жертв), я призываю Вас к взаимности, к мудрости и терпению.

Мы не смеем забывать мертвых. И мы обязаны сохранить жизнь тем, кто будет после.

Нездоровье не позволило мне быть сегодня с Вами. Моего друга Александра Лавута я прошу передать Вам это краткое послание, сопроводив его крепким рукопожатием.

ПРОЩАЛЬНОЕ.

КОДЕКС ГРАЖДАНСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ (ГС) проект

ГС — не новшество. Истоки уходят в древность. Времена же недавние освятили ГС именами Махатмы Ганди, Мартина Лютера Кинга, Андрея Сахарова; список можно длить, не забывая, что родство тех, кто закладывал фундамент ГС, отнюдь не исключало различий, превышающих оттенки.

И все же ГС едино в решающем смысле. Оно — плоть демократии. Без ГС демократия не больше, чем процедура — полезная, даже работающая, но вовсе не застрахованная от лицемерных подделок и ухищрений обманного и небезопасного употребления. В своих целях ею пользуются и современные тираны, и самоновейшие демагоги, которых по недоразумению именуют «популистами».

ГС — противоядие им, совокупным и порознь. Разумеется, не идеальное, со своими скрытыми дефектами. Но лучшей защиты ПРАВУ ЧЕЛОВЕКА ОТСТОЯТЬ СЕБЯ (в том числе и от собственных слабостей и дурных наклонностей) не существует пока.

Опыт ГС в России все еще в разрозненных примерах. Против него — вчерашний и обновленный страх. А также неудача первых попыток, посягнувших на «святая святых», — на прерогативы правящего режима принимать решения, затрагивающие судьбы и жизненный обиход миллионов, не справившись, согласны ли на такие передрыги и катаклизмы те, кого прямо или окольно в них втягивают.

Возразят: все таки ушли мы от прошлого, обрели гласность и, если еще не научились, так учимся и не без некоторого успеха, отстаивать ее. И арсенал противодействия пополнился. Достаточно назвать шахтерские и иные забастовки, уличные шествия и митинги, отпор одиночек и беспрецедентное, — когда сравнишь с эпохой, что позади, — неподчинение функционеров (сплошь и рядом, правда, в весьма прозаических интересах, но нередко и все чаще во имя общего блага — так или иначе толкуемого).

А общественные опросы и нелицеприятные рейтинги? А Президентский совет из членов на общественных началах, у коих и право, и долг — высказать высшей власти независимое суждение и передать (снизу вверх) боль людскую? А вневказанные и полуказанные аналитические центры, сигнализирующие, предупреждающие? А, наконец, представительные учреждения и некоторая доза независимости у людей в судебных мантиях, освобождающихся, хотя и не свободных вовсе, от приснопамятного «телефонного права»?

«Вы не умеете ценить приобретений», — не раз слышали мы из уст благожелательных иностранцев и заглянувших (на очередной «круглый стол» или просто так) наших навсегда отъехавших соплеменников.

Ответ — осенние события 1993-го. Неуслышанный, дурно понятый, легко позабытый ответ. А вдогонку, вторя и усугубляя его, — Чечня и Россия рубежа 94-го и 95-го.

Окраинный Грозный, испепеляемый, с неубранными трупами на улицах, подвел черту. Нет, он не упразднил (пока?) все новшества, клонящие к демократизации. Но он обнаружил с пронзительной силой их НЕДОСТАТОЧНОСТЬ. И их не соединяемость в солидарный заслон — без особого усилия, которое, не требуя от его участников тождества во взглядах, позволит им совместно оградить граждан России от авторитарного беспредела.

УПРЕЖДАЮЩЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ — ныне проблема внутри всех проблем. Опоздание опасно и преступно. Иллюзии сотрудничества с хозяевами Кремля на условиях, ими диктуемых, уже вчера достигли степеней регулярного самообмана, сегодня же прямо поощряют обман, какой силится достичь любого человека и завладеть им.

Вот почему самая пора учредить **Гражданское сопротивление**. Без рекламной трескотни, с открытой публичной дискуссией, итогом которой могли бы явиться концепция ГС и его политический, нравственный кодекс.

Ниже — попытка сформулировать некоторые исходные положения.

А. ЦЕЛИ И МЕСТО В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

1. ГС — одна из решающих возможностей действенного и ответственного волеизъявления граждан, законность и необходимость которой заявлены «Всеобщей декларацией прав человека» и иными документами, исходящими из верховенства этой декларации.

2. По самому призванию своему ГС направлено против акций, угрожающих жизни, безопасности, достоинству и достатку граждан (большинству или части их), притом, что эти акции исходят, как правило, от институтов власти, включая высшие.

3. Участие в ГС — сугубо добровольное и не требует формальных процедур оформления членства.

4. ГС — движение **внепартийное и внефракционное**, что, однако, не препятствует участию в нем граждан, примыкающих к тем или иным политическим образованиям, а также не исключает совместных действий с партиями, профсоюзами, женскими, молодежными, религиозными и иными течениями, признающими «Всеобщую декларацию прав человека» и отвергающими **всяческое насилие**.

5. К числу коренных принципов ГС и наиболее сложных проблем, встающих перед ним, относится такое **сочетание решительности и меры**, какое начисто исключает действия, направленные на насильственное достижение своих целей, даже в случае, когда они (цели) могут быть признаны справедливыми и обоснованными.

6. ГС решительно выступает против военных акций кроме обоснованных миротворческих действий в рамках **Объединенных наций**.

ГС стоит за всеобщее, последовательное и неуклонно осуществляемое разоружение и готово сотрудничать со всеми движениями и лицами в России и за ее пределами, выступа-

ющими против гонки вооружений, против бизнеса, заключающегося в продаже оружия, тем паче когда эти сделки совершаются без контроля за возможными результатами.

7. ГС готово содействовать всем решениям и действиям, направленным на преодоление инерции холодной войны в политике, экономике, идеологических воззрениях, а также в психологии, мотивах поведения и нравах.

8. ГС стремится к превращению России в добровольный союз территорий и национальных образований, в основе которых лежит ДОГОВОРНЫЙ ПРИНЦИП, условия его совершенствования и конкретизации в рамках согласия относительно уровней и форм суверенности, а также делегирования центру необходимого минимума полномочий.

9. К числу основополагающих целей ГС принадлежит соучастие в превращении СНГ в Евразийское сообщество независимых дружественных государств и наций с прогрессирующим нарастанием связей и контактов, охватывающих все сферы жизни. Одновременно ГС считает своим долгом активно препятствовать всем проявлениям великодержавия, политического и экономического диктата, расистским поползновениям и всякому фанатизму, грозящему бедствиями войны, человеческими жертвами и оскорблением достоинства народа и человека.

10. Процедура принятия решений ГС сообразуется с обстоятельствами, но в любом случае она должна быть демократической, оставляющей за меньшинством право несогласия: либо отказа от участия в тех или иных намеченных действиях, либо выбор иных ненасильственных средств, отличных от тех, к каким склонно большинство.

11. ГС исполнено уважения к средствам массовой информации и является принципиальным сторонником независимости журналистов.

Б. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

1. ГС — движение, которое строится снизу вверх. Основа его — инициативные группы и комитеты ГС, которые могут создаваться по местам жительства, на основе делового

сотрудничества и других личных контактов, дружеских связей и единомыслия в целях.

2. На таком же принципе могут возникать и территориальные инициативные и информационно-координационные советы, а также Центр информации и контактов — с базой в Москве.

3. По мере реализации замысла должны быть предприняты меры заявительного характера, а в случае надобности — регистрация ГС и его местных разветвлений в соответствующих юридических учреждениях.

4. ГС изначально вступает в контакт с Федеральным собранием, как и с местными органами представительной власти.

5. Отношения ГС с исполнительной властью заранее определить едва ли возможно, поскольку здесь могут иметь место как неизбежные конфликты, так и проистекающие из их решения компромиссы, акции согласия, совместные действия на суверенной и равноправной основе.

6. Требуют дополнительного продумывания шаги, оформляющие внешние контакты ГС, включая в первую очередь связи его с международными правоохранительными институтами и движениями.

В. ВОЗМОЖНЫЕ И ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАНСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

1. Пути и способы действия ГС чужды шаблона и склонности к крайним акциям, если нет на то чрезвычайных побудительных мотивов. К тому же эти средства могут быть разной интенсивности в зависимости от местных условий.

2. К способам действия относятся:

- свободные дискуссии;
- петиции, иные обращения к местным и высшим органам законодательной, исполнительной и судебной власти;
- прямые обращения в суды, в том числе и в защиту людей, которые мирными способами отстаивали свои убеждения и гражданские права;
- отказы исполнять директивы и распоряжения, носящие неконституционный характер и находящиеся в противоречии со «Всеобщей декларацией прав человека»;
- открытые акции протеста с соблюдением мер, ограж-

дающих их от провокаций, действий неуравновешенных и безответственных людей;

— требования о смещении с должности и привлечении к ответственности лиц любого ранга, чьи действия носят самоуправный, своекорыстный и взрывоопасный характер;

— право законодательной инициативы в пределах целей и полномочий ГС и его органов;

— требования подотчетности депутатов всех уровней и использование в крайних случаях права отзыва депутата (организация соответствующих законных действий);

— защита журналистов и независимых средств массовой информации в их деятельности, направленной на достоверное и всестороннее освещение происходящих либо назревающих событий, которые небезопасны для граждан и принятого населением способа жизнедеятельности;

— в самых острых ситуациях, грозящих правам, жизненному устройству и благополучию граждан, как и мирным отношениям между народами, — призыв к политической забастовке в местных пределах и в масштабах России;

— обращение с той же целью в Организацию Объединенных наций и в Международный суд.

Г. «МЕНТАЛЬНЫЕ» АСПЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

1. ГС направлено на защиту человека, его прав и достоинства, но оно также исходит ОТ ЧЕЛОВЕКА как существа, способного к нравственной, ненасильственной и солидарной самозащите.

2. Эта общая установка обретает особую злободневность в нынешних обстоятельствах жизни России и ее населения. Чересчур много фактов свидетельствуют о спаде гражданской активности, избирательном абсентеизме (*протесте неучастием в выборах*), разочаровании во всем и во всех, об утрате людьми веры в свою возможность влиять на решение проблем, от которых зависит не только сегодняшняя повседневность, но и завтрашний день России.

3. Насилие является едва ли не самой драматичной коллизией современности. Масштабы и суть его сугубо непροсты и вряд ли могут быть представлены лишь невиданным

ростом преступности, ее набирающей силу организованностью и просачиванием во все эшелоны власти. Это — верхушка айсберга, придонное основание которого — спазматический быстрый разлом привычных ценностных ориентиров. Страх встает в общую строку с вожделениями скорой наживы и с высвобождением инстинктов, подавлявшихся десятилетиями, но не уничтожимых по самому происхождению своему.

Попытки обуздать спонтанное насилие лишь орудиями кары и расправы безрезультатны, если бы даже они действительно совершались в рамках закона и на основе реальной с у д е б н о й в л а с т и, равноправной властям законодательной и исполнительной. Это условие — необходимое, но все же не достаточное.

ГС, разумеется, не замена службам охраны человека и соблюдения публичного порядка. Но оно — гигантский по своей потенции ФЕНОМЕН АНТИ-НАСИЛИЯ. Ибо ГС освобождает от массового страха и дает выход энергии суверенности и отпора, направляя ее в русло предметно реализуемой инициативы (особенно сказанное относится к молодежи).

4. ГС в существенной, если не решающей мере, влияет на духовный климат, стиль жизни и речевое поведение людей. Именно оно способно заместить призывы к возмездию и к мщению (в их числе и имеющие исторические основания), как и поверхностное, а в существенной степени лицемерное покаяние, — СОЛИДАРНОСТЬЮ, ОСНОВАННОЙ НА НЕПОСРЕДСТВЕННОМ ЧУВСТВЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

5. ГС — естественный противник карьеристского разгула и заповенения властных ниш выскочками и лизоблюдами. Опять же — есть средства, уменьшающие эту опасность: сокращение управленческих структур (прежде всего президентской), конкурсный порядок отбора должностных лиц, всесторонний парламентский контроль над нео-номенклатурой. Но одними этими мерами натиск современных Молчалиных и Растиньяков, — дипломированных и натасканных, — не остановить.

ГС и тут неоценимая подмога. Общество, чтобы стать таковым не по названию, должно учиться заграждать дорогу негодникам и поощрять свежие умы и чистые намерения.

Конечно, и в этом случае речь идет о возможностях, которые могут быть реализованы лучше или хуже либо вовсе утрачены. Потому ГС должно обладать культурно-образовательной и воспитательной программой. Создание и воплощение ее требуют специального рассмотрения. ГС призвано и в этом действовать не в одиночку, а вместе со всеми культурными и образовательными институтами и самодеятельными ассоциациями, которые, соглашаясь с основными принципами ГС, сохраняют полную независимость и автономию в избранных ими сферах.

6. ГС — «ментальная» почва для сближения народов, живущих в России, для установления отношений взаимного понимания с независимыми общественными организациями, способными составить в перспективе ЕВРОАЗИАТСКОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО. Значение последнего аспекта трудно переоценить. Он один делает ГС необходимым и незаменимым.

7. Было бы уместно создание в рамках ГС особого фонда «Аутсайдер», источники которого направлялись бы на поддержку альтернативных починов и их инициаторов как в центре России, так и в ее глубинке.

Д. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ

1. ГС нуждается в собственных источниках информации и призывает журналистов, а также всех граждан, располагающих необходимыми знаниями и умениями, к участию в Информационной сети ГС. Материалы ее подлежат оперативной обработке в ряде крупных городов и сосредоточению в Информационно-координационном центре, находящемся в Москве.

2. ГС нуждается в материальном содействии на добровольной и контролируемой основе.

Декабрь 1994 — январь 1995



М.Я.ГЕФТЕР В ЦЕНТРЕ "ХОЛОКОСТ"

1991, май

на встрече с инициаторами создания Центра М.Я.Гефтер поддержал саму идею и согласился принять участие в разработке концепции и специфического «профиля» деятельности, не имеющей аналогов в России организации

1991, лето-осень

3 редакции статьи «Русский еврейский вопрос»

1992, февраль

регистрация центра «Холокост» в Министерстве юстиции

1992, март

выступление М.Я. на официальной презентации центра в Доме культуры издательства «Правда». (Идеи русско-еврейского диалога и доверия как основных принципов деятельности центра)

1992, 29 апреля

вступительное слово на Международной конференции в День памяти евреев, погибших от геноцида во второй мировой войне. (Холокост и история в доработанном виде «Конец человеку или конец в человеке»)

1992, 29 апреля

статья в «Литературной газете» «Трагедия и опыт»

1992, июнь

М.Я.Гефтер избран Президентом центра «Холокост»

1992, август

выступление на вечере памяти в связи с 40-летием расстрела членов Еврейского антифашистского комитета (ЕАК)

1992, осень

участие в подготовке буклета архивно-документальной выставки «ЕАК: годы, люди, гибель»

1992, ноябрь

выступление с докладом «Мир Холокоста: вчера и завтра» в Барселоне на международном симпозиуме «Роль Октябрьской революции в постижении нынешней реальности»

1992, декабрь

создание координационного совета центра, приглашение видных деятелей культуры и науки

— разработка целей и задач «центра»

— участие в выработке нового Устава

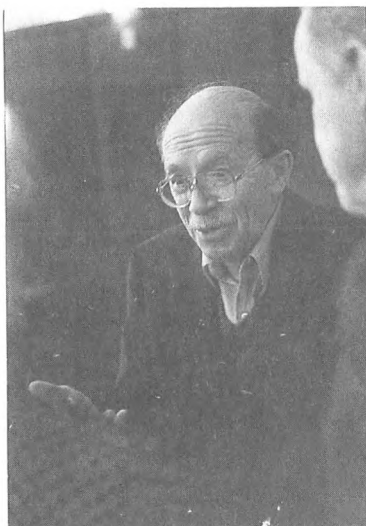
— выступление на Общем собрании членов центра

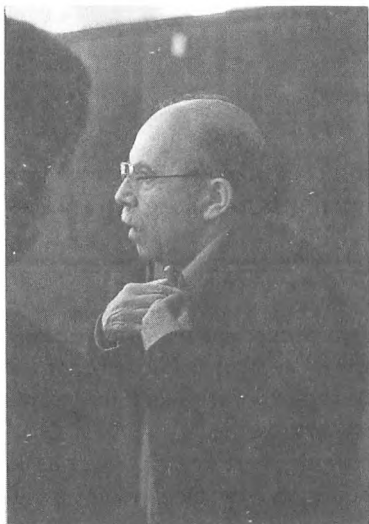
1993, январь

участие в подготовке и выступление в Гамбурге на акции в связи с 60-летию прихода Гитлера к власти; написание итоговой декларации гамбургской встречи

1993, апрель

выступление на вечере «Антисемитизм в России: от Кишиневского погрома до «Дела врачей» в Московском Доме Медика





1993, лето, осень

консультации и встречи с работниками Мэрии и в Министерстве культуры РФ о необходимости создания Музея Холокоста, выработка концепции музейной экспозиции

1994, апрель

выступление на вечере памяти евреев-жертв нацизма в Доме ученых

1994, март, апрель

подготовка и выступления на Международном симпозиуме «Уроки Холокоста и современная Россия», проведение «круглого стола» в рамках симпозиума «Россия и мир конца XX века сквозь призму Холокоста»

1994, июнь

выступление в Ягеллонском университете (Краков) на симпозиуме европейских интеллектуалов «Бесполезная память» с докладом о природе геноцида и его метаморфозах в XX веке. Доработка доклада в статью «Злоключения памяти» («Независимая газета», 1 сентября 1994)

— Посещение Освенцима и налаживание контактов с руководством Музея
— Встреча с работниками Еврейского института в Варшаве

1994, август

интервью польскому телевидению «Русский еврейский вопрос» для телевизионного фильма «Канторы из большой синагоги»

1994, сентябрь

выступление на презентации «Черной книги» и подготовка статьи для «Международной еврейской газеты»

1994, осень

участие в подготовке и публикации материалов международного симпозиума «Уроки Холокоста и современная Россия»

1995, январь

подготовка доклада в связи с 50-летием освобождения Освенцима, переработанного в статью «Об Освенциме и не только»

Выступление на учредительном собрании координационного совета Научно-просветительного центра «Холокост» 29 декабря 1992 г.

Наш центр возник со сравнительно скромными намерениями, хотя его название «Холокост» обязывает ко многому. До сих пор мы не вышли из организационной фазы, при том что немалые усилия были уже предприняты и не без результатов.

Тем не менее приходится смотреть правде в глаза. Совсем не по вине присутствующих, да и о вине вообще здесь говорить не приходится, мы — я имею в виду Россию, всех жителей этого огромного пространства, — мы непомерно отстали с осмыслением и переживанием той исторической трагедии, что носит имя «Холокост». Десятилетиями ее осмыслением жил Мир. Запечатлены, заслушаны, опубликованы сотни тысяч человеческих показаний, написаны библиотеки книг, тема эта вошла в плоть искусства. Она не уходит из совести людской, при том что бытует не изолированно, — сомкнулась с другими трагедиями, которые пережил Мир с тех пор. При этом Холокост глубоко современен не в узком, но в широчайшем всечеловеческом смысле.

Может ли скромный московский, российский Центр не учитывать этот мировой контекст в своих замыслах и делах? Я хочу предложить сегодня на Ваше обсуждение некоторые мысли по поводу того, как можно нам действовать, раздвигая и совершенствуя понимание наших задач.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЦЕЛЯХ И НАМЕРЕНИЯХ ЦЕНТРА «ХОЛОКОСТ»

Научно-просветительный центр «Холокост» учрежден в 1991 году. В то время как подобные общества давно уже действуют во многих странах, создание нашего центра не только непростительно запоздало, но все еще находится в стартовой фазе. Причины — в той же, по сути, плоскости, что и сама трагедия.

Горько признать: многое упущено навсегда. Невосстановимы в должных подробностях все человеческие судьбы, все обстоятельства Катастрофы, постигшей евреев, как следствие замысла, направленного против человечества. Естественные законы ухода современни-

ков тех событий придают особую остроту убыванию невестребованной памяти. А там, где на месте фактов, — пустошь, там застывает мысль и открываются лазейки для нечистых домыслов, для нарочитой фальсификации. Урезанное и оскверняемое прошлое крадется с заднего хода в дом, где рождаются дети. Стать ли им суверенами настоящего и будущего, не зная смысла слов «Аушвиц» и «Бабий Яр»?

Наш долг и первейшая задача: немедля приступить к систематическому и целенаправленному сбору документальных материалов, по крупице восстанавливая смертный путь миллионов людей — всех и каждого в отдельности. Должны быть употреблены в дело все ресурсы устной памяти, способной извлечь из небытия последние слова и движения души, донести до нас хрупкую и неистребимую человеческую связь на пороге гибели.

Лишь содействуя встрече живых и мертвых, мы сумеем добрать-ся до корней народоубийства, перед которым оказались обреченными на поражение разум и вера. Однако остережемся «тотальной» одномерности. То роковое бессилие не было все же поголовным. Нельзя допустить, чтобы остались забытыми акции спасения, подвиги русских, белорусов, украинцев, жителей Прибалтики и Молдовы, людей разных племен и убеждений, рисковавших жизнью, укрывая евреев от нацистских палачей и их восточноевропейских пособников. Только совместными усилиями очевидцев, историков, архивистов, краеведов, журналистов, добровольных следопытов возможно воссоздать летопись еврейского сопротивления во всех его формах: индивидуальных и групповых, ненасильственных и вооруженных.

Холокост суть триединство ГИБЕЛИ, СОПРОТИВЛЕНИЯ, СПАСЕНИЯ. В целостности этой — урок, простирающийся по сей день и подтверждаемый многим из того, что случилось позже и происходит ныне, вызывая ужас и отвращение, и вместе с тем пробуждая силу зрелого отпора.

Устроители центра «Холокост» исходят из убеждения, что геноцид всегда не против «кого-то», ГЕНОЦИД ВСЕГДА ПРОТИВ ВСЕХ.

Неустрашимая разделенность людей вовсе не отменяет неделимости всечеловеческого выживания, каким бы запутанным, сложным не оказывался путь к взаимному пониманию на этой почве, и тем более к претворению этой взаимности в норму и в источник развития Мира, входящего в XXI век.

Столь всеобъемлющая, на первый взгляд, установка не означает, разумеется, что центр «Холокост» склонен к гигантомании в своих начинаниях. Однако и в самых скромных рамках мы чувствуем себя обязанными держаться общих принципов, исключающих замкну-

тость и пафос исключительности, даже если они оправданы безмерными страданиями и жертвами расистского миродержавного иступления.

Думается, нет нужды объяснять, почему в нашей идейной платформе центральное место занимает стремление содействовать движению навстречу друг другу людей разных наций, языков, вер, особенно же — поспешествовать русско-еврейскому доверию и сотрудничеству, переводя его из общей нравственной и цивилизационной близости в контактную сферу памяти, требующей честности, бескомпромиссности и — одновременно — такта и бережливости в обращении с прошлым. Все современное слишком доказывает, что войны родословных чреваты кровью, не ведающей границ.

Сказанное определяет и потребность в связях, выходящих за пределы Москвы и России. То, что мы начинаем делать с опозданием, не означает, само собой, что у нас нет достойных предтеч и союзников. Неоценим вклад еврейского государства, возрожденно-го к мировой жизни из пепла Холокоста. Не могут быть ни забыты, ни обойдены усилия ученых и художников Европы и Соединенных Штатов, просветительных объединений и людей разных конфессий Мира, в совокупности создавших источниковую и интеллектуальную базу и для проектируемой нами деятельности.

Центр «Холокост», будучи российской научно-просветительной организацией, вместе с тем считает своим кровным поприщем все человеческое пространство бывшего Советского Союза. Центр мыслится как средоточие исторических розысканий, документальное хранилище и общественное движение. В предмете нашей заботы и могилы павших, массовые захоронения. Сотрудничая с «Мемориалом», объединениями ветеранов Отечественной войны, узников гетто и нацистских лагерей смерти, мы надеемся внести свой вклад в поддержание достойных условий жизни для людей, чья юность была отмечена страданием и мужеством борьбы с фашизмом. Мы призываем литераторов, артистов, художников, всех деятелей культуры к соучастию в наших замыслах, направленных на приобщение к человечности.

Не следует скрывать, что мы нуждаемся в поддержке и с благодарностью ее примем. Надеемся, что, как ни трудны сейчас условия жизни у нас дома, изучение и осмысление Холокоста найдет законное место в современных духовных исканиях и строительстве новой России, принимающей и преодолевающей наследие предшествующих поколений.

Президент центра «Холокост» Михаил Гефтер

В дополнение к этому проекту еще несколько слов.

Когда Центр станет на ноги — надеюсь, это случится достаточно быстро, — у нас должна появиться постоянно работающая исследовательская часть. Ставя задачу собрать воедино имена и обстоятельства гибели людей, имена и обстоятельства спасения, подробности всех акций сопротивления (в рамках ли партизанского движения, организаций или отдельных лиц), мы не можем не обратиться к возможностям современной техники. Знаменитая фраза «Никто не забыт...» должна быть переведена на язык исследования, регистрации, обобщения и издания. Стало быть, не избежать поиска хотя бы небольшого штата организаторов и сотрудников.

Каковы возможные формы нашей работы на ближайшее время? Кроме тематических симпозиумов с участием широкого круга гуманитариев наших и зарубежных, — было бы уместно регулярно устраивать вечера памяти, приурочивая их к определенным событиям в гетто, лагерях, в движении Сопротивления, придавая им конкретный региональный характер и с приглашением оставшихся в живых людей из разных уголков России и СНГ, запечатлевая материалы таких вечеров-встреч на пленку — аудио и видео.

Я думаю также, что мы должны выйти на уровень осмысления общей проблемы геноцида, на тему захватывающего все пространство нашей Земли убийство. Мы не можем закрывать глаза и на то необычное и страшное, что происходит в мире вокруг. Нельзя успокаивать себя тем, что организации типа «Память» опираются лишь на корысть людскую, злобу или невежество... Мы должны отдать себе отчет в том, что на просторах страны, в которой мы родились и на которой, вероятно, завершатся наши дни, все больше тех, кого я полагаю справедливым назвать СУВЕРЕННЫЙ УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ. Посему, как ни ограничен наш состав, как ни скромны почин, мы обязаны широко ставить проблему геноцида, сотрудничая со всеми, кому тема эта близка, кого она тревожит и обязывает к действию.

Наконец, Центр наш должен стать российским не только по топографическим или формальным признакам. Его задача — превратиться в живой и работающий символ русско-еврейского доверия и сотрудничества.

Председателю Правительства Российской
Федерации В.С.Черномырдину
Министру культуры РФ Е.Ю.Сидорову

О первоочередных мерах, направленных на сохранение и развитие культурного и исторического наследия евреев России

Обращаемся к Вам от имени московской еврейской общественности — в уверенности, что тем самым выражаем чаяния и интересы евреев России. В настоящее время, когда многоликие субъекты Федерации превращаются в одну из коренных общественно-политических сил и своей совокупностью определяют завтрашний день России, трудно мириться с тем, что «безземельные» народы, проживающие рассеянно на нашем историческом пространстве, остаются вне должного внимания, а по существу, лишены голоса в решении общих и собственных проблем жизнеустройства.

По приближенным подсчетам, на нынешней территории России проживает около двух миллионов людей, являющихся по происхождению евреями, людей, которые считают себя евреями и в качестве таковых воспринимаются другими. В Москве это второе по численности «национальное меньшинство» (примерно 200 тысяч человек). На этом фоне существование отдельной Еврейской автономной области, затерянной в просторах Дальнего Востока, трудно назвать иначе, как политико-административным курьезом с явственным отпечатком сталинского «разделяй и властвуй».

Суть проблемы — в признании евреев неустранимой интегральной частью той России, что заново строится, принимая на себя высокое и скорбное наследие давнего и особенно ближнего к нам прошлого. Никто не может оспорить, что человеческие потери евреев несопоставимы ни с какими другими. Из шести миллионов жертв нацистского геноцида в Европе на долю Советского Союза приходится не менее двух миллионов (а с учетом уничтоженных военнопленных, расстрелов по т.наз. комиссарскому приказу существенно больше). Между тем трагедия, обозначенная в современном международном лексиконе древним эллинским словом «все-сожжение» (Голокауст, Холокост), трагедия, занявшая особое место в

духовном опыте XX века, прошла как бы по касательной в отечественном сознании. Почему так случилось — особая тема. «Государственный» антисемитизм сталинского толка — причина существенная, но не единственная. Тут проявились и некоторые общие свойства оказанной культуры с неотъемлемым от нее запретом на проблемы, дотягивающиеся до глубинных свойств человека и его тревожной подверженности насилию, ксенофобии, отторжению «чужого» во имя исключительности отгороженного «своего».

Сейчас положение меняется — в лучшую сторону, но не только. Рецидивы прошлого усугубляются неподготовленностью и массового сознания, и общественной мысли к скоротечному распаду СССР, к эйфории суверенности, к страстно зазвучавшим голосам разбухших этносов. Только в этом контексте можно понять и публичную проповедь расизма разного толка. Отпор ему — долг культуры. Однако одного лишь лобового сопротивления недостаточно. Слова протеста и осуждения должны быть дополнены здоровым движением навстречу проблемам, заброшенность которых все чаще эксплуатируется политическими авантюристами. Мысль, заявленная в программном документе Научно-просветительного центра «Холокост»: геноцид в любом случае направлен не против «кого-то», а всегда против всех, — выражает нашу совместную позицию и установку на развитие отношений доверия и сотрудничества между народами и людьми, в данном случае прежде всего между евреями и русскими.

Мы полагаем, что настало время разработать общественно-государственную программу такого сотрудничества. Она способна включить разносторонние действия в расчете на длительную перспективу. Но учитывая нынешние трудные обстоятельства, приходится ограничиваться чем-то начальным и доступным. Предлагаем поэтому следующие первоочередные меры:

- 1) Основание Российской Еврейской библиотеки, в состав которой должны войти разноязычные книги и рукописные материалы, освещающие историю и культуру евреев и в первую очередь их место, судьбы и роль в старой и новой России. Фонды библиотеки могут быть составлены из добровольных пожертвований библиотек России (вторые экземпляры книг и др.), частных лиц, зарубежных коллекций, библиотек и культурных фондов и при материальном содействии последних. Если нет возможности сразу предоставить возможность проектируемой библиотеке отдельное помещение (книгохранилище, отдел рукописей и редких изданий, читальный зал), то, быть может, для нее найдется место на территории и в составе одной из государственных публичных библиотек, например — Библиотеки

иностранной литературы им. Рудомино. Учитывая растущее число молодых людей, обучающихся в еврейских университетах и школах, можно не сомневаться, что читальный зал библиотеки не будет пустовать. Разумно было бы также иметь в стенах этой библиотеки хотя бы скромный по размерам зал для общедоступных лекций, просмотров кино- и диафильмов.

Еще одно дополнительное и немаловажное соображение. Создание Еврейской библиотеки, руководимой общественным советом, послужит препятствием для принимающего ныне все более широкие размеры перекочевывания или, если называть вещи своими именами, разворовывания за рубеж еврейских архивов и книжных коллекций. Только взяв все эти культурно-исторические ценности под совместный государственный и общественный контроль, можно сохранить их, но не замурованными, а приобщенными к живой жизни культуры. На этой почве, безусловно, получит развитие и спонсорская деятельность, что позволит свести затраты государства к минимуму.

2) Создание постоянно действующей выставки «Евреи России».

Речь идет, по сути, о мини-музее, способном дать представление о жизни евреев и их истории, а также об их вкладе в экономику, духовную жизнь, науку и культуру России в прошлом и настоящем. Наряду со стационарной экспозицией тут могли бы регулярно размещаться тематические выставки (архивных документов и фотографий, живописи и скульптуры, прикладного искусства), экспонаты которых будут представлять как государственные хранилища, так и частные коллекции. Нашлось бы, к примеру, место для выставки истории советских евреев, подготовленной Государственным архивом РФ, и в настоящее время заканчивающей свое пребывание в Иерусалиме.

Для реализации данной идеи необходимо помещение в одном из государственных музеев, располагающем достаточной площадью (минимум два-три зала). Разумеется, отдельное помещение в этом же музее должно быть предоставлено для хранения экспонатов и научной работы с ними. Нам представляется, что уместным было бы расположить проектируемую выставку в Музее декоративного и прикладного искусства.

Можно не сомневаться, что приток посетителей на выставку, не имеющую аналогов в СНГ, не только оправдает этот шаг в культурном и политическом смысле, включая расширяющиеся контакты с зарубежьем, но и будет способствовать популярности того музея, который предоставил ей достойное место.

Таким образом возникнут предпосылки и для организации научно-методического центра под эгидой Министерства культуры и Министерства просвещения России, равно как и под наблюдением еврейской общественности. Деятельность такого центра призвана серьезно продвинуть как процесс возрождения национальной культуры российских евреев, так и развитие их духовных связей с культурой других народов России.

Этот центр мог бы также готовить и передвижные выставки, спрос на которые велик не только в России, но (судя по имеющимся у нас предложениям) и за рубежом.

3) Мы считаем также необходимым вновь поставить давно назревший вопрос об увековечении памяти наших соотечественников, умерщвленных нацистами только потому, что они родились евреями. Это в равной мере призыв воздать должное людям других национальностей, рискнувшим жизнью ради спасения евреев в годы Отечественной войны.

Было бы трудно понять, почему новая, демократически устремленная Россия не сделала до сих пор того, что осуществили в различных формах европейские страны и Соединенные Штаты (где совсем недавно президент Клинтон открыл национальный музей «Холокоста»).

По этому вопросу выдвигались разные идеи, которые предстоит рассмотреть и оценить. Целесообразно создать для этого Общественный совет под председательством Министра культуры с участием видных деятелей науки и культуры, обязав его не позднее конца 1993 года внести соответствующие предложения на рассмотрение правительства и президента РФ.

Мы надеемся также, что Министерство культуры выполнит обещания содействовать нормальному функционированию Научно-просветительного центра «Холокост», возникшего в 1991 г., но до сих пор не имеющего помещения, в том числе для показа своих выставок, хранения документов и свидетельств очевидцев.

Председатель Комитета еврейской общественности Москвы
Т. Голенпольский

Президент Научно-просветительного центра «Холокост»
М. Гефтер

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО НА ВЕЧЕРЕ ПАМЯТИ ЕВРЕЕВ-ЖЕРТВ НАЦИЗМА

Уважаемые соотечественники!

Уважаемые коллеги и друзья, прибывшие из стран, которые вместе с Россией образуют Содружество независимых государств!

Уважаемые иностранные гости!

Мы не первый год отмечаем этот день здесь, в Москве. Однако, думаю, не ошибусь, сказав, что в нынешнем 1994-м, Шестое апреля является не только не менее знаменательным, чем десятилетия и годы назад, но оно выросло в своем трагическом и вразумляющем значении.

Нас собрала в этом зале Память.

Не просто событийный свиток. Не только нескончаемый мартиролог. А живая память. Живая, хотя она говорит больше голосами мертвых, чем выживших.

Память — она же совесть, угрызающая человека. Угрызающая и побуждающая нас сосредоточиться на кровной проблеме. Ее можно назвать проблемой выживания и проблемой согласия — выживания посредством согласия. И проблемой равноправия в различиях, неискоренимость коих не только исток розни, опасной Земле людей, но не исключено, что и последний ресурс развития, вбирающий в себя все помыслы и все возможности — как сотворенные веком Двадцатым, так и идущие от предков. Совместны ли те и другие? Нет готового ответа, и сам вопрос в движении.

Нас собрали в этом зале тревога и надежда.

Тревога, которая, имея конкретные адреса, множащиеся «горячие точки» в возрастающей степени планетарна. В каждом случае! А надежда? Она тоже не имеет отдельной прописки. Она преодолевает расстояния в верстах и в людях. Она, надежда, отклоняет и всякую дискриминацию, и любой мессианизм, обязывая нас превозмочь даже справедливое, даже самое оправданное избранничество в страдании, поскольку и это, отчуждая человека от человека, народ от народа, способно длить кровь, множить трупы.

Нас собрали в этом зале горечь и гордость.

Не врозь они, а вместе. Оборачиваясь назад, мы отказываем

себе в праве забыть, что уничтожение евреев, всех до последнего, — цель, которую поставил себе маньяк, поощренный запоздалым отпором, была не частным злодеянием в ряду схожих с ним. Это был также ВЫЗОВ. Это была чудовищная своей низостью и вместе с тем умелая в исполнении попытка дать выход социальному отчаянью людей в одночасье превращенных из париев прогресса во властителей над телами и душами ИНЫХ, НЕ-СВОИХ. Это было покушением не только на жизнь, но и на смерть, которой испокон века человек открывал вновь и вновь самое Жизнь.

И что же он, обреченный на погубление человек? Он пал ниц? Нет, в конечном счете воспрял. Распластанный, униженный, отъятый от других, покорно ждущий своей очереди в нацистские крематории для живых, он нашел в себе остаточную силу, чтобы распрямиться. Ответил на вызов убийства превосходящим вызовом жизни и в смерти. Он заново обрел в себе, еврее, ГРАЖДАНИНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ВСЕЛЕННОЙ. Вновь и навсегда!

Так было во многих местечках и городах, в гетто и лагерях, рассеянных по земле Белоруссии, Украины, России, а также за нашим кордоном — в Польше, в других странах Европы.

Пока не поздно, мы призваны собрать все свидетельства немислимых страданий, все факты, обобщаемые великим словом Соппротивление. Не упустив ни одного погибшего, не забыв ни одного спасителя!

Апрель — месяц легендарного восстания в варшавском гетто. Мы счастливы, что сегодня с нами один из его уцелевших руководителей, один из лидеров молодежной организации Бунда, составившей боевое ядро восставших тогда, наш дорогой гость Марек Эделман.

Основывая в Москве Научно-просветительский центр «Холокост», мы отдавали себе отчет, что память о гибели и возрождении евреев нужна не только их потомкам. Она необходима России, которая вновь. России, ищущей себя, оглядываясь назад, дабы распознать, что ее ждет. России, какая немислима вне Мира, как и Мир, силящийся поставить предел человекоуничтожению, невозможен без новой России.

От имени моих товарищей, работающих в центре «Холокост», я крепко жму всем вам руки.

(Московский Дом ученых, 6 апреля 1994 года)

Наметки к вводному слову 6 апреля 1994

1. Память — совесть (Швейцер).

Коллизия забвения и воспоминания. Ныне она тревожно острее, чем даже в 45-м.

2. Сегодня заново отдаем себе отчет в планетарности трагедии, которая собрала нас в этом зале.

Что происходит с людьми, когда какой-либо народ мнит себя воплощенным в одном человеке, коему обстоятельства позволяют бред отождествления с Миром превратить в убийство, не пресекаемое ничем, кроме силы.

3. Трагедия избранности, не исключая и избранности в страдании. Всякая избранность, как бы ни была она подтверждена страшными обстоятельствами, и справедлива — все равно отчуждает народ от народа, человека от человека, континент от континента.

4. Великий и тяжкий урок опаздывающего Сопротивления. На этом строилась история и двигалась вперед. XX век подвел черту. Сопротивление должно быть своевременным и даже — ОПЕРЕЖАЮЩИМ: не только мыслью, хотя скорее всего — ею, но и действием. Особенным действием, имя которому — компромисс. Не сделка и даже не просто соглашение, а УСТУПЧИВОЕ ВЗАИМОДВИЖЕНИЕ навстречу друг другу во имя чего-то третьего, что по сути выше каждой из позиций, любого из притязаний. ВО ИМЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ РАВНОРАЗНЫХ!!!

5. Достаточно ли сегодня усвершенствуемой комбинации из смиренной рубахи и челночной дипломатии? Никакой иронии! Лучшего пока нет. Доказательства — 93-й, 94-й, ЮАР, Израиль, Сараево.

Лучше этого нет, но самого этого не только недостаточно. Мир после крови и трупов и оскорбителен для людей, и опасен для вида Гомо.

6. День поминовения павших — день скорби и день гордости за Человека. Распластанный, затоптанный, униженный, казалось бы, с отнятой уже душой, смиренно ждущий своей очереди в нацистские крематории для живых, человек нашел в себе остаточную силу распрямиться и легендарным восстанием в Варшавском гетто напомнил людям, что нет ничего важнее для них, чем сохранить КАЖДОГО человека.

7. Девиз нашего Центра — геноцид не бывает против кого-то, геноцид всегда против всех.

Спасти же нельзя в одиночку. Только солидарностью разных. Риск доверия — вход в XXI век.

Международный симпозиум
«Уроки Холокоста и современная Россия»

Круглый стол «Россия и мир конца XX века сквозь призму
Холокоста»

7-8 апреля 1994 года

НАМЕТКИ К ВОПРОСАМ

Предмет обсуждения — трагедия, ставшая историей и духовным опытом людей. Всех? Открытый вопрос. К нам до сих пор опыт этот не пришел, если держаться строгого определения понятия «ОПЫТ», то есть того, что, войдя в сознание, живет в нем самостоятельной жизнью, сочетаясь так или иначе с другими опытами и переходя на уровень поведения и поступка.

Вовсе не лишнее рассмотреть причины, в силу которых гибель свыше двух миллионов евреев на территории бывшего Советского Союза оказалась вне пределов общественной памяти. Единственная ли причина — государственный антисемитизм и его инерция после Сталина?

Вопрос к диспуту: место данной трагедии в ряду других, сочетаемых; избыточность трагического, выталкивающая трагедии. И еще одна причина — внешний характер избывания прошлого в Оттепель и после. В связи с этим — зачаточность и стареческость отечественного демократизма. В этом же ряду — сопоставление нашего недо-опыта с переживанием Холокоста за кордоном. Единственная ли форма его — переживания — там? (Германия, Франция, Голландия, Италия, Соединенные Штаты и др. Особо — Израиль).

Не упустить критики разного происхождения, включая проблему так называемого ревизионизма в разных ее ипостасях. Миры, мимо которых прошел Холокост: Азия? Африка? Латинская Америка? Холокост и арабский мир.

Специальная тема, входящая в ядро дискуссии: христианство и Холокост. Глобальное состояние проблемы на сегодняшний день.

Посмотрим проблеме в глаза. Не является ли она в 94-м году для распавшегося Советского Союза чисто исторической, локальной и лишенной злободневности, если ее ставить отдельно от нынешних

бедствий, умственных тупиков и человеческих катастроф. С другой стороны — достигнем ли мы существенного результата, когда поставим Холокост в общий ряд геноцида? Иначе говоря: если Холокост для людей, вступающих в XXI век, не исключителен, то можно ли его назвать заурядным во всечеловеческом смысле? Таким образом мы входим в тему Холокоста как трагедии человечества («Германия — это Гитлер, Гитлер — это мир». Геббельс). Страшный парадокс нашего века — реализуемость цели, которой одержим один человек. Тайное народовбийство. Гитлер и Сталин. Возможно ли духовное превозмогание Холокоста вне проблемы «человек и власть». Нынешняя ситуация в России под данным углом зрения. Ожидает ли нас фашизм? Из каких источников произрастает он и каковы его шансы на овладение человеческим пространством Евразии?

«Русский еврейский вопрос» — двуединство в конфликте и сопереживании. Русская интеллигенция и комплекс юдо-опасности. Мнимость, переходящая в реальность. Еврейский ответ: Россия как диаспора или Россия-отечество.

Культурные и психологические аспекты, прямо относящиеся к предмету или косвенные, которые, вероятно, более существенны. Человек как убийца. Низменное преодоление тормозной доминанты. Фашизм как вызов не только жизни, но и самой смерти. Общность нацизма и наш отечественный вариант привыкания к террору. Последнее по времени SOS: трупы октября 93-го.

Русское культурное наследие как заслон на пути фашизму (не только Пушкин, но и Достоевский, Толстой и Чехов, не только Горький, но и Пастернак...)

Возможность вклада симпозиума в нео-этнос гражданского мира.

Состав участников. Философы, историки, культурологи, лингвисты, журналисты, психологи, медики, представители СМИ, политические деятели разных направлений, узники лагерей и гетто, представители национальных движений и общин — России и СНГ (татары, армяне, чеченцы), представители разных конфессий и теологи, юристы.

ВОПРОСЫ К ДИСКУССИИ

1. Предмет размышлений — трагедия, вошедшая в сознание, живущая в нем самостоятельной жизнью и обращенная к современникам не только предупреждением, но и сомнением. Сомнение касается природы человека, шансов его на выживание.

Зададимся вопросом: является ли убийство, не знающее предела, спасительным опытом?

2. Не уйти от ответа: почему гибель свыше двух миллионов евреев на оккупированной территории СССР оказалась вне действительной памяти? Единственная ли причина — державный антисемитизм при Сталине и по инерции — после него? Не глубже ли и не всеобщнее ли корни забывания? Что разъясняет нам в этой связи духовный процесс за кордоном?

Долговечен ли тот опыт?

Происхождение «ревизионизма» и его ипостаси;

Миры, мимо которых «прошел» Холокост;

Соотношение его с коллизиями «холодной войны» и выхода из нее;

Геноцид как планетарная проблема.

3. Страшный парадокс нашего века: реализуемость человекоуничтожения — в качестве цели, которой одержим один человек, способный сделать жертвами миллионы, — при сочувствии, оцепенелости и запоздалом прозрении еще больших миллионов.

Проблема упреждающего отпора — эстафета XX века XXI-му. Демократия как препятствие геноциду — достаточное ли? Иные ресурсы сопротивления, которое способны оказать человекоубийству культура и жизнеустройство разных цивилизаций Земли.

4. Вновь — о фашизме. Уместно ли видеть в нем вызов (тогда и сейчас)? Повторим ли — и в тех ли же формах?

Возможен ли неофашизм вне расистского контекста?

Антифашистская ностальгия — на пользу или это заслон нынешним проблемам? Ситуация 1990-х в России и в Мире под этим углом зрения.

5. Ушло ли тайное народоубийство? Нынешняя открытость его — атавизм или последняя конвульсия?

Этнос и умерщвление человеком человека: первозданная связь в обновляемом и преодолеваемом виде. Интеллектуальные тягбы на этой почве и их роль в возврате человека на круги своя. Опять же — Россия в современном «горячечном» Мире — не прообраз ли глобальной равновесности обрыва и возрождения?

6. Русский еврейский вопрос — в чем он все-таки? Сегодня — в чем? Мнимый или действительный и в мнимости? Обособленный — либо скол с межчеловеческих отношений, унаследованных от прошлого и заостренных коллизиями тоталитаризма и десталинизации? Отчуждение и сопереживание — чему взять верх? Русская интеллигенция и комплекс «юдо-опасности». Еврейский ответ (точнее — ответы): Россия как диаспора и Россия как Отечество.

7. Культурные и психологические аспекты, прямо относящиеся к предмету, и косвенные, не менее существенные.

Обуздание насилия и жестокости — реально ли в обозримой перспективе? Из последних во времени и самых тревожных SOS — Москва октября 93-го.

Возможность вклада данного симпозиума в Россию гражданского мира.

Вступительное слово при начале работы круглого стола «Россия и мир конца XX века сквозь призму Холокоста»

Россия и Мир — просматриваются ли они сквозь призму Холокоста? Не узка ли призма? Не искажает ли?

Я предлагаю подумать о сочетании названных трех величин, об их сочетаемости, совместимости, взаимовхождении, поразмыслить над их внутренним диалогом, как и взаимным оспориванием.

За плечами — гибели миллионов. Но ход истории разубеждает меня в том, что есть с уд истории. Ежели и существует, то истцы на нем и обвиняемые чаще всего — в одном лице. На суде бывает презумпция невиновности. Для нашего дела важна еще презумпция непонимания. Людям свойственно не понимать друг друга. Это опасно, это скорбно, но, вероятно, неотъемлемо от человека. И вывод отсюда только один: понимания вам никто не обеспечит. Оно — работа, понимание — это преодоление чего-то существенного в нас самих.

У трагедии, которая явственно и незримо перед нами — разные наименования. Немцы нацистского времени — те, кто вершили, и те, кто исполняли, называли свое деяние двумя страшными словами — «окончательное решение». Они думали об окончательном решении еврейского вопроса, они сделали заявку на то, чтобы люди Земли привыкли и подчинились нраву и диктату окончательных решений. Уже это одно в той трагедии планетарно.

Есть другое название той же трагедии — Шоа (Катастрофа), принятое в молодом государстве, образовавшемся на древней земле, в Израиле.

Есть и общечеловеческое — ГЕНОЦИД.

И еще одно — специфическое, вошедшее в обиход значительной части мира — Голокауст (Холокост). Слово эллинское, означающее ВСЕСОЖЖЕНИЕ — до конца, до последней крупницы тела и души, до последней частички жизни.

Каждое из этих названий — грань того целого, чему трудно дать название. С внешними и внутренними сложными сцепками. Внешнее — геноцид, внешнее — тайное народовубийство — одна из характерных примет XX века. А внутренние скрепы, которые мы не можем не ощутить? Не можем обойти как историки, не смеем не опознать как современники, люди России, Украины, Белоруссии и Мира вообще. Это глубинное — неготовность человека к чудовищному. Когда молодежная организация в Варшавском гетто впервые выявила, что эшелоны уходят груженными людьми, а возвращаются пустыми, этой вести никто не поверил в самом гетто. Понятно: самосохранность. Но тайная радиостанция передавала шифровку за шифровкой в Лондон. Не верили в самое страшное ни в Великобритании, ни в Вашингтоне. Я уже не говорю о тех местах, где вовсе царило безразличие.

Проблема стучится во все двери по сей день — неготовность к ужасному. Человек отторгает его от себя. Я не о конкретной неподготовленности. Я — о той проблеме, какая тяжестью своей отодвигает ныне другие: об УПРЕЖДАЮЩЕМ ОТПОРЕ. Даже не о своевременном сопротивлении, а о таком, которое в силах упреждать зло. Как подготовить себя к нему? Какие мыслительные механизмы, какие действия, являемые в поступках, должны и могут способствовать этому?

В истории всегда была дистанция: люди, если что исправляли, то лишь задним числом. Это одно из преимуществ истории и один из тяжелых ее недугов. Мне кажется, что дистанция катастрофически сократилась, ежели вовсе не свелась к нулю. Быть может, это означает, что мы вышли уже из истории, а может, — что упреждающее сопротивление выводит нас за ее пределы и требует иного состояния всей людской жизни, фундаментальных перемен в человеческом существовании?..

Великое и высокое сопротивление уничтожению евреев было тем не менее повсюду ЗАПАЗДЫВАЮЩИМ. Даже в Варшавском гетто восстание началось тогда лишь, когда осталась малая толика обитавших там, — остальных успели уничтожить. Когда мы все это имеем в виду, то выходим на проблему сути ф а ш и з м а. К нему отношение разное: кто-то полагает, что обратиться к кому-то слово «фашист» вслух, заклеить-обругать — значит исчерпать тему. Думаю, это очень опасный самообман. Фашизм — проблема вовсе не одного лишь

дня вчерашнего, но не менее — дня сегодняшнего. В какой, скажите, стране — нет фашистов? Но достаточно ли этого, чтобы укоренился фашизм? При каких условиях фашисты становятся силой столь доминирующей, навязывающей себя и находящей поддержку сочувствием и страхом, что она способна внести опустошающие перемены в нашу жизнь?

Это жуткая проблема для Мира и для России, вопрос, впрямь требующий напряженной работы мысли.

Из заключительного слова при закрытии симпозиума

...Когда создавался центр «Холокост» и нами было выработано заявление о намерениях, как первый документ, — в нем центральное место занимала формула «геноцид никогда не бывает направлен против кого-то в отдельности, он всегда направлен против всех». Мы считаем понимание и признание этого принципиально важным, даже если оставаться только в строгих рамках самого Холокоста. Потому что его понимание растет, впитывая в себя новые страдания и новые тяжкие опыты. Опыты обращают к тому, что было пережито тогда и открывают в нем новые стороны. Проблема недостаточного сопротивления, которую мы сейчас так остро на этом симпозиуме ставили по отношению к Холокосту, — она ведь подсказана днем нынешним, теми событиями, которые раздирают сегодня Мир и не находят себе достаточного еще разрешения. Поэтому наша работа в утверждении и углублении важного для нас принципа должна иметь более конкретные формы.

...Еще один существенный момент. Проблема Холокоста — эволюционная. И отношение к ней предполагает, видимо, движение от всплесков собственно эмоциональных к более взвешенным. Мы старались и на круглом столе быть объективными.

Что это означает в нашем случае? Взвешенность и ответственность. Мы исходим из понимания одной горькой истины. Она в том,

что если со злом чудовищным, которое обозначает себя свастикой и произносит соответствующие слова, если с этим злом бороться только преследованием, то само преследование может включиться в зло.

Это очень серьезный вопрос, очень трудный и очень горький. Здесь место размышлениям, полемике. Счастлив, что нам удалось добиться этого. Немало людей, придерживаются иного взгляда на трагедию еврейского народа, чем многие из присутствующих в этом зале, но важно, чтобы они оставались ответственными — не звали к насилию и не таили свинчатку в кармане. Мы хотим с ними разговаривать. Есть люди другого крайнего свойства, которые говорят, что здесь не с кем что-либо обсуждать, что мы просто задержались с отъездом. Наши средства массовой информации (я имею в виду прежде всего телевидение) не умеют организовать диалог несопадающих точек зрения для того, чтобы предотвратить столкновения крайних позиций через кровь и насилие.

Мы за то, чтобы был и длился диалог несопадающих позиций. Это одна из краеугольных наших тем, и мы внесем в это дело свой вклад. Я благодарен участникам нынешнего симпозиума за то, что они уже это сделали. Позвольте мне вам сказать без лести — вы были на высоте положения.

ЗАЯВЛЕНИЕ ИНИЦИАТОРОВ И УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО СИМПОЗИУМА «УРОКИ ХОЛОКОСТА И СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ»

Мы собрались вместе, движимые стремлением к взаимному пониманию, которое, будучи в любом случае условием прогресса в делах человеческих, является неперенным, когда речь идет о предотвращении опасностей, подстерегающих ныне всех на Земле.

Прошлое перетекает в современность, напоминая о невосполнимых утратах. Никто не вправе изъять из памяти одно из страшнейших злодеяний XX века — предпринятую нацизмом попытку истре-

бить евреев, не оставив в живых ни одного. Не забыть ни преступников, ни их пособников — прямых и невольных. Нельзя ограничиваться лишь регистрацией разрозненных фактов, касаются ли они слабодушие одних, эгоизма и своекорыстия других, включая сделки, выдававшиеся за спасительный компромисс, а также высокомерное равнодушие к страданиям и бедам, которое бросало неискушенного человека в объятия демагогов и жрецов насилия.

Спустя полвека не только не устарел, но приобрел еще большую остроту вопрос: что же соединило воедино частные поводы и причины, сделав ОСУЩЕСТВИМЫМ НЕВОЗМОЖНОЕ?

Запоздалый отпор народоубийству тревожит совесть. Мы не забываем подвигів Сопротивления, благородного мужества людей, выручавших евреев, как и других жертв тирании. Мы высоко ценим освободительные усилия антигитлеровской коалиции.

Однако в конце XX века, в Мире, где множатся «горячие точки», где войны родословных уносят ежедневно сотни и сотни жизней, уже нетерпимо ограничиваться хрупкими перемириями, каждому из которых предшествует кровь и трупы.

Мы убеждены: назрел более решительный шаг, чем усовершенствованная смирительная рубашка в паре с челночной дипломатией. Шаг, требующий усилий всех политических структур, стоящих на позициях «Всеобщей декларации прав человека», всех неформальных общественных движений планеты.

Таким шагом, на наш взгляд, призвано стать МЕЖДУНАРОДНОЕ СОГЛАСИЕ О ПУТЯХ И СПОСОБАХ НЕНАСИЛЬСТВЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ, в том числе тех, в основе которых лежат действительные и даже неустранимые расхождения интересов, несоответствия в помыслах и верованиях, обоснованные обиды и многовековые традиции.

Мы отдаем себе отчет в том, что фашизм и антисемитизм — единоутробные детища, невзирая на различия в их историческом стаже. Мы едины во мнении, что искоренение расистского зла нуждается в запрете и в законной каре. Вместе с тем мы признаем, что нельзя ограничиться только этим. Голая репрессия производит реваншистов и подстрекает к безрассудной ненависти. Поэтому столь важны систематическое и целенаправленное просвещение, квалифицированные усилия во всех сферах культуры, дабы помочь любому человеку провозмочь в себе инстинкт неприятия и отторжения несхожих с ним.

Со своей стороны мы готовы сделать все, от нас зависящее, чтобы содействовать СОГЛАСИЮ РАЗНЫХ. За круглым столом нашего симпозиума совместно работали и дружно спорили ученые-гуманис-ты, педагоги и психологи, политологи и журналисты, вчерашние диссиденты и сегодняшние правозащитники, люди, прибывшие из разных концов России, коллеги и друзья с Украины, из Белоруссии, Молдовы, Литвы и Латвии, а вместе с нами гости из Израиля, Польши, Германии, Соединенных Штатов Америки. Мы охотно поделимся результатами дискуссий и уже имеющимися наработками, которые относятся как к самым общим проблемам философско-го свойства, так и к историко-документальным розысканиям, методикам образования и воспитания.

Пришло время, чтобы соединить усилия отдельных центров, инициативных групп и одиночек-энтузиастов и разработать программу согласованных и последовательно осуществляемых действий. В их число входят:

- поиски мест гибели жертв геноцида и установление там памятных сооружений и знаков, обращенных к нынешним и следующим поколениям;
- забота о выживших узниках гетто и концлагерей, обеспечение им достойной старости;
- розыски спасителей-праведников мира, опубликование их имен и деяний, забота о них в их нынешней жизни;
- создание музеев Холокоста в Москве, а также в других крупнейших центрах России и СНГ;
- скоординированная исследовательская и издательская деятельность, поддерживаемая ресурсами государств и добровольными пожертвованиями; создание подробной истории Холокоста, а также «Библиотеки Холокоста» с включением в нее важнейших публикаций, осуществленных в Мире;
- активное использование аудио- и видеосредств, достигающих массового зрителя и слушателя;
- издание учебных пособий и методических руководств, ориентированных на разные уровни ознакомления с историей Холокоста и постижения его уроков в контексте духовного опыта всех народов, вплотную столкнувшихся с геноцидом, как и движения современной мысли, ищущей выход из ситуации планетарного раздора.

Мы признательны Президенту России, Министерству культуры РФ, Министерству РФ по делам национальной и региональной политики, Правительству Москвы и всем другим организациям, отечественным и зарубежным, а также отдельным лицам, поддержавшим российский Научно-просветительный центр «Холокост» в устройстве этого международного симпозиума.

И в дальнейшем мы ждем понимания и помощи от всех людей доброй воли.

Президент Российского центра «Холокост»

Михаил Гефтер

Тезисы для Хартии европейских принципов

1. Ответственное мышление не вправе уклоняться от мрачного, но достаточно реалистического предположения: человек Земли способен к тотальному сомоуничтожению. Способен еще не означает — готов. Но близок.

2. Пессимизм противостоит не оптимистическому взгляду, а самодовольству, являющему свои отвратительные образы на всех поприщах, начиная с политики и не минуя культуры. Лишь в диалоге (от авто-диалога до полидиалога) может быть сформулирована, хотя бы в наброске, ГИПОТЕЗА НЕИСКЛЮЧЕННОГО СПАСЕНИЯ.

3. Ядерный запал в союзе с амнезией. Вытесняемое, истребляемое, извращаемое прошлое — не просто утрата. Это выдача человека на съедение атавизмам и фобиям современного толка. Это обессиливание его перед лицом внезапного и неотменяемого возврата к первозданности как проблеме. Может ли быть более тревожное подтверждение этому, чем СУВЕРЕННЫЙ УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ — детище конца XX века?!

4. Для российской Евразии планетарная ситуация — ею еще не осознанное требование САМОНАХОЖДЕНИЯ В МИРЕ: у себя дома и вне. Не с нуля, но с Начала — легко ли это признать, переводя на внятный язык повседневности? Между тем именно Россия, по моему убеждению, — неявная фокусная «точка» перехода людей от попыток осуществиться в человечестве (как единстве вариантов прогресса!) МИРУ МИРОВ, каждый из которых себедостаточен и вместе с тем альтернативно показан и кровен всем.

28 мая 1994

Contents

Elena Vysochina. A Voice From Enforced Silence.....5

1. CATASTROPHE

Tragedy and Experience18
The Holocaust World of the Twentieth Century24
End of Man or End Within Man?38
The Stalin Version of the Final Solution47
The Black Book — 50 Years Later.....56

2. MAN FOR MAN, MAN AGAINST MAN

1991 Meets 1941.....66
Auschwitz — The First Appearance of United Europe97
Life Prolonged in Memory104

3. THE RUSSIAN-JEWISH EQUATION

Not Personal, but Vital109
Russian Classics and Us132
Der Alter Jude175
Anti-Semitism: A Phobia or a Glimpse from the Lower Depths of
the Spirit?186
Russia Before The End of Century: My Vision198

4. ARE WE AND THE WORLD ENDANGERED BY RUSSIAN FASCISM?

The Zhirinovsky Paradox.....204
Yesterday, which is Tomorrow?.....218
Russia Tomorrow: Embodiment of a World Which has Equal
Chances to Be or Not to Be.....227

5. A RESONATING ECHO

Mea culpa.....238
Epilogue: A Civil Resistance Code.....252

MIKHAIL GEFTER AND THE HOLOCAUST CENTRE.....261

A Summary286

A SUMMARY

Mikhail Gefter wrote a number of works on the history of the 19th and 20th century Russia and offered original insights into world history and Russian history as its integral part. His name is credited in the ten-volume «World History» (1953-1965) as one of its conceptualisers and co-editors. He organised and directed the History Methodology department at the History Institute of the USSR Academy of Sciences (1964-1969), the first of its kind in the country. It was disbanded in 1976 at the insistence of the Communist Party bosses controlling academic research. In protest, he quit the Institute and retired on pension. During this period he became well known as a banned author, political dissident, human rights advocate and co-editor of the underground magazine «Poiski».

Gefter reappeared in the official press in 1987. In his lifetime, a few selected articles and essays were published by the Progress Publishers in 1991 in book form, titled «From Those and These Years». From 1991 up to his death in February 1995 he was the President of the Russian Holocaust Scientific Educational Centre.

Gefter has left behind him 40 bulky manuscripts. «The Holocaust: A Resonance» is a work on which he was engaged during his last years but it remained unfinished. The issue was prepared for publication by Elena Vysochina who assisted the author for some years.

In his book Gefter reflects on the sources and motives of longing for mutual annihilation that has swept the 20th-century world as an unprecedentedly powerful wave pushing mankind towards global suicide. Stemming from the assertion that man, accepting the natural law of mutual guaranteed extermination, stands on the brink of an abyss, the historian investigates the causes of xenophobia and misanthropy in the context of European and world culture. Assuming that

Holocaust is the quintessential tragedy of the century, Gefter poses the following questions:

- what nadir of the human soul was laid bare by the Holocaust;
- who personally masterminded and executed punitive operations over particular nations and ethnic groups;
- whether Hitler and Stalin are co-authors or co-plagiarists;
- why the study of the sources of the most extensive unmotivated murder remains inexhaustible and why it is worth thinking about Holocaust as the triple unity of SACRIFICIAL DEATH, RESISTANCE and RESCUE;
- what forms, manifestations, strengths and weaknesses the components of this triple unity can display;
- about differentiation between murder, sacrificial and natural death in the 20th century; whether the Nazis corrupted natural Death into murder;
- about the stages and forms of Resistance; unpreparedness for it and preventive rebuff given to imminent universal annihilation; Rescue and Rescuers, the role of the Righteous in the world in this century;
- what the resonance of the Holocaust means for Russia and other hot spots on the earth;
- what is the special character of Russian anti-semitism – its historical forms – before October 1917 and during the Soviet period;
- what are the peculiarities of anti-semitism in everyday life, by the state and among the intelligentsia;
- what likely alternatives are there to the current humanity-destroying set-up in which there is a place for genocide and orgies of murder.

These are the main problems discussed in this volume by a man with a tragic sense of his own life. He contemplates them from the standpoint of the survival of the Homo sapiens, citing contextual examples of particular events and individual fates. This book is the first attempt in Russia and the former Soviet Union to look at the problem from such a viewpoint and simultaneously raise a number of fundamental issues.

Under discussion is the character of genocide and its slightest possible repercussions in Russia and beyond its confines today. One cannot ignore the author's personal reasons for taking up the theme of the Holocaust: his mother and brother were killed by the Nazis in occupied Simferopol and most of his close friends and Moscow University fellow students who graduated in 1941 perished on battle-

fields. Decorated with the Soldier's Glory Order and an array of medals, Gefter himself was wounded twice and suffered from the consequences of a shell-shock all his life.

Professionally engaged in studying the genesis of history, Gefter contemplates the distant past when differentiation between «ours» and «aliens» first began, when the demand rose to compensate in advance one's own possible end by killing an «alien». The book discusses the vector of orgiastic killings and attempts to curb them throughout history.

The Holocaust resonates in the book in shaded tones of Gefter's response to incidents of genocide both in Hitler's «Edlösung» (Final Solution) and its Stalinist version with the deportation of «guilty» peoples, the post-war campaign against «rootless Cosmopolitans», the extermination of the members of the Jewish anti-Fascist Committee and the «Doctors' Plot», the case which was stopped only due to the death of Generalissimo Stalin, who called himself «Father of the Nations».

Part One, «Catastrophe», includes reflections on the Holocaust in our world and the Holocaust world, on the nature of the «final solutions» in the 20th century, on the most frightful experience of man's self-cognition, on what caused the SS-man genotype phenomenon.

The chapter «End of Man or an End Within Man?» is a key to Gefter's train of thought. Escapism is an ally of the credible lie as well as the simplifying of human experience, including even the most hideous knowledge of oneself. History cannot be cleaned of inescapable instances of human degradation, loss of the self and enormous difficulties in the path of renewal. «The Holocaust is a part of this experience, and our times are revealing the hidden universality in its exceptionality. This is why one has to collect all the smallest details of individual human fate, sounds of a human voice still retained in memory, hope in hopelessness and undying emotions on the brink of excruciating death».

One should not concentrate on the moments of the death or the day of rescue. The Holocaust logic calls for overcoming the 1945 limit, whether it concerns global clashes or torments of an individual life. The author proves his thesis with the life story of a BUND leader, Marek Edelman, who was among the instigators of the uprising in the Warsaw ghetto. The history of this young man leads the author to contemplate the nature of tragedy this century, the dubiousness of cleansing through catharsis according to the ancient mode. The idea of participation of the dead in the acts of the living is incontestible for the author.

The part of the book concludes with musings on the domestic variant of the Final Solution: reprisals against the Jewish Antifascist Committee members (according to recent archival discoveries) and the role of the Doctor's Plot in the Stalinist anti-Semitic campaign.

The second part of the book hinges on the World War Two, or more exactly, its echo in the hearts and minds of people. Author's personal recollections, as a young man in his graduation year as the war struck, are blended with philosophical reflections on the causes of the war on its eve, on Hitler and Stalin as the co-architects of the war, on the rise of resistance to Stalin's totalitarianism among the masses, on a special type of resistance — by death, when a man fighting on a battlefield was suddenly aware of becoming master of his fate and could, maybe for the first time, make his own choice...

In the next chapter, «Auschwitz, the First Appearance of a United Europe», Gefter points to the signs of an amorphous Auschwitz spreading all over the globe today, and offers a salvation hypothesis. It is, of course, valid only if the odious lessons of extermination camps that united all Europeans as equals in death has been learnt.

The section ends with a lyrical digression about the continuity of life in memory: »Some very important things are buried with the dead. They are the only bearers of the arrested moments of a battle woven from a fantastic array of fragmentary and unknown fights. They also keep the main secret of those years — man's moral struggle against himself, the invisible decision he makes about his own fate when choosing between life and death«.

«The Russian-Jewish Question», opens with a diary note expounding on the inception of the Jewish question in Russia in the 1860-s. The author views it as an important aspect of the Russian question, for it is still to be clarified: what the motley army of Russians and Russianness is.

«The Russian Classics and Us» is a reminiscence about the 70's which were swept by the fierce debates on how to interpret and adapt to the stage Russian classics and whether the latter were accessible to the non-Russians (implying Jews).

«Der Alter Jude» is an unpublished interview by the historian given to the newspaper *Moskovskii Komsomolets*. From questions about Gefter's childhood, loyalty to the socialist set-up and the fate of his generation, the correspondent proceeds to inquiries into the sentiments of the present day Jews in Russia. This provokes Gefter to lay down one of his main concepts of Russia as a country composed of different countries, of Russian and world anti-Semitism, of «hot» spots (Nagorny

Karabakh, Yugoslavia, Ireland) as a projection of the Jewish question.

«Are We and the World Endangered by Russian fascism?» includes a dialogue between the historian and the compiler of this volume on the Zhirinovsky phenomenon, the common features and differences between Germany of Hitler's coming and present-day Russia, on the sources of Russian and any other fascism and prerequisites of its appearance in different countries, on the danger that in Russia «the fascists may bring about fascism earlier than the democrats come together in a democracy». This warning is followed by Gefter's address «Yesterday Which Is Tomorrow», to an audience in the Talia theatre (Hamburg, January 30, 1993) during an anti-fascist manifestation on the occasion of the 60th anniversary of Hitler's advent to power. The experience of resistance to Nazism and the weakness of European anti-fascism on the eve of World War II, the problem of anticipated resistance in the past and contemporary world are the basic themes of the author.

The prospects and obstacles to Russia's entry a civilised society in its capacity as a World within world and its own development as a country of contries, are discussed in «Russia Tomorrow: Embodiment of a World Which has Equal Chances to Be or Not to Be».

«A Resonating Echo» includes extracts from Gefter's most ample comments on ethnic clashes over the period from August 1987 down to the recent events in Chechnya: the condition of the Tatars deported from Crimea in 1944 and repatriation difficulties of their posterity; tragedies of Sumgait, Vilnius, Transcaucasia, Checheno-Ingushetia, Tbilisi and Baku. Also discussed are the phenomena of the remnants of Stalinshina, political miscalculation of the present day leaders and setbacks and prospects for overcoming ethnic incompatibility.

This section ends with the Code of Civil Resistance, written at the outset of the war in Chechnya (December 1994-January 1995). This project is the historian's response to the pain and sufferings and the need to protect MAN in conditions of the absence of legal, social and political instruments for implementing the right to LIFE.

The concluding part chronicles Gefter's participation in the activity of the research and educational centre «Holocaust», the first and the only one of its kind in Russia, as well as his speeches on different occasions and documents revealing the Centre's and also author's credo: there is no genocide against SOMEONE, a genocide is always against All.

Издательская группа при журнале «Век XX и мир»
в серии «ВЕСЬ ГЕФТЕР» планирует подготовку и
выпуск следующих книг

«Инако-мыслящий: Гефтер с нами и сам по себе». (Объем до 25 авторских листов). Доработанный и дополненный вариант рукописи, подготовленной в 1993 году к 75-летию со дня рождения М.Я.Гефтера.

Среди авторов — В. Абрамкин, А. Авеличев, В. Библер, А. Богораз, А. Борозняк, Джузеппе Боффа, Ю. Буртин, Адриано Гуэрра, Е. Кожокин, Ю. Ларин, О. Лацис, Ю. Левада, В. Максименко, С. Неретина, Ганс Генрих Нольте, Г. Павловский, Дени Пайар, И. Пантин, М. Печерский, А. Плутник, Е. Плимак, А. Плутник, Корин Редгрейв, М. Рожанский, Ю. Соловьев, В. Твардовская, М. Ферретти, С. Чесноков, А. Черняев, И. Шехтер и многие другие.

В книге — опыт первой полной библиографии трудов М.Я.Гефтера, опубликованных у нас и за рубежом.

«Я был историком» в 2-х томах. (Общий объем до 50 авторских листов). Книги, представляющие оригинальные концепции мировой истории и российской в контексте Мира, включают разделы:

- 10 определений истории;
- История — позади? Историк — человек лишний?;
- Прошлое предстоит (метаморфозы будущего прошлого);
- Конвергенция или Мир миров?;
- Случайное в истории;
- Россия — маргинал человечества;
- Мир миров: российский зачин.

«Самое неожиданное — человек». (Объем до 25 авторских листов). Книга эссе, исторических портретов. Ее герои — апостол Павел, Шекспир, С. Трубецкой, Пушкин и Чаадаев, Герцен, Чернышевский, Нечаев и Ставрогин, Плеханов и Засулич, Карамзин, Соловьев и Ключевский. В разделе «Лики века XX-го» специальные главы посвящены Короленко, Сахарову, Ленину, Бухарину, Сталину, Хрущеву, Булгакову, Мандельштаму, Твардовскому. Глава «Атлантида века XX» — набросок портрета «загубленного поколения» сверстников М.Я.Гефтера.

«Ульянов, он же Ленин: фрагменты биографии мысли». (Объем 30 авторских листов).

В одном из вариантов авторской заявки на книгу М.Я.Гефтер так определил ее задачи и суть: «Биография мысли — особый жанр. Это не история мысли, вставленная в рамку жизни человека с инкрустацией обстоятельствами судьбы и событиями исторического

плана. Это именно б и о г р а ф и я м ы с л и, попытка реконструировать ее как отдельную, специфическую жизнь, включающую присущие ей коллизии, переломы, взлеты и падения, — жизнь автономную, но не обособленную, а как раз сопряженную с «внешним» Миром: от ближней среды до человеческой вселенной, понимаемой как проблемное поле и мыследейственное попрание.

Осуществление такого замысла связано со многими трудностями, возрастающими, когда мы переходим от опытного знания, естественно-научной мысли к человековедению, особенно же персонафицированному в людях, коих именуют «историческими деятелями». Если это верно вообще, то особо заострено применительно к личности, о которой идет здесь речь. Сегодняшний Ленин — в сущности человек без биографии. Он отгорожен от нас не только канонизацией, огосударствленными «мощами», но и тем же отношением, но лишь с перевернутым знаком. Выход — ОТКРЫТЬ ЕГО ЗАНОВО, отказавшись от любой предустановленной оценки.

Я занимаюсь Ульяновым-Лениным уже несколько десятилетий. Одни трудности уходят, другие возрастают. Мне кажется, что, ознакомив читателя с моим собственным путем постижения и понимания Ленина, я смогу облегчить заинтересованному читателю выработку собственного взгляда на этого человека, сыгравшего столь значительную и одновременно спорную роль в судьбах миллионов людей. В этом смысле задуманная книга «субъективна»: она — обнажение моих взаимоотношений с Лениным, как и перемен в этих отношениях. Вместе с тем она, естественно, не лишена фактической основы, в том числе и введения в исследовательский оборот некоторых свежих документальных данных.

Предполагаю в книге четыре основных раздела:

- Истоки;
- Путь Ульянова от себя к себе;
- Трагедия воплощения;
- Уход.»

Примечателен фрагмент и из другой заявки, также направленной на прояснение замысла: «Всем еще помнится 1971 — столетний юбилей Ленина, набивший оскомину казенной помпой, хотя тогда отвращение к официозному вождю еще не распространилось полностью на него самого. А ныне? Мы, историки, почему возвращаемся к ленинской тематике? Быть может, мы хотим «отбить» его у официоза разного толка прежде всего для самих себя. Но тут — дилемма. Либо это уже поздно и он принадлежит покойнице истории (месту отнюдь не из худших, но уже отделенному от современности — рвом, на дне которого несбывшиеся надежды и невозвратимые люди). Либо Ленин вовсе не нуждается в отвоевывании у нынешних отвергателей и обличителей. Ибо он и позади, и впереди. В таком случае, что это за ВПЕРЕДИ? И какому же из Лениных сродни оно?»

Сегодняшний Ленин — это текст. Но не только. И не в том смысле, что есть еще и подтекст. Потаенный смысл, ждущий дешифровки, — во встрече зачинателя со своими длящимися результатами. Небесполезно, читая его, закрыть уши, но не менее полезно шире раскрыть глаза. Можно создать новую рубрику и последовательность жизненных событий, можно составить новый, даже неожиданный своими находками цитатник. Но достаточно кому-

либо предъявить другой, и тоже из опубликованных произведений, всего два-три документа (вроде известных записок наркомосту Курскому или страшной — и замыслом, и подробностями намечаемого исполнения — директивы истребления церковников), чтобы цитатник наш обнаружил уязвимые места. Выход — не в хитроумных умолчаниях, не в литературных подсказках Ленину благонамеренных речей. Выход — поиски НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ Ленина в реализовавшемся до дна, НЕЗАКОНЧЕННОГО в завершившемся. Поскольку я в числе ищущих ЭТО, то, естественно, уверен, что такой Ленин был и существует, и что он небезынтересен нашим современникам, по крайней мере тем из них, кто не утратил способности сомневаться, распространяя сомнение и на себя самого...».

«Бухаринская тетрадь». (Объем до 12 авторских листов).

Книга включает тексты:

- Сказание о человеческом достоинстве;
- Женщина из страны ПАМЯТЬ;
- Апология Человека Слабого (Письмо узника «внутренней тюрьмы НКВД» Николая Бухарина к Иосифу Сталину от 10 декабря 1937 года в контексте бухаринской биографии и судьбы);
- Тайна Бухарина (Фрагменты размышлений о Бухарине из набросков ненаписанных книг и блокнотных записей).

«Пушкин». (Объем до 20 авторских листов).

Книга, в основе которой письма и дневники 1982 года, подготовлена к изданию Г.О.Павловским и включает тематические узлы:

- Дверь в XIX век;
- Спасшиеся Пушкиным;
- Незавершенный Чаадаевский спор;
- Николаевский Пушкин.

«Страсти по новому КУДА?». (Объем 25 авторских листов).

Основные разделы книги:

- Откуда мы?;
- Кто мы и что означает «быть русским?»;
- В поисках нового вектора;

Книгу составляют тексты, донные не публиковавшиеся:

- «Россия — пограничье истории», «Мост или пропасть?»;
- «Русский диссонанс», «Человечество: идея, покидающая Землю»;
- «Россия, уводящая век XX-й».

«Мир Миров: российский пролог». (Объем 20 авторских листов).

В планах Гефтера — следующая композиционная структура книги:

1. Россия как ПУТЬ — к чему-то, что больше ее самой...

– Мыслилось (в XIX-м в.) – человечество дома: уникальный повтор в схватке с уникальной же самобытностью;

– Непосредственное вхождение в мировую историю и застревание при входе. Проблема ВЫСВОБОЖДЕНИЯ. От Чаадаева к Герцену и дальше.

– Проекция: Власть и Слово.

2. Пореформенная Россия – откуда неопределенность названия?

– Многоукладность в качестве целого. Только ли у нас?

– Неопределенность – не в составе укладов, а в их пропорциях (что – доминантою?)

Споры вокруг этого. Маркс – Даниельсон.

Плеханов – Ленин.

3. Русская революция – запоздалое новшество

– Пробы: декабрь 1825, март 1881 (к ним и от них...).

– Почему оказалась недостаточной «революция сверху» 1861-1870 гг.?

– Кто – субъект НОВОЙ РОССИИ? Схватки претендентов. «Нигилизм» – реальность и идеомиф.

– Ипостаси разночинства. Ленин – завершитель и ниспровергатель. Феномен большевизма.

– 1917: второй 1905-й? или 905-й – новый симптом застревания на входе?

– 1917 и далее – в контексте XX века и сам этот век под знаком 1917-го и в особенности того, что «дальше».

– Кто «мировее» – Ленин или Сталин? (Фиаско Троцкого и Бухарина).

4. 1990-е – третье застревание при входе. На сей раз уже не в человечество, а в Мир миров.

– Гипотеза неисключенного спасения. Русско-российский евразийский черновик.

– 3-4 октября 1993-го – эпизод или Рубикон?

– Фантазм «одномирного Мира» в лицах и событиях.

Предполагается серийное издание книг на протяжении 1995 – 1998 годов.

Приглашаем спонсоров и всех заинтересованных лиц к участию в проекте.

Контактные телефоны в Москве (095) 229 52 97

(095) 327 52 54

Научно- просветительным центром «ХОЛОКОСТ»
изданы следующие выпуски
«РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ХОЛОКОСТА»

Освенцим — трагедия XX века. Каталог выставки
документов. (2 печатных листа)

Евреи в Великой Отечественной войне: вклад в Победу.
Каталог документальной выставки. (3 печатных листа)

«История Холокоста на территории СССР: 1941-1945»
Учебное пособие для учителя.
(10 печатных листов)

«История Холокоста: 1933-1945». Пакет документов и
методические задания для учащихся.
(5 печатных листов)

По вопросам покупки и реализации этих изданий обращаться по
контактному телефону в Москве (095) 383 62 42

Шесть миллионов евреев — расстрелянных, удушенных в газовках.

Шесть миллионов — и каждый в отдельности.

Это — память, противящаяся забвению.

Это — зов людей к взаимной близости, недоступной без запрета на убийство.

Это — убеждение: **НЕТ ГЕНОЦИДА ПРОТИВ «КОГО-ТО», ГЕНОЦИД ВСЕГДА ПРОТИВ ВСЕХ.**

Вот что означает **ХОЛОКОСТ**. Слово с эллинской родословной, буквально: приношение в жертву всесожжением.